Анри Труайя

Грозные Царицы

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

На этих страницах вас ждет увлекательное повествование, посвященное эпохе дворцовых переворотов в России. Этот интереснейший период в истории страны еще называют «эпохой женской власти». Три императрицы и одна регентша правили великой державой на протяжении тридцати семи лет. При всей несхожести судеб Екатерины I, Анны Иоанновны, Анны Леопольдовны и Елизаветы Петровны их объединяло одно: во внутренней и внешней политике они чаще всего руководствовались только личными чувствами и капризами.

Талантливый романист и известный биограф Анри Труайя рассказывает о судьбе этих цариц, оказавших большое влияние на становление российского государства, но оставшихся мало известными: их затмила слава Петра Великого и Екатерины Великой, которая унаследовала от них престол.

Автор воссоздает живую и яркую картину России XVIII века – империи, которая держалась на власти оружия и женщин.

- Анри Труайя
  - I. Екатерина прокладывает путь
  - II. Недолгое царствование Екатерины I
  - III. Пританцовки вокруг трона
  - IV. Внезапное и удивительное пришествие Анны Иоанновны
  - V. Странности и причуды Анны
  - VI. Одна Анна после другой
  - VII. Триумф Елизаветы
  - VIII. Труды и радости самодержицы
  - IX. Елизаветинская россия
  - X. Ее величество и их высочества
  - XI. Еще одна Екатерина!
  - Фото
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9

- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53

- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69

Анри Труайя
Грозные царицы

I. Екатерина прокладывает путь

Зимний дворец окутала гробовая тишина. Хотя обычно оцепенение, которое овладевало придворными, когда им объявляли о кончине государя, мгновенно сменялось взрывом радости при звуках имени престолонаследника, на этот раз минута текла за минутой, а уныние, подавленность, нерешительность всех присутствовавших длились и длились. Можно было подумать, что агония Петра Великого так и не кончилась – он все еще умирает… На лицах у иных можно было даже прочесть мысль, что теперь, когда его не стало, у России нет больше будущего. Созерцая лежащее на парадной постели длинное тело со сложенными на груди руками, знать, сбежавшаяся при вести о свершившемся, удивлялась тому, что этот чудовищный *сгусток* дерзости и неукротимой энергии, сумевший буквально за уши вытянуть страну из вековой спячки, подаривший ей государственные учреждения, полицию, армию, вооруженную по последнему слову техники и достойную новой, могущественной России, освободивший свою родину от угнетающих традиций прошлого, чтобы открыть ее для западной культуры, построивший на пустом месте, среди болот и воды, столицу немеркнущей красоты, даже не потрудился назначить того, кто продолжит его дело. Правда, совсем еще недавно, всего каких-то несколько месяцев назад, никто не мог предвидеть такого скорого печального исхода. Как обычно, царь-реформатор стал жертвой собственной бурной пылкости. 28 октября 1824 года он поехал прямо с обеда у Ягужинского[1] на пожар, случившийся на Васильевском острове, 29-го отправился водой в Сестербек и, встретив по пути севшую на мель шлюпку, принялся спасать с нее солдат, стоя по пояс в ледяной воде.

Подхватив сильную простуду, государь позволяет себе проболеть всего три дня, после чего возвращается обратно в Санкт-Петербург, где ведет, по свидетельствам современников, «суетную жизнь» до конца января, когда, наконец, ему приходится прибегнуть к помощи врачей, которых Петр до тех пор и слушать не хотел. Между тем от лихорадки и жара очень быстро пробудилось задремавшее было в нем старое венерическое заболевание, все это вместе осложнилось задержкой мочи из-за камней в почках и закончилось гангреной…

28 января 1725 года – после нескольких дней мучительной агонии и бреда – Петр пришел в себя и попросил письменный прибор, чтобы изложить на бумаге последнюю волю, но сумел дрожащей рукой нацарапать только такие слова: «Отдайте все…»

– на имя счастливца-наследника сил у него уже не хватило: пальцы свело судорогой. Царь велел позвать дочь свою Анну Петровну, чтобы она продолжала писать под его диктовку, но когда та подошла к отцу, говорить он уже не смог – из горла вырывался лишь хрип. Больной погрузился в забытье. Ослабевшая, готовая рухнуть от горя и усталости, но не отходившая от постели больного супруга Петра, Екатерина, рыдала, тщетно взывая к немому, глухому и безучастному телу. Никакого ответа она не получила. Екатерина была в отчаянии, она совершенно растерялась, не понимала, что тяжелее – горе, вызванное кончиной супруга, или свалившаяся ей на руки империя. Казалось, и то, и то – одинаково непомерный груз для женщины. Все мыслящие люди вокруг нее думали о том же. Ведь на самом деле деспотическая власть – наркотик, который ничем нельзя заменить не только обладателю такой власти, но и тому, кто живет под ней, на собственной, как говорится, шкуре испытывая все ее достоинства и недостатки. Чрезмерным амбициям, мании величия деспота отвечает мазохизм подданных. Приспособившийся к несправедливости, характерной для политики, чья суть – принуждение, народ страшился того, что внезапно исчезнет этот гнет, потому что людям, в совсем еще недавнем прошлом стонавшим и жаловавшимся на то, как тяжко жить в железных объятиях хозяина – вот-вот задохнешься, – теперь казалось: освободившись от этой мертвой хватки, они сразу же лишатся государевой любви и защиты. Каждый, кто еще вчера потихоньку бранил царя, сегодня чувствовал себя потерянным и не знал, куда *главу приклонить*. И каждый задумывался: а время ли сейчас действовать вообще и наступит ли когда-нибудь время действовать после столь долгого прозябания в тени новатора-тирана.

У выдающегося русского историка Василия Ключевского находим: «Очевидцы, свои и чужие, описывают проявления скорби, даже ужаса, вызванные вестью о смерти Петра. В Москве в соборе и по всем церквам, по донесению высокочиновного наблюдателя, за панихидой „такой учинился вой, крик, вопль слезный, что нельзя женщинам больше того выть и горестно плакать, и воистину такого ужаса народного от рождения моего я николи не видал и не слыхал“. Конечно, здесь была своя доля стереотипных, церемониальных слез: так хоронили любого из московских царей. Но понятна и непритворная скорбь, замеченная даже иноземцами в войске и во всем народе. Все почувствовали, что упала сильная рука, как-никак, но поддерживавшая порядок, а вокруг себя видели так мало прочных опор порядка, что поневоле шевелился тревожный вопрос, что-то

будет дальше. Под собой, в народной массе реформа имела ненадежную, зыбкую почву».[2]

Однако, что бы там ни было, жизнь брала свое, и надо было как-то существовать. Проливая потоки слез, Екатерина все-таки старалась не терять из виду и собственных интересов. Может ведь вдова быть одновременно и подавленной тяжким горем, и – в меру, конечно, в разумных пределах – честолюбивой? Может ведь иметь притязания? Пусть она грешна перед покойным мужем, пусть не раз изменяла ему, но оставалась же при этом бесконечно ему преданной! Никто на свете не знал его лучше и не служил ему лучше, чем она, за двадцать три года их связи, а потом брака. В борьбе за трон на ее стороне были не только интересы династии, немало значила и бескорыстная привязанность к супругу.

А среди приближенных уже заключались пари: кому достанется шапка Мономаха.[3] В двух шагах от вытянувшегося на парадной постели мертвого тела шептались, искали союзников по заговорам, делали ставку на то или другое имя, естественно, не решаясь высказать вслух, кого предпочитают реально.

Существовал целый клан приверженцев юного Петра, десятилетнего мальчика, сына несчастного царевича Алексея. Петр Великий еще в 1718 году лишил Алексея права наследовать престол, а затем приказал подвергнуть пыткам – обвинив сына в том, что он участвовал в заговоре против царя. Царевича пытали целую неделю, и он скончался, не дождавшись исполнения смертного приговора. Воспоминание об этом узаконенном убийстве еще витало в воздухе – российские придворные ни о чем не забывали, да и как о подобном забудешь? Среди сторонников маленького Петра были князья Дмитрий Голицын, Иван Долгорукий, Никита Репнин, Борис Шереметев… Они считали, что царь измывался над ними, глумился, всячески притеснял, и жаждали взять реванш при его преемнике.

В другом лагере собрались те, кого насмешливо называли «птенцами гнезда Петрова»: доверенные лица ныне усопшего государя, готовые на все, лишь бы сохранить свои преимущества. Главой их был Александр Меншиков, фаворит Петра Великого. Происхождение его не вполне ясно: по одной версии, отец Меншикова был придворным конюхом, по другой – капралом Петровской гвардии, по третьей, позднейшей (уже XIX века) – Меншиков в молодости торговал пирогами на улицах Москвы и кормился этим промыслом. Петр познакомился с ним через Лефорта, взявшего юного Алексашку к себе в услужение, после чего смышленый юноша несколько лет состоял в денщиках у царя и довольно скоро стал его ближайшим другом. С 1697 года

Меншиков неразлучен с Петром, пожаловавшим ему титул «светлейшего князя» и назначившим его генералиссимусом.[4] Были среди «птенцов» и генерал-аншеф Иван Бутурлин; и поставленный Петром за деятельное участие в следствии и суде над царевичем Алексеем во главе тайной канцелярии, а в день коронации Екатерины I награжденный графским титулом Петр Толстой; и государственный канцлер граф Гавриил Головкин, и генерал-адмирал русского флота сенатор Федор Апраксин… Все эти высокопоставленные особы в свое время подписали, чтобы угодить Петру Великому, приговор, обрекавший на пытки, а затем и на смертную казнь мятежного его сына Алексея, и казались Екатерине Алексеевне союзниками, в верности которых нельзя было усомниться.

И действительно: у этих «передовых людей», давно уже объявивших себя врагами отживших идей старой аристократии, не было колебаний относительно того, кому наследовать престол. Единственным лицом, которое они считали имеющим на это право, достойным и способным взять власть в свои руки, была Екатерина, вдова Петра Великого. Самым активным в отстаивании прав «истинной хранительницы императорской мысли» был тот, кто больше всего и выигрывал в случае успеха предприятия – ретивый «Алексашка» Меншиков. Обязанный всей своей великолепной карьерой царской дружбе, он рассчитывал на благодарность новой императрицы, от которой ждал сохранения всех дарованных ему ее покойным супругом привилегий. Он был настолько убежден в собственной правоте, что не хотел и слышать о притязаниях на российскую корону внука Петра Великого, который, конечно же, был сыном царевича Алексея, то есть по крови имел на это право, но, с точки зрения Меншикова, кроме этой «побочной родственной связи», не обладал никакими преимуществами, позволившими бы ему обрести столь славную судьбу. Точно так же Александр Данилович пожимал плечами, когда при нем заговаривали о дочерях Петра Великого и Екатерины, которые, в конце концов, тоже, как думали иные, могли бы претендовать на русский престол. Старшей из дочерей, Анне Петровне, было всего семнадцать лет, младшей, Елизавете Петровне, едва исполнилось шестнадцать. Ни ту, ни другую «птенцы гнезда Петрова» не считали всерьез опасными. И в любом случае, по существовавшему на то время в России наследственному праву, обе они могли числиться в списке претендентов на престол только после матери, предполагаемой императрицы, и на сегодняшний день надо было в первую голову позаботиться о том, чтобы поскорее выдать обеих девиц замуж. Спокойная на этот счет Екатерина полностью доверилась

Меншикову и его соратникам, на которых можно было безбоязненно положиться, они-то уж точно ее поддержат. И в самом деле, еще до того, как государь испустил последний вздох, ими были посланы гонцы во все главные казармы, чтобы подготовить гвардейских офицеров к государственному перевороту в пользу их будущей «матушки-государыни Екатерины»…

В то самое время, когда врачи, а за ними и священство подтвердили кончину Петра Великого, над спящим городом вставал студеный рассвет, крупными хлопьями валил снег. Екатерина так ломала руки и проливала такие обильные слезы перед полномочными представителями других государств, собравшимися вокруг смертного ложа государя, что капитан Вильбуа, адъютант Петра Великого, поразившись, написал в своих воспоминаниях: «Невозможно было представить себе, что столько воды способно собраться в голове одной женщины. Множество людей прибежали во дворец посмотреть, как она плачет и вздыхает».[5]

И началось…

О кончине царя возвестили сто одним залпом пушки Петропавловской крепости. В морозном воздухе разнесся погребальный звон с колоколен всех церквей города. Пора было принимать окончательное решение: вся страна в нетерпении ожидала, когда же ей объявят, кого предстоит боготворить или опасаться в будущем. Сознавая свою ответственность перед Историей, Екатерина явилась в восемь утра в большой зал дворца, где уже находились сенаторы, члены Святейшего Синода, знатные представители первых четырех классов «Табели о рангах», нечто вроде Совета Мудрецов, называемого «генералитетом» империи.

Страсти накалились мгновенно, спор был жарким. Для начала тайный кабинет-секретарь Петра Великого Алексей Макаров поклялся на Евангелии в том, что государь не оставил завещания. Воспользовавшись случаем, Меншиков с необычайным красноречием высказался в пользу вдовы Его Величества. Первым из использованных им аргументов был такой: женившись в 1707 году на дочери литовского крестьянина, бывшей служанке Марте Скавронской, Петр Алексеевич повелел за год до своей кончины признать супругу императрицей и короновать ее в Архангельском соборе Московского Кремля. Именно этот торжественный и беспрецедентный акт, по мысли Меншикова, удостоверял, что у Петра не было необходимости прибегать к какому-то особому, отдельному завещанию, ибо еще при жизни государь позаботился о том, чтобы благословить свою жену на наследование престола в качестве единственной своей преемницы.

Но подобные аргументы, по мнению противников идеи воцарения Екатерины, только вводили в заблуждение, ибо ни в одной монархии мира, говорили они, коронация супруги государя не дает ей *ipso facto* прав на наследование престола. Опираясь на эти положения, князь Дмитрий Голицын выдвинул кандидатуру внука императора – Петра Алексеевича, единственного сына царевича Алексея. Голицын, как и его единомышленники, полагал, что только этот ребенок, кровный родственник умирающего, имеет преимущественные по сравнению с остальными претендентами права на корону. Да, конечно, маленький Петр имел все права, но ведь, если учитывать нежный возраст этого претендента, выбор его неизбежно потребовал бы установления регентства вплоть до совершеннолетия царя, а все регентства в России, как показывал опыт, приводили только к заговорам и беспорядкам. Последним по времени был период регентства царевны Софьи, чуть не приведшего к провалу царствования ее брата, Петра Великого. Софья плела против будущего императора сеть таких черных интриг, что пришлось безопасности ради заточить царевну в монастырь. Что ж, неужели родовая знать хотела бы снова пережить подобный печальный опыт, приведя к власти своего юного подопечного, которым, как марионеткой, еще долгое время будет управлять советница-опекунша? Противники такого решения проблемы престолонаследования заявляли, что женщины вообще не способны руководить столь огромной империей, как Россия. Женские нервы, говорили они, чересчур слабы, да и окружают царицы себя всегда настолько ненасытными фаворитами, что прихоти их обходятся нации слишком дорого. Но как же так, возражали сторонники воцарения маленького Петра и регентства, Екатерина ведь тоже женщина, как и Софья, и в любом случае пусть даже не очень совершенная регентша лучше неопытной императрицы. Возмущенные Меншиков и Толстой напомнили противникам, что Екатерина проявляла достойное представителей сильного пола мужество, сопровождая мужа во всех баталиях, и, обладая незаурядным умом, влияла на все политические решения императора, не выходя из его тени, что свидетельствует о ее тонкости и гибкости как политика.

В самый разгар споров выяснилось, что «…в углу залы совещания каким-то образом очутились офицеры гвардии, неизвестно кем и зачем сюда призванные. Подобно хору античной драмы, не принимая прямого участия в развертывавшейся на сцене игре, а только как бы размышляя вслух, они до неприличия откровенно выражали свои суждения о ходе совещания, заявляя, что разобьют головы старым боярам, если они пойдут против их

матери Екатерины. Вдруг раздался с площади барабанный бой: оказалось, что перед дворцом выстроены были под ружьем оба гвардейских полка, тоже неизвестно кем и зачем сюда вызванные из казарм. Князь Репнин, президент военной коллегии, сердито спросил: „Кто смел без моего ведома привести сюда полки? Разве я не фельдмаршал?“ Бутурлин, командир Семеновского полка, отвечал Репнину, что полки призвал он, Бутурлин, по воле императрицы, которой все подданные обязаны повиноваться, „не исключая и тебя“, добавил он внушительно. При гвардейском содействии искомая воля императора единодушно без пререканий была найдена в короновании Екатерины, совершившемся в 1724 году; этим-де актом она назначена наследницей престола в силу закона 5 февраля; ее Сенат и провозгласил самодержавной императрицей. Отменив закон его толкованием, Сенат в манифесте от себя, а также от Синода и генералитета, вовсе и не участвовавших в Сенатском совещании, объявлял о воцарении Екатерины не как о своем избирательном акте, а только как об истолкованной Сенатом воле покойного государя: он удостоил свою супругу короною и помазанием; того для объявляется во всенародное известие, дабы все о том ведали и ей, самодержице всероссийской, верно служили».[6]

Екатерина тем временем удалилась: она с первых же реплик была уверена в своей победе. Генерал-адмирал Апраксин потребовал: пусть Макаров подтвердит, что не существует никакого другого завещания, которое противоречило бы решению этой ассамблеи, – тот заверил, что ничего подобного не было и нет, и успокоенный этим Федор Матвеевич, верный сподвижник Петра, добродушно заключил: «Так пойдемте же воздадим почести царствующей императрице!» Да… Лучшие аргументы в споре – это сабля и пистолет… Переменившие мнение, как по волшебству, представители генералитета, князья, сенаторы, военные и священнослужители послушно направились к покоям новоиспеченной царицы, чтобы приветствовать Ее Величество.

Однако Меншиков с Иваном Бутурлиным позаботились о том, чтобы соблюсти видимость уважения к законным формам наследования, и в тот же день обнародовали манифест, где подтверждалась воля Его Величества, императора Всея Руси Петра Великого. В «Истории России с древнейших времен», написанной С.М. Соловьевым, об этом рассказывается так: «В манифесте от Синода, Сената и генералитета говорилось: „О наследствии престола российского не токмо единым его императорского величества, блаженной и вечнодостойной памяти, манифестом февраля 5 дня прошлого, 1722 года в народе объявлено, но и присягою подтвердили все чины государства

Российского, да быть наследником тому, кто по воле императорской будет избран. А понеже в 1724 году удостоил короною и помазанием любезнейшую свою супругу, великую государыню нашу императрицу Екатерину Алексеевну, за ее к Российскому государству мужественные труды, как о том довольно объявлено в народе печатным указом прошлого, 1723 года ноября 15 числа; того для св. Синод и высокоправительствующий Сенат и генералитет согласно приказали: во всенародное известие объявить печатными листами, дабы все как духовного, так воинского и гражданского всякого чина и достоинства люди о том ведали и ей, всепресветлейшей, державнейшей великой государыне императрице Екатерине Алексеевне, самодержице всероссийской, верно служили“. Коронование Екатерины было выставлено как назначение ее наследницею престола по закону от 5 февраля. В Петербурге присягнули спокойно».

Один из иностранных министров, находившихся в это время здесь, писал своему двору: «Скорбь о смерти царя всеобщая; об нем мертвом так же жалеют, как боялись и уважали его живого; мудрости его правления и постоянным заботам его о просвещении народа обязаны полною безопасностию, которою пользуются здесь до сих пор; не заметно ни малейшего беспокойного движения».[7]

Действительно, опубликование этого документа не вызвало никаких серьезных нареканий – ни среди знати, ни среди населения столицы. Екатерина вздохнула с облегчением: дело было сделано. Для нее этот день стал днем второго рождения на свет Божий. Когда она вспоминала о своем прошлом – прошлом солдатской подстилки, у нее начинала кружиться голова: и впрямь можно было сойти с ума, думая о том, что девка эта ныне взлетела на самый верх, став сначала законной супругой императора, а потом и самодержавной императрицей!

Родители Екатерины были простыми ливонскими крестьянами. Они, один за другим, умерли от чумы, когда Марта (таково, как уже говорилось, настоящее имя царицы) была совсем еще девчонкой. Вечно голодная и оборванная, она блуждала по городам и весям, пока ее не взял к себе в дом служанкой лютеранский пастор Глюк. Но бдительному священнослужителю все-таки не удалось уследить за сироткой с аппетитными формами, и очень скоро она опять отправилась бродить по дорогам – на этот раз ночуя в лагерях русской армии, которая завоевывала тогда польскую Ливонию, – и меняла любовников до тех пор, пока не покорила сперва сердце Меншикова, а затем и самого Петра. И если последний любил ее, то уж никак не за ее

образованность, поскольку она была почти безграмотна и объяснялась на ломаном русском языке, но за то, что ему сотни раз предоставлялся случай оценить: за ее бесстрашие, живость, горячность и – за притягательную силу ее пышных форм…

Царь всегда предпочитал женщин в теле и не слишком умных. И даже при том, что Екатерина часто обманывала его, при том, что он гневался на жену за ее неверность, он всегда возвращался к ней даже после самых бурных ссор.

При мысли о том, что «разрыв» на этот раз окончателен, Екатерина чувствовала одновременно и вину, и облегчение. Судьба, уготованная ей, казалась новоявленной царице необычайной – не только в связи с ее более чем скромным происхождением, но и из-за ее пола, ведь исторически женщинам в России отводилась лишь второстепенная роль. Ни одна из них до сих пор не становилась императрицей всея Руси! Во все времена трон этой огромной державы занимали только лица мужского пола, наследуя его по нисходящей линии. Даже тогда, когда после смерти Ивана Грозного в России начался период кризиса государственности и когда в «смутное время» – один за другим – на трон поднимались захватчик и самозванец Борис Годунов, болезненный и нерешительный Федор II, первый и второй Лжедмитрии, традиция, при которой монархом может быть только мужчина, не претерпела изменений. И лишь после окончательного угасания династии Рюриковичей (Рюрик был основателем Древней Руси) пришлось смириться с необходимостью выбора царя собранием бояр, священнослужителей и знати (Собором). Именно таким собранием был избран на власть молодой Михаил Федорович, первый в династии Романовых. После него передача императорской власти осуществлялась без особых треволнений почти целый век. И только в 1722 году Петр Великий покусился на старинное правило, объявив, что теперь самодержец имеет право назначать себе наследника, который кажется ему подходящим, не заботясь о династическом порядке. Таким образом, благодаря этому царю-новатору, уже до того перевернувшему все обычаи страны, женщина, пусть даже не знатная и не имеющая политического опыта, получала такое же право взойти на трон, как и мужчина. Причем первой, кому доведется присвоить себе эту из ряда вон выходящую привилегию, станет она, бывшая служанка ливонского происхождения, от рождения протестантка, которая стала русской и православной довольно поздно и которая если где и прославилась, так единственно – в постелях… Возможно ли, что эти руки, не так уж давно только и занимавшиеся, что мытьем

посуды, перестилкой простыней, отстиранием грязного белья и стряпней для солдат, возможно ли, что эти самые руки завтра, надушенные и украшенные перстнями, станут подписывать указы, от которых зависит будущее миллионов подданных, скованных почтением и страхом?

День и ночь эта мысль о чудесном возвышении преследовала Екатерину. Чем больше она плакала, тем больше ей хотелось смеяться. Официальный траур должен был продолжаться сорок дней. Все придворные дамы сейчас соперничали в стояниях на молитве и плаче. Екатерина безупречно вела свою – главную – партию рыданий и вздохов, явно выигрывая в этом необъявленном соревновании. Но нежданно-негаданно новое горе поразило ее в самое сердце. Спустя четыре недели после кончины мужа, как раз в то время, когда весь город готовился к пышной погребальной церемонии, ее младшая дочь Наталья, шести с половиной лет, заболела корью. И тихая, почти никем не замеченная смерть ребенка, последовавшая за вызвавшей всеобщий переполох кончиной Петра Великого, окончательно убедила Екатерину в том, что ей предназначена Богом особая участь – как в горестях, так и в успехах. Она тут же решила похоронить в один день увенчанного славой, при жизни вошедшего в Историю отца и маленькую девочку, которой не выпало времени вкусить ни счастья, ни бремени жизни женщины. О двойных похоронах было объявлено глашатаями в четырех концах столицы, и они состоялись 10 марта 1725 года в Петропавловском соборе.

Фасады домов, мимо которых к Петропавловской крепости двигался траурный кортеж, были затянуты черной тканью. Двенадцать высоченных полковников несли внушительных размеров гроб с телом Его Величества. Гроб накрыли зеленым бархатом, который, как и балдахин из золотой парчи, должен был, плохо ли, хорошо ли, защитить его от непогоды: снега и града – весна выдалась тогда поздняя. Маленький гробик царевны Натальи несли рядом, его поместили под навес из шитой золотом ткани, украшенный султанами из перьев красного и белого цвета. За гробами шли священники, позади них – целая армия людей с хоругвями и иконами. После них, наконец, можно было увидеть Екатерину I – в глубоком трауре, с потупленными глазами. Естественно, рядом находились светлейший князь Меншиков (как же без него?) и генерал-адмирал Апраксин: они поддерживали вдову, которая брела неуверенной походкой. Дочерей Петра и Екатерины – Анну и Елизавету – сопровождали государственный канцлер Головкин, генерал Репнин и граф Толстой. Всякого рода знать, богатейшие из дворян, обильно изукрашенные орденами

генералы, специально прибывшие по такому случаю иностранные принцы и дипломаты – все они, выстроившись в шеренги согласно древности рода, к которому принадлежали, медленно двигались по улицам города. Головы мужчин были обнажены, ветер трепал парики, которые они придерживали руками, звучала траурная музыка, подчеркнутая барабанным боем, гремели пушечные выстрелы, трезвонили колокола… После двух часов дороги, двух часов борьбы со стужей и бураном, церковь, когда погребальная процессия добралась до нее, показалась всем раем. Однако громадный собор вдруг сделался тесным, стоило туда набиться этой измученной и заплаканной толпе людей. И вот в нефе, где горели тысячи свечей, началась новая пытка. Богослужение тянулось невозможно медленно. Екатерина собирала последние остатки сил, чтобы не упасть в обморок. С одинаковым пылом она сказала последнее «прости» и своему великолепному супругу, который принес ей в дар Россию, и своему невинному дитяти, чьей улыбки ей уже никогда не увидеть. Но если смерть Наташи заставляла ее сердце сжиматься от боли – птенчик выпал из гнезда, – то кончина Петра возбуждала ее, словно бы приглашая удивиться: смотри, Марта, какая легендарная судьба тебе уготована! Рожденная, чтобы быть последней среди людей, она становится первой из них! Кого же ей благодарить за удачу: Бога или мужа? Может быть, обоих – смотря по обстоятельствам?

Углубившись в эти размышления, решая эти важные вопросы, Екатерина рассеянно слушала Феофана Прокоповича, архиепископа Псковского,[8] который произносил надгробное слово. «Что се есть? До чего мы дожили, о россияне! Что видим? Что делаем? Петра Великого погребаем!» Проповедь была краткой, хотя продолжалась почти час из-за того, что часто прерывали ее плач и вопли слушателей. Утешением им должна была стать ее заключительная часть: «Не весьма же, россияне! Изнемогаем от печали и жалости: не весьма бо и оставил нас сей великий монарх и отец наш. Оставил нас, но не нищих и убогих; безмерное богатство силы и славы его, которое его делами означилось, при нас есть. Оставляя нас разрушением тела своего, дух свой оставил нам».[9] Услышав, что Россия останется такой, какой ее создал Петр, Екатерина подняла голову… Царица не сомневалась, что в проповеди прозвучали слова, обращенные к ней, – будто посмертное послание от супруга. Испуганная и в то же время радостно взволнованная открывающимися ей с завтрашнего дня перспективами, она поторопилась на свежий воздух. Но, когда вышла из собора, паперть показалась Екатерине куда более просторной, пустынной и негостеприимной, чем в прежние времена. Время от времени усиливались порывы

снежной бури. Государыня была окружена дочерьми и друзьями, но не видела и не слышала никого. Близкие даже забеспокоились: им почудилось, что она затерялась в неведомой им стране. А ей нужно было собрать всю свою волю, чтобы – одинокой и незащищенной – встать лицом к лицу с бескрайней и оставшейся теперь без хозяина Россией…

II. Недолгое царствование Екатерины I

Екатерине вскоре стукнет пятьдесят… Она прожила немало лет, она много любила, много веселилась, много пила, но ничем не насытилась и не пресытилась. Те, кто видел императрицу в краткий период ее царствования, описывают грузную толстощекую женщину, густо накрашенную, всегда улыбающуюся, с тройным подбородком, большим ртом, живым взглядом, пестро одетую, увешанную драгоценностями, но не очень опрятную. Однако если мнения насчет внешности и повадок *переряженной* царицей маркитантки не расходились, то стоило перейти к обсуждению ума Екатерины, присущих ей смелости и решительности, как воззрения приобретали иные оттенки. Пусть она едва умеет читать и писать, пусть она говорит по-русски с сильным польским и чуть заметным шведским акцентом, зато с первых же дней своего царствования она проявила похвальное стремление воплотить в жизни мечты своего мужа. Причем не только проявила стремление, но и приложила старания…

Чтобы иметь возможность лучше разобраться в вопросах внешней политики, Екатерина выучилась даже немецкому и французскому языкам, немножко, но все же… И уж во всяком случае, она предпочитала во всем полагаться на здравый смысл, унаследованный ею от трудного детства. Некоторые из собеседников находили ее более человечной, более благожелательной, чем покойный император. Тем не менее, осознавая свою неопытность в государственных делах, она, прежде чем принять какое-либо важное решение, непременно советовалась с Меншиковым. Впрочем, враги императрицы злословили за ее спиной, будто она полностью подчиняется ему и попросту боится рассердить его собственными инициативами. А спит ли она с ним по-прежнему? Если она не лишала себя этого удовольствия в прошлом, то вряд ли все-таки продолжает – в его-то возрасте и в ее-то положении… Жадная до плотских наслаждений, особенно – когда плоть свеженькая, она может позволить себе радости куда более смачные и пикантные, чем обращение к прошлому в объятиях престарелого любовника.

Совершенно свободная в выборе, Екатерина меняла возлюбленных как перчатки и не жалела денег на удовлетворение прихотей героев, совершавших по ночам подвиги в царской опочивальне. Посол Франции Жак де Кампредон с удовольствием перечисляет в своих воспоминаниях некоторых из этих

мимолетных избранников. «Меншикова она держит только как советника, – пишет он. – Графу Лёвенвольде,[10] кажется, повезло больше. Господин Девиер[11] все еще числится среди блестящих фаворитов. Граф Сапега[12] тоже пока не покинул свой пост. Красивый малый и сложен хорошо. Ему часто присылают букеты и побрякушки. […] Есть еще фавориты – так сказать, второго класса, но они известны только Иоганне: она издавна служит камеристкой у царицы и хранит секреты ее развлечений».

Во время бесчисленных ужинов, которыми государыня потчевала своих партнеров по любовным играм, Екатерина пила не в меру. По ее приказу к столу поочередно подавались обычная («простая»)[13] водка и крепкие, французские или немецкие, ликеры. Нередко случалось, что она теряла сознание к концу такого сильно сдобренного спиртным вечера. «Царица довольно плохо себя почувствовала после одной из таких оргий – это было в день святого Андрея, – писал все тот же Кампредон в докладе своему министру, датированном 25 декабря 1725 года. – Кровопускание помогло ей выжить, но, поскольку она крайне тучна, а жизнь ведет весьма неупорядоченную, думаю, что еще несколько подобных же несчастных случаев способны привести ее к гибели».[14]

Ни пьянство, не распутство не мешали Екатерине, едва она приходила в себя, вести себя как и положено настоящей самодержице. Она бранила и лупила по щекам своих служанок за любые грешки, любые мелкие провинности, она повышала голос в присутствии своих рядовых советников, она не шелохнувшись часами простаивала на давно набивших оскомину парадах императорской гвардии и часами же скакала верхом, чтобы расслабиться, отпустить нервы и доказать всем, насколько велика ее физическая сопротивляемость.

В ней был силен дух семьи, и она пригласила в Санкт-Петербург проживавших в далеких провинциях братьев и сестер, о существовании которых Петр Великий в свое время и слышать ничего не желал. По приглашению Екатерины съехались в столицу и проникли в столичные гостиные бывшие ливонские и литовские крестьяне – неотесанные, неуклюжие в придворных одеждах… Титулы графов и князей сыпались на их головы, словно из рога изобилия, к величайшему возмущению истинной аристократии. Некоторые из новичков-придворных с мозолистыми руками составили компанию обычным сотрапезникам Ее Величества, соперничая с ними как в добром расположении духа, так и в распутстве.

Тем не менее, сколь ни охоча была Екатерина до необузданных забав, она всегда оставляла несколько часов в день

для занятий государственными делами. Конечно, Меншиков продолжал диктовать ей решения, когда речь шла о высших интересах страны, но с течением недель новоиспеченная императрица становилась все смелее и дошла в своей дерзости до того, что стала даже оспаривать некоторые рекомендации наставника. Признавая, что никогда не сможет обойтись без советов этого компетентного, преданного и изворотливого человека, она тем не менее убедила Александра Даниловича в необходимости создать Верховный тайный совет, включающий в себя, помимо главного «вдохновителя» всех предприятий императрицы Меншикова, и других лиц, в чьей преданности Ее Величество была совершенно убеждена: это были Толстой, Апраксин, канцлер Головкин, Остерман…[15] Верховный тайный совет как высший консультационный орган оставлял в тени верный традициям Сенат, которому теперь предстояло заниматься лишь второстепенными проблемами. Именно по наущению Верховного тайного совета Екатерина решила смягчить участь раскольников, приверженцев старой веры, которых преследовали как еретиков, учредить, согласно пожеланию Петра Великого, Академию наук, ускорить работы, направленные на украшение столицы, позаботиться о рытье Ладожского канала, снарядить экспедицию датского мореплавателя Витуса Беринга, собиравшегося исследовать путь на Камчатку…

Эти мудрые решения прекрасно уживались в буйной головушке царицы со страстью к алкоголю и неутолимой жаждой любовных утех. Она бывала то алчной, ненасытной разрушительницей, то прозорливой и дальновидной государыней, она проявляла в равной степени и самую что ни на есть низкую похоть, и холодный разум. Едва вкусив взаимодополняющих радостей власти и сладострастия, она вернулась к самой первой и главной своей заботе: о семье. Царица или нет, но прежде всего она оставалась матерью, и ей необходимо было подумать о том, как пристроить дочерей получше, раз уж они вышли из подросткового возраста.

Дочерей – миловидных и живых умом, так что они могли понравиться как внешне, так и умением вести беседу, – у Екатерины было двое. Старшую, Анну Петровну, недавно просватали за герцога Голштин-Готторпского Карла-Фридриха. Герцог был тщедушный, хилый, нервный и вообще обиженный природой, так что соблазнить молодую девушку мог разве что только титулом. Но разуму следовало возобладать над чувствами, потому как в те времена единению душ придавалось куда меньшее значение, чем политическим союзам и присвоению территорий.

Бракосочетание было отсрочено в связи с кончиной Петра Великого, но теперь Екатерина вернулась к прежним планам и наметила свадьбу на 21 мая 1725 года. Анна, как ни печально ей было подчиняться чужой воле, в угоду матери смирилась с тем, что ее использовали в политических целях. Ей минуло семнадцать лет, Карлу-Фридриху двадцать пять. Архиепископ Феофан Прокопович, который несколько недель назад отслужил панихиду по Петру Великому, теперь благословил союз между дочерью усопшего Российского императора и сыном герцога Фридриха Голштинского и Гедвиги-Софии Шведской, которая сама была дочерью короля Карла XI и сестрой Карла XII. Поскольку жених не знал ни русского, ни – тем более – церковнославянского, толмач переводил ему самое главное в церковной службе на латынь. На пиру, устроенном по случаю венчания, гостей развлекала гримасами и всяческим кривляньем пара карликов, выскочивших ближе к десерту из огромного запеченного паштета. Присутствовавшие покатывались со смеху и аплодировали «артистам», даже новобрачной они показались забавными. Но тогда она еще не подозревала, каковы размеры бедствия, какое горькое разочарование ожидает ее совсем скоро. Пройдет всего три дня после свадебной церемонии, и саксонский дипломатический представитель доложит своему королю, что Карл-Фридрих уже три раза не ночевал дома, оставляя Анну одну томиться в супружеской постели. «Мать в отчаянии от самопожертвования дочери», – напишет он в этом докладе, а чуть позже добавит, что супруга, которой так гнусно пренебрегли, утешается тем, что «проводит ночи то с одними, то с другими…»[16]

Страшно сожалея о том, что старшей ее дочери настолько не повезло, Екатерина тем не менее отказалась признать себя побежденной и попробовала заинтересовать своего зятя государственными делами, раз уж он совсем не пригоден для дел любовных. Угадала она верно: Карл-Фридрих оказался помешанным на политике. Приглашенный участвовать в заседаниях Верховного тайного совета, он с таким жаром вступал в споры, что императрица даже беспокоилась иногда: не влезет ли он туда, куда ему соваться совсем не пристало.

Недовольная первым своим зятем, она мечтала исправить ошибку – тут уже ничем не поможешь, что сделано, то сделано, – и искала возможности выбрать для второй дочери, любимицы Петра Елизаветы, жениха, какому позавидовала бы вся Европа. Впрочем, о желаниях «всей Европы» она знала только со слов мужа, а с недавних пор – из донесений своих дипломатов. И если Петра Великого привлекали германские пунктуальность,

дисциплина и действенность, то она, со своей стороны, становилась все более чувствительна к очарованию и остроумию французов, потому что те из ее соотечественников, что успели побывать во Франции, все уши ей прожужжали, рассказывая о достоинствах этой страны. Вокруг нее только и говорили о том, какой несравненной утонченностью отличаются пиры и развлечения Версальского двора. Некоторые даже до того доходили в восторгах, что утверждали: ум и элегантность, которыми справедливо гордится французская нация, всячески помогают просвещенной власти управлять, а могущественной армии побеждать, мало того – способствуют прославлению этой власти и этой армии.

Посол Франции Жак де Кампредон часто говорил Екатерине о том, насколько выгодно было бы сближение между двумя государствами, у которых есть все для того, чтобы заключить соглашение. По его мнению, подобное соглашение избавило бы императрицу от тайного посягновения на российские дела англичан, которые не упускают случая вмешаться в распри России с Турцией, Данией, Швецией или Польшей. Все четыре года, в течение которых этот тонкий дипломат исполнял свои обязанности в Санкт-Петербурге, он не переставал втихую проповедовать необходимость франко-российского союза. И одним из первых его шагов при русском дворе было сообщение министру, кардиналу Дюбуа, о том, что младшая дочь царя, юная Елизавета Петровна, которая «весьма любезна и чрезвычайно хорошо сложена», была бы превосходной супругой для одного из принцев французского королевского дома. Правда, в те времена у Регента были отличные отношения с англичанами, и он опасался их разозлить, проявив интерес к русской великой княгине, но теперь упорный Жак де Кампредон смог вернуться к своим первоначальным намерениям. Разве нельзя возобновить начатые с царем переговоры после смерти последнего и вести их теперь с царицей? Кампредону очень хотелось убедить правительство Франции в своей правоте, и, чтобы подготовить почву, он удвоил любезность по адресу Екатерины.

Императрица была польщена, ее материнское тщеславие удовлетворено восхищением, которое иностранный дипломат демонстрировал по отношению к Елизавете. Может быть, думала она, нужно видеть в этом знак, говорящий о будущей привязанности всех французов к России? Она с волнением вспоминала о том, какую нежность когда-то испытывал Петр к маленькой Елизавете – такой тогда беленькой, веселой, грациозной. Девчушке было всего семь лет, когда отец заказал французскому художнику Караваку, своему человеку в санкт-

петербургском дворце, портрет голенькой дочери, чтобы любоваться ею в любой момент, как только захочется. Петр Великий, конечно, очень гордился бы тем, что его дитя, эта девушка – столь же прекрасная, сколь и добродетельная – избрана французским принцем в супруги. И спустя несколько месяцев после похорон мужа Екатерина начинает снова проявлять внимание к предложениям Кампредона. Матримониальные переговоры между ними возобновляются ровно с того места, на котором они были прерваны кончиной царя.

Апрель 1725 года был ознаменован распространением слухов о том, что семилетнюю инфанту Марию-Анну, дочь короля Филиппа V Испанского, считавшуюся невестой пятнадцатилетнего Людовика XV, вот-вот отправят обратно на родину, так как герцог Бурбонский[17] находит девочку слишком маленькой для отведенной ей роли. Екатерина сразу же вдохновляется этими слухами и приглашает к себе Кампредона. Тому остается только подтвердить справедливость молвы. Тогда императрица, расчувствовавшись из-за участи бедняжки-инфанты, заявляет, что решение Регента неудивительно, ибо грех – безнаказанно играть со священной наивностью и чистой душой ребенка… Затем, опасаясь ненужного ей вмешательства присутствовавшего при разговоре Нарышкина, продолжила беседу на шведском языке. Воздав должные похвалы физическим и моральным достоинствам Елизаветы, она подчеркнула важность роли, которую могла бы сыграть на международной арене великая княгиня, если бы Россия породнилась семьями с Францией. Правда, Екатерина сразу не решилась высказать прямо тайных своих намерений и ограничилась тем, что с пророческим светом в глазах воскликнула: «Дружба и союз с королем Франции предпочтительнее для нас любого – с любым принцем мира!» А мечту – чтобы ее дорогая малютка Елизавета, эта красавица, стала королевой Франции – приберегала в глубине души. Но сколько же проблем во всех концах Европы можно было бы легко решить, согласись Людовик XV стать ее зятем! Если потребуется, пообещала она, невеста перейдет в католическую веру… Услышав это предложение, Кампредон просто-таки рассыпался в благодарностях и попросил отсрочки ответа, чтобы он мог довести сказанное императрицей до сведения высших инстанций. Меншиков, со своей стороны, наседал на посла, заверяя того, что умом и грацией Елизавета «достойна французского духа», что она «рождена для Франции» и что она ослепит Версаль с первого же появления при французском дворе. Убежденный, что Регент не осмелится на сопротивление столь веским аргументам, продиктованным искренней дружбой, он решился даже пойти

дальше и предложил вдобавок к брачному союзу между Людовиком XV и царевной Елизаветой заключить еще один: между герцогом Бурбоном и Марией Лещинской, дочерью польского короля Станислава, ныне изгнанного в Виссембург. Изгнание его, все знали, временное, и на самом деле этот лишившийся короны монарх со дня на день снова взойдет на трон, если только Россия не найдет тому чересчур уж много препятствий.

Обмен тайными донесениями между канцеляриями двух дворов длился три месяца, но, к величайшему удивлению Екатерины, французская сторона никак не могла принять никакого решения. Даже и намека на него не вырисовывалось. Неужели она начала партию не с того хода? А может быть, нужны еще и какие-то другие уступки, какие-то иные обещания, чтобы сорвать этот крупный куш? Императрица все еще терялась в догадках, когда в сентябре 1725 года, словно гром с туманного петербургского неба, ее поразила новость: вопреки всем предположениям, Людовик XV собирается жениться… на той самой Марии Лещинской. На той самой ничтожной полячке, да к тому же двадцатидвухлетней, которую Российская императрица хотела предложить в подарок герцогу Бурбонскому! Вот это было оскорбление для царицы! Взбешенная, она поручила Меншикову выяснить причины подобного мезальянса. Тот отправился к Кампредону, и между ними состоялось совещание, похожее на совещание секундантов перед дуэлью. Загнанный в угол вопросами дипломат все искал способа сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, но преуспеть ему в этом неблагодарном занятии не удавалось. Он пустился в бессвязные объяснения, стал говорить о взаимной склонности обрученных, что было совсем уж неуместно, да и не слишком правдоподобно, а в конце концов объявил, что в королевском доме Франции хватает кандидатов, и прекрасная Елизавета могла бы выбрать среди них себе кого-то вместо короля. Некоторые принцы, намекнул он, представляют собой куда лучшую партию, чем монарх собственной персоной. Жадно вцепившись в кинутый ей спасательный круг, Екатерина, разочарованная в Людовике XV, решила переключиться на герцога де Шароле. На этот раз, думала она, осечки быть не может, поскольку ее не обвинят в том, что она нацелилась слишком высоко. Елизавета, которой было известно об этой торговле, между тем страдала от поруганной гордости и умоляла мать отказаться от неумеренных амбиций, позорящих их обеих. Но Екатерина не слушала, полагая, что она лучше кого бы то ни было знает, как сделать дочь счастливой. И ей был нанесен новый удар. В тот самый момент, когда

императрица верила, что наконец-то поставила на *ту* лошадку, она столкнулась внезапно с самым унизительным из отказов. «Его светлость связал себя другим обязательством», – сообщил ей Кампредон любезно, но всем своим видом выражая крайнее огорчение. Вид отражал сущность: посол действительно был удручен многочисленными оскорблениями, которые наносились императрице его устами. Российский двор стал непереносим для Кампредона, он решил уйти в отставку, но его министр, граф де Морвиль, приказал оставаться на месте, избегая, с одной стороны, всяких разговоров о каком бы то ни было кандидате в женихи Елизаветы, а с другой – всякой попытки сближения Санкт-Петербурга с Веной. Ох, как тревожила эта двойная ответственность осторожного Кампредона! К тому же он перестал понимать зигзаги в политике собственной страны. Узнав, что Екатерина предложила Верховному тайному совету разорвать отношения с Францией, которая решительно ее не признает, и подготовить обидный для его родины оборонительный альянс с Австрией, которая была готова помогать России, что бы ни случилось, дипломат – разочарованный, раздосадованный, чувствуя себя одураченным и испытывая отвращение ко всему, – Кампредон затребовал паспорта и 31 марта 1726 года покинул берега Невы, чтобы никогда более сюда не вернуться.

После его отъезда ощущения Екатерины напоминали ощущения девушки, которую обманула первая любовь. Франция, которую она так любила, оттолкнула ее и предала, предпочтя другую. Нет, это не ее дочери показали на дверь, а ей самой – с ее скипетром и короной, с ее армией, со всей славной историей ее страны, с ее безграничными надеждами! Задетая за живое, императрица посылает в Вену своего представителя, которому поручено оговорить условия альянса, от которого она сама так часто отказывалась. Отныне Европа будет поделена на два лагеря: с одной стороны – Россия, Австрия и Испания, с другой – Франция, Англия, Голландия и Пруссия… Конечно, соотношение сил могло еще не раз поменяться, да и взаимовлияние происходит обычно, не соблюдая границ, но в глазах Екатерины карта на ближайшие годы в целом уже была вычерчена.

В этом дипломатическом хаосе советники императрицы суетились и из кожи вон лезли, предлагая, отвергая, торгуясь, ссорясь и мирясь. Особенно дерзкие требования выдвигал с момента, как его включили в состав Верховного тайного совета, герцог Голштинский Карл-Фридрих. Стремление вернуть себе территории, которые некогда принадлежали его семье, превратилось у зятя императрицы в навязчивую идею. Вся история земного шара виделась ему через историю крошечного

герцогства, которое он считал своим владением. Раздраженная его бесконечными притязаниями, Екатерина в конце концов официально потребовала, чтобы король Дании отдал Шлезвиг ее зятю, великому герцогу Гольштин-Готторпскому. Столкнувшись с категорическим отказом сделать это со стороны датского монарха Фредерика IV, она взывает к Австрии, просит у нее дружеской помощи и добивается согласия поддержать в случае необходимости неуемного Карла-Фридриха, который просто-таки жить уже не может без клочка земли, который еще вчера входил составной частью в его наследство и которого его лишили в соответствии с позорными международными договорами, заключенными в Стокгольме и Фредериксборге. Однако вмешательство Англии в этот клубок противоречий только спутало все карты.

Царица, доведенная до отчаяния тем, что ей никак не удавалось разобраться в нагромождении государственных дел, находила, как это было у нее заведено, лучшее лекарство от забот и огорчений в крепких напитках. Вот только пьянство и обжорство вместо успокоения приносили новые страдания, окончательно разрушая здоровье. Ей случалось пировать до девяти утра и засыпать в стельку пьяной, рухнув в постель с едва знакомым мужчиной. Среди придворных поползли слухи о том, что монархия вот-вот развалится. И – как будто недостаточно было вечных пересудов о том о сем – словно для того, чтобы бесповоротно отравить атмосферу во дворце, там снова заговорили об этом чертенке, о внуке Петра Великого, который так несправедливо отстранен от власти.

Имя сынишки несчастного царевича Алексея, заплатившего когда-то жизнью за попытку противостоять политике «Реформатора», внезапно всплыло в неутихавших и запутанных спорах о наследственном праве. Противники невинного дитяти полагали, что ему следует разделить участь отца, и он должен быть навсегда исключен из числа представителей династии, способных претендовать на российскую корону. Сторонники малолетнего Петра Алексеевича возражали на это, что, напротив, его права на корону неоспоримы и что этому ребенку самой судьбой назначено взойти на трон и править под опекой близких. Круг его приверженцев составляли в основном дворяне старинных родов и провинциальные священнослужители. Приходили вести о волнениях – то в одном краю России, то в другом. Пока еще не случалось ничего особенно серьезного: довольно тихие сборища перед церквями, шушуканье после службы и только в день ангела – крики толпы, выкликавшей имя мальчика. Канцлер Остерман, стремясь предотвратить угрозу государственного переворота,

предложил женить царевича, которому еще не исполнилось и двенадцати лет, на его семнадцатилетней тетке Елизавете. Никто не задумывался, насколько этот союз желателен для заинтересованных лиц. Даже Екатерине, обычно весьма сочувственно относившейся к сердечным порывам, не пришло в голову, насколько странным выглядел бы заключенный по ее инициативе брак между ребенком, едва достигшим подросткового возраста, и почти уже засидевшейся в девках дочерью. Даже императрица не допускала размышлений о будущем этой немыслимой четы. Но замыслу этому не суждено было осуществиться: увлеченные сватовством «заговорщики», которым вопиющая разница в возрасте вовсе не казалась препятствием, вдруг сообразили, что Церковь наверняка не одобрит такой кровосмесительный брак, и после долгих дискуссий отвергли казавшуюся такой соблазнительной поначалу идею. Впрочем, Меншиков тут же и заменил ее, на его взгляд, куда лучшей. Набравшись наглости, он предложил женить царевича Петра не на тетке царевича Елизавете, а на собственной его, Александра Даниловича, дочери – Марии Александровне. В ней, добавил он скромно, соединяются красота души с совершенством телесным, и, женившись на ней, Петр Алексеевич станет счастливейшим супругом во вселенной. Правда, девушка была уже просватана с 1721 года Петру Сапеге, смоленскому воеводе, и, как говорят, влюблена в жениха по уши, но это детали, и они не смогли остановить Екатерину. Если учитывать чувства каждого, прежде чем получить благословение священника, никто никогда не женится и не выйдет замуж! И царица решительно отменила помолвку этих голубков, шедшую вразрез с ее желаниями, столь же решительно назначив Марию Александровну Меншикову невестой царевича Петра Алексеевича, а Петру Сапеге в качестве компенсации предложив собственную внучатую племянницу Софью Скавронскую. Между прочим, Ее Величество не забыла проверить мужские достоинства того, кого предназначила в мужья своей юной родственнице: Сапегу не раз приглашали в весьма гостеприимную царскую постель, где он доказал, на что способен. Да и вообще он умел себя вести и не протестовал против замены невесты. Екатерина с Меншиковым радовались и поздравляли друг друга с таким удачным и скорым разрешением проблемы, все были довольны, только бедняжка Мария Александровна лила слезы над своей погибшей любовью и проклинала счастливую соперницу, Софью Скавронскую.

Другая пара затеянной императрицей и Меншиковым матримониальной кадрили – царевна Анна и ее муж, герцог Карл-Фридрих Гольштин-Готторпский – тоже пребывала в глубоком

унынии с тех пор, как узнала о намечавшемся бракосочетании, которое под предлогом соблюдения интересов Петра Алексеевича на самом деле должно было укрепить власть в стране его будущего тестя и еще вернее отдалить от возможности взойти на трон обеих дочерей Петра Великого. Считая, что их приносят в жертву, хотя и по совершенно разным причинам, Анна и Елизавета бросились к ногам матери, умоляя ее отказаться от идеи этого возмутительного брака, способного принести удовлетворение только одному-единственному человеку: этому подстрекателю, хитрому, ловкому и изворотливому светлейшему князю. Царевен поддержал заклятый враг этого последнего – граф Толстой, пришедший в бешенство, увидев, что его постоянный конкурент может еще преуспеть в укреплении своей власти, если выдаст дочь замуж за наследника российской короны. Екатерину, казалось, разволновал этот жалобный хор, она сказала всем троим, что подумает о происходящем, и выпроводила их, не приняв никакого решения и в действительности ничего толком не пообещав.

Шло время, уныние сестер росло, а герцог Карл-Фридрих все с большим трудом выносил заносчивость, которую демонстрировал по отношению к нему Меншиков, уверенный в будущей победе. Уверенность Александра Даниловича подкреплялась тем, что в столице уже открыто заговорили о неизбежности женитьбы царевича на благородной и прекрасной девице Марии Меншиковой. А потихоньку еще рассказывали, какие сказочные суммы получал отец будущей счастливой новобрачной от разных людей, одинаково заинтересованных в том, чтобы обеспечить себе его защиту и покровительство в годы, которые последуют за свадьбой. Впрочем, некоторые припоминали, как несколько месяцев назад царица, охваченная тревогой, дала понять всем, кто пожелал это услышать, что после ее смерти именно младшая дочь, Елизавета, должна унаследовать корону. Но теперь это намерение было вроде бы прочно забыто. Елизавета, расстроенная тем, что мать ее не признает, но сдержанная и замкнутая по натуре, остерегалась возобновлять попытки завоевания себе места под солнцем. Зато ее зять, герцог Карл-Фридрих, оказался куда менее податливым. Несмотря на очевидный проигрыш, он продолжал биться – за себя и за Анну – до полного изнеможения. Он стремился любой ценой вырвать у тещи подпись под завещанием в пользу старшей дочери.

Однако Екатерина была сейчас слишком слаба для того, чтобы принимать участие в таких ожесточенных спорах. Она закрылась в своих покоях в Зимнем дворце, испытывая сильные затруднения в том, чтобы связывать между собой не только слова,

но и мысли. Злые языки за дверью ее спальни повторяли, что, мол, излишества в еде, выпивке и любви привели Ее Величество к раннему старческому слабоумию. 8 марта 1727 года саксонский дипломатический представитель в Санкт-Петербурге Иоганн Лефорт докладывал своему правительству, используя образный, но весьма приблизительный французский язык: «Царицу, вероятно, одолевают суровые приступы опухолей в ногах, опухоли эти распространяются до бедер и не сулят ничего хорошего; говорят, это следствие общения с Бахусом».[18] Преодолев сопротивление врачей, зять Екатерины проник к ней и засыпал вопросами, но императрица оказалась не в состоянии ни ответить на них, ни даже сообразить, о чем идет речь. 27 апреля 1727 года Екатерина пожаловалась на сильную боль в груди. Взгляд ее блуждал, она начала бредить. Холодно присмотревшись к теще, Карл-Фридрих сказал Толстому:

– Если она скончается, не продиктовав своей воли, мы погибли. Не можем ли мы убедить ее прямо сейчас назвать имя дочери?

– Если мы не сделали этого раньше, то сейчас тем более не сможем: слишком поздно, – ответил тот.[19]

В течение двух суток приближенные императрицы ловили мгновение, когда она испустит последний вздох. Обе дочери, как и Петр Сапега, не отходили от ее изголовья. Но минуты просветления случались редко, а стоило такой минуте случиться – тут же снова начинались конвульсии, и всякий раз судороги продолжались все дольше и были все мучительнее. Меншиков, которому каждый час доставляли рапорты о состоянии царицы, собрал Верховный тайный совет и предложил составить завещательный манифест. Царице, говорил он, останется только подписать его перед кончиной – пусть это будут любые каракули.[20]

Подавленные авторитетом светлейшего князя, члены совета остановились на недвусмысленном тексте, в котором предусматривалось, что, согласно воле Ее Величества, царевич Петр Алексеевич, пока несовершеннолетний и обещанный в качестве супруга девице Марии Меншиковой, станет, когда пробьет час, преемником императрицы Екатерины I и будет, вплоть до совершеннолетия, править при помощи Верховного тайного совета, учрежденного ею. Если Петр Алексеевич умрет, не оставив потомства, уточнялось в документе, корона перейдет к его тетке Анне Петровне или ее наследникам, затем – ко второй тетке, Елизавете Петровне, или ее наследникам. Обе поименованные тетки будут призваны принимать участие в заседаниях вышеназванного Верховного тайного совета до тех

пор, пока их царственному племяннику не исполнится семнадцать лет. Комбинация, задуманная Меншиковым, позволяла бы ему через дочь управлять судьбой страны. Эта замаскированная узурпация власти возмутила Толстого и его обычных сторонников, таких, как Бутурлин и португальский авантюрист Девиер. Они попытались протестовать, но Меншиков предупредил их маневр и с ходу объявил государственными преступниками, обвинив в оскорблении величества. Донесения оплачиваемых им шпионов не оставляли сомнений: большая часть приближенных Толстого, как и он сам, были замешаны в заговоре. Подвергнутый пыткам португалец Девиер сознался во всем, в чем его вынуждал сознаться палач, искусно орудовавший кнутом. По признанию Девиера, он с сообщниками публично высмеивал горести дочерей Ее Величества и участвовал в тайных встречах, целью которых был государственный переворот. От имени агонизирующей императрицы Меншиков приказал арестовать Толстого, того препроводили в Соловецкий монастырь, находившийся на острове в Белом море. Девиера сослали в Сибирь. Что касается остальных обвиняемых, то тут довольствовались отправкой их в свои поместья с запретом их покидать. Приговор герцогу Карлу-Фридриху Гольштин-Готторпскому не был произнесен официально, но из осторожности и из гордости он сам предпочел удалиться вместе с несправедливо обойденной наследством женой Анной Петровной в их загородное поместье – Екатерингоф.

Но едва молодая чета успела покинуть столицу, как их снова призвали туда: царице стало совсем плохо. Обычаи и благопристойность требовали, чтобы в такой момент дочери были рядом с умирающей. Обе и прибыли – присутствовать при последних мгновениях жизни матери. После долгой агонии императрица скончалась 6 мая 1727 года между девятью и десятью часами вечера. По приказу Меншикова два гвардейских полка немедленно окружили Зимний дворец – так, казалось Светлейшему, будет легче избежать всяких враждебных проявлений. Но на самом деле никто и не думал ни о каких протестах. Впрочем, как никто и не собирался плакать. Царствование Екатерины, продлившееся два года и два месяца, оставило большую часть ее подданных либо безразличными, либо озадаченными. Что делать? Сожалеть о безвременно усопшей царице или поздравлять себя с тем, что она наконец усопла?

8 мая 1727 года великий князь Петр Алексеевич был провозглашен императором Всея Руси. Состоявший еще при Петре Великом тайным кабинет-секретарем Макаров объявил об этом придворным и знати, собравшейся во дворце. В документе, с

поистине дьявольской ловкостью составленном Меншиковым и навязанном им Верховному тайному совету, хитро соединялись учрежденное Петром Великим право выбора государя и соответствующее московской традиции право наследования.

«В соответствии с завещанием Ее Величества новопреставленной императрицы, – читал Макаров торжественно, – *выбор* был сделан в пользу *наследника* престола, [21] Его Высочества великого князя Петра Алексеевича».

Слова и тон, каким они произносились, ласкали слух Меншикова. Внутренне он ликовал: успех его превзошел самые сказочные надежды. Не только его дочь – пусть еще и не официально, но, нет никаких сомнений, и в общественном мнении – стала Российской императрицей, но к тому же еще и Верховный тайный совет, которому предстоит осуществлять регентство вплоть до совершеннолетия Петра II, а мальчику пока еще только двенадцать, полностью в его руках – его, светлейшего князя! У него, когда-то – Алексашки, ныне генералиссимуса Александра Даниловича Меншикова, остается добрых пять лет на то, чтобы *положить страну к своим ногам*. Теперь уже нет никаких соперников – одни только верноподданные. Получается, что вроде бы вовсе не нужно быть Романовым, чтобы воцариться в этой империи. Готовый на любые сделки и компромиссы с властью, герцог Карл-Фридрих Голштинский пообещал вести себя смирно при условии, что в момент, когда Петру II исполнится семнадцать, то есть, по тогдашним обычаям, он достигнет совершеннолетия, Анна и Елизавета получат два миллиона рублей на двоих в качестве компенсации нанесенного им ущерба. Кроме того, Меншиков, находившийся в превосходном расположении духа, заверил, что постарается поддержать притязания Карла-Фридриха, который все еще мечтал вернуть себе во владение наследственные земли и даже – чем черт не шутит? – заставить признать свои права на шведскую корону. К этому времени герцогу Голштин-Готторпскому стало ясно, что его присутствие в Санкт-Петербурге стало всего лишь этапом в завоевании Стокгольма. И он искренне верил, что трон покойного короля Карла XII куда как лучше трона его победителя, покойного императора Петра Великого.

Меншикова ничуть не удивляли все возрастающие аппетиты молодого честолюбца. Разве не благодаря таким же амбициям ему самому удалось добиться положения, о котором он и мечтать не смел, когда был всего лишь соратником в битвах, сотрапезником на пирах и поверенным любовных делишек царя? Где ему суждено остановиться в восхождении к почестям и богатству? В ту минуту, когда его будущего зятя объявляли

самодержавным государем всей России, который станет царствовать под именем Петра II, Меншиков сказал себе, что его собственное царствование, вполне возможно, не за горами, все еще только начинается…

III. Пританцовки вокруг трона

Из всех лиц мужского ли, женского ли пола, какие могли претендовать на российский трон, наименее предрасположен и подготовлен к такой чести, сомнительной и ужасной, был мальчик, которого возвели на этот трон. Ни у одного из претендентов на то, чтобы стать преемником Екатерины I, не случилось подобного детства: совершенно лишенного какой бы то ни было любви и какого бы то ни было доброго совета, – только у Петра II. Он не знал своей матери: София-Шарлотта Брунсвик-Вольфенбюттельнская умерла вскоре после его рождения, а когда скончался, не выдержав пыток, отец, царевич Алексей, ребенку было всего три года. Круглого сироту воспитывали гувернантки – дворцовые служанки из простонародья, затем ему взяли немецких и венгерских учителей, от которых он получал совсем немного науки и еще меньше сердечного отношения.

Ребенку ничего не оставалось, как замкнуться в себе, но, стоило только ему войти в сколько-нибудь сознательный возраст, он продемонстрировал натуру, исполненную гордыни, агрессивности и цинизма. Постоянно склонный к хуле и мятежу, он испытывал нежность лишь к сестре Наталье, которая была старше его на четырнадцать месяцев, ценя в ней легкий и радостный нрав. Он же сам – несомненно по родовым признакам – несмотря на весьма юные лета, любящий развлекать себя алкоголем и удовольствиями самым что ни на есть низким манером, удивлялся тому, насколько девочку привлекает чтение, серьезные разговоры, изучение иностранных языков. Она говорила по-немецки и по-французски так же свободно, как по-русски. Зачем, думал он, сестре вся эта куча хлама в голове? Разве роль женщины, будь ей даже всего пятнадцать или шестнадцать лет, не в том только состоит, чтобы развлекать других и соблазнять мимоходом тех мужчин, ради которых стоит постараться? Петр подшучивал над ее излишним, как ему казалось, прилежанием, а Наталья, в свою очередь, пыталась хоть немножко дисциплинировать братца, журя его с такою нежностью, к какой он совсем не привык. Как жаль, что сестрица не очень хороша собой! Но, может быть, это даже и к лучшему? На что бы он только ни пошел, если бы сестра, помимо искрящегося ума, обладала и привлекательной внешностью! Да на любые уступки! Но и такая, какая она есть, Наталья помогает Петру переносить его положение лжемонарха, которого вроде бы все почитают, но которого на самом деле никто не слушается. С того времени, как Петр поднялся на престол, он чувствовал, что

Меншиков не подпускает его к власти, отодвигает, сводя его роль к роли царствующей марионетки. Конечно, подчеркивая свое превосходство, Петр II повелел, чтобы за столом Меншиков сидел слева от него, а Наталья справа, конечно, это он, а не Меншиков, сидя на троне между двумя своими тетками, Анной и Елизаветой, председательствует на заседаниях Верховного тайного совета, конечно, скоро он женится – женится на дочери этого самого Меншикова, и тому, став тестем царя, придется уж передать ему тогда бразды правления. Наверняка придется! Но сейчас юный Петр не мог не осознавать, что является лишь тенью императора, карикатурой на Петра Великого, *масленичным Его Величеством*, подчиняющимся воле организатора этого сверкающего всеми красками русского праздника. Что бы мальчик-император ни делал, он вынужден был склоняться перед требованиями Меншикова, который предвидел все и все устроил так, как ему было угодно.

Дворец этого всемогущего властелина располагался в самом центре Санкт-Петербурга, посреди роскошного парка на Васильевском острове. Для того чтобы перебраться на другой берег Невы, пока еще не был построен – специально для него – мост, Меньшиков использовал весельную шлюпку с каютой, обитой изнутри зеленым бархатом. Причалив к противоположному берегу, Александр Данилович пересаживался в позолоченную, разукрашенную гербами карету, на передней стенке которой сияла княжеская корона. Шестерка лошадей в расшитых золотой и серебряной нитью попонах малинового цвета были впряжены в чудо на колесах, представлявшее собой истинное произведение искусства и обеспечивавшее владельцу, кроме эстетического наслаждения и удовлетворения непомерного тщеславия, еще и необычайный комфорт на дороге. В любой, даже самой короткой поездке по городу карете Меншикова предшествовали многочисленные гайдуки. Его сопровождали также два пажа, ехавших верхом, пара придворных, гарцевавших у дверей кареты, и шестеро драгун, замыкавшие шествие и бесцеремонно разгонявшие зевак.[22] Никто в столице не обставлял свои передвижения по ней с подобной пышностью. Петр молча страдал от этого хвастовства, которое с каждым днем еще немножко отодвигало в тень фигуру настоящего царя, о котором, как ему казалось, даже народ, и тот уже и не вспоминает. Расставляя ловушку за ловушкой, хитрец Меншиков дошел до предела: дождавшись дня, когда император присягнет перед гвардией, он объявил о том, что отныне, из соображений безопасности, Его Величество не станет больше жить в Зимнем дворце, а переберется в его, меншиковский, дворец на

Васильевском острове. Все удивились подобному решению, при котором самодержавный государь оказывался словно бы под стеклянным колпаком у временщика, но никто не решился протестовать. Главные противники – Толстой, Девиер, Головкин – были своевременно отправлены в ссылку новым хозяином России, остальные промолчали.

Устроив Петра – правду сказать, с роскошью – в своем дворце, Меншиков мог следить за тем, с кем тот встречается. Заграждения, поставленные им у дверей императорских покоев, преодолеть было невозможно. Только теткам юного царя, его сестре Наталье и нескольким людям из особо доверенных лиц разрешено было навещать мальчика. Среди этих последних были назначенный воспитателем Петра вице-канцлер Андрей Иванович Остерман, инженер и генерал Бурхард-Кристоф фон Минних, граф Рейнгольд Левенвольде, бывший любовник Екатерины I и наемный агент герцогини Курляндской, шотландский генерал Ласси, который служил в России и сумел предупредить беспорядки после смерти императрицы, и, наконец, неизбежный и неисправимый герцог Карл-Фридрих Голштинский, все еще одержимый идеей вернуть Шлезвиг в семейную копилку. Меншиков обработал каждого из них – выговорами, наставлениями и подкупами, добиваясь все той же цели: пусть они подготовят его будущего зятя к тому, чтобы он лишь числился императором, отдав окончательно всю власть и ведение всех дел в руки тестя. Доверив этим людям воспитание безрассудного и импульсивного подростка, главное, чего Меншиков добивался от наставников, – привить тому вкус к пребыванию в обществе и лишить его всякой склонности действовать. Идеальный зять, по представлениям Меншикова, должен был быть образцом никчемности и хороших манер. Не имеет значения, что он необразован, ничего не понимает в политике, – лишь бы умел держаться на приемах. Окружению Его Величества было строго-настрого приказано дать мальчику-императору поверхностное образование, ни в коем случае не углубляясь ни в одну область. Большая часть новоиспеченных менторов, одобряемых Александром Даниловичем, приняла его условия, смирилась с ними, но некоторые – самые дипломатичные, осторожные и дальновидные – уже начали потихоньку сопротивляться.

В то время как Меншиков считал партию выигранной, вестфалец Остерман собрал вокруг себя тех, кого раздражали кичливость и наглость нового диктатора. Они уже давно заметили глухую враждебность Петра по отношению к его предполагаемому тестю и тайком поддерживали в этом своего

монарха. Вскоре – соблюдая глубокую конспирацию – собралась группа заговорщиков, к которой присоединились сестра императора Наталья и обе его тетки – Анна и Елизавета. Поставленный в известность самими конспираторами о существовании заговора с участием родственников царя, герцог Карл-Фридрих Голштинский пожелал присоединиться к ним и сказал, что, как и они, охотно станет сражаться за объявление полностью дееспособным Петра II, особенно если такое освобождение государя от зависимости будет сопровождаться признанием его прав на Шлезвиг и, разумеется, на Швецию. Как раз в это время Елизавета обручилась с другим представителем Голштинского рода – Карлом-Августом, двоюродным братом Карла-Фридриха, кандидатом на трон Курляндии и епископом Любским. Это обстоятельство привело к еще большему усилению решимости голштинского клана сбросить ярмо Меншикова и освободить Петра II от унизительной для него опеки.

Увы! 1 июня 1727 года молодой епископ Карл-Август умирает от оспы. И сразу же, совершенно внезапно, у Елизаветы не остается больше не только никакого возлюбленного, но и вообще надежды выйти замуж. Снова – после отставки, полученной ею от Людовика XV, пусть и при других обстоятельствах, она теряет претендента на свою руку и сердце, конечно, не такого великолепного, как король Франции, но все-таки тоже обеспечивавшего вполне почетное положение для русской великой княгини. Елизавета полностью обескуражена таким ударом судьбы и, испытывая невероятное отвращение к Санкт-Петербургскому двору, она удаляется вместе со своим зятем Карлом-Фридрихом и сестрой Анной в замок Екатерингоф, который расположен неподалеку от столицы в огромном парке, окруженном каналами. В этой идиллической обстановке Елизавета хочет попробовать забыть о преследующих ее несчастьях, поддерживаемая любовью близких людей.

В самый день отъезда этой троицы Меншиков устраивает во дворце на Васильевском острове ослепительно пышный праздник в честь помолвки своей старшей дочери Марии и юного царя Петра II. Невеста, усыпанная бриллиантами и прочими драгоценными камнями, получала в связи с этим событием титул Светлейшего Высочества и гарантию годовой ренты в тридцать четыре тысячи рублей из государственной казны. По отношению к Елизавете Меншиков проявляет себя куда более скаредным и выдает царевне, чтобы смягчить суровость судьбы по отношению к ней, «компенсацию за траур» в размере всего-навсего двенадцати тысяч рублей.[23] Но Елизавета хочет выглядеть в глазах всего света безутешной невестой. Она полагает: сам факт

того, что она засиделась в девичестве до восемнадцати лет и что в ней могут быть заинтересованы лишь те, кого волнуют политические амбиции, – сам по себе этот факт есть свидетельство участи такой жестокой, с какой долее мириться она не может. К счастью ее, друзья царевны настроены решительно. Они срочно принимаются искать в России и за границей замену Карлу-Августу, не уступающую ему по достоинствам, и находят – как раз в ту пору, когда гроб с телом покойного только-только доставлен в Любек. Новый предлагаемый Елизавете претендент на ее руку – родной брат усопшего Карл-Адольф Голштинский, а кроме него, ей намечают в мужья графа Морица Саксонского, побочного сына курфюрста Августа II, и еще кое-каких знатных дворян, чьи заслуги легко было удостоверить.

Пока Елизавета в екатерингофской тиши мечтает о женихах, которых она едва знает в лицо, практичный Меншиков в Санкт-Петербурге исследует преимущества каждой из предлагаемых кандидатур, оценивая их «по рыночной стоимости». Ведь, на его взгляд, царевна-полувдова представляет собой весьма прибыльный товар, если говорить о существующих дипломатических связях. Но связанные с Елизаветой матримониальные заботы не мешают ему постоянно следить за воспитанием своего царственного подопечного. Заметив, что с некоторых пор Петр стал менее экстравагантным в поступках, чем прежде, он поручил Остерману начать теперь борьбу с его природной ленью и приучать к строгому распределению часов учения и отдыха. Вестфальцу помогал в этом князь Алексей Григорьевич Долгорукий, «гувернер-адъютант». Он часто появлялся во дворце со своим сыном, князем Иваном – обаятельным двадцатилетним парнем, нарядным, изнеженным и женоподобным, и тот развлекал Его Величество неистощимой способностью к болтовне.

Вернувшись из Екатерингофа, где она провела несколько недель в романтических мечтаниях, Елизавета обосновалась в Летнем дворце, но не проходило и дня, чтобы она – вместе с сестрой Анной – не навестила дорогого своего племянника, запертого в позолоченной клетке. Сестры выслушивали откровенные признания испорченного мальчишки, разделяя его увлечение Иваном Долгоруким, этим неотразимым красавцем, и охотно принимали участие в ночных прогулках юношей и их веселых кутежах. Несмотря на выговоры, предостережения и упреки, какими осыпали четверку распутников их дуэньи мужского пола, они и не думали прекращать свои безумства.

В декабре 1727 года Иоганн Лефорт доносил своему

министру при Саксонском дворе о выходках юного государя так: «У хозяина [имелся в виду Петр II] нет других занятий, кроме как бегать по улицам днем и ночью вместе с царевной Елизаветой и ее сестрой, посещать камергера Ивана [Иван Долгорукий], пажей, кухарок и Бог весть еще кого». Доведя до сведения начальства, что у малолетнего императора, находящегося под опекой, противоестественные наклонности и что красавчик Иван втягивает его в запретные игры вместо того, чтобы бороться с этими наклонностями, Лефорт продолжает: «Можно подумать, что эти неблагоразумные и неосторожные люди [Долгорукие] нарочно устраивают разные оргии и провоцируют разгул, пробуждая в нем [царе] чувства, свойственные последнему из русских людей. Мне известны покои, прилегающие к биллиардной, где помощник гувернера [князь Алексей Григорьевич Долгорукий] организует для него всякие пикантные развлечения […] И спать все они ложатся не раньше семи часов утра».[24]

Однако эти выходки жадной до развлечений молодежи ничуть не тревожили Меншикова. Пока Петр и его тетушки путаются в любовных интрижках и бесконечных, ничего не значащих интимных связях, их политическое влияние сводится к нулю, думал он. Опасался Светлейший только того, что герцог Карл-Фридрих Голштинский, чьи непомерные амбиции сильно раздражали Александра Даниловича, вдруг начнет пренебрегать предостережениями своей супруги и захочет разрушить непомерными своими требованиями тот образ жизни, который был навязан Верховным тайным советом маленькому императору и его близким. Чтобы положить конец безрассудным мечтаниям Карла-Фридриха, Меншиков, усыпив бдительность Петра, который в тот вечер сильно напился, заставил его подписать указ, по которому изъял из реестра владений Карла-Фридриха один из островов в Рижском заливе, полученный им и Анной когда-то в качестве свадебного подарка, и урезал содержание герцога. Эти проявления скаредности сопровождались такими низкими притеснениями со стороны Меншикова, что герцог с супругой всерьез обиделись, рассердились и предпочли уехать из столицы, где их держат за бедных родственников, непрошеных гостей, едва ли не самозванцев. Обняв сестру перед тем, как с тяжелым сердцем отправиться с мужем в Киль, Анна сказала ей, что охвачена ужасным предчувствием. Самым близким людям шепнула, что очень боится действий Меншикова по отношению как к Елизавете, так и к Петру: Анна считала Светлейшего неумолимым врагом их семьи. Гигантский рост Меншикова и его широченные плечи позволили великой княгине прозвать его

Голиафом, и она сказала, что непрестанно молится за Петра, прося Господа о том, чтобы этот новоявленный Давид смог победить исполненное гордыни злобное чудовище, наложившее лапу на всю империю.

После отъезда сестры в Голштинское герцогство Елизавета сначала попробовала забыть все свои горести и тревоги, позволив унести себя вихрю любовных приключений. Петр помогал сестре в организации развлечений, каждый день придумывая новый повод побаловаться и напиться. Ему было всего четырнадцать лет, но его желания были желаниями зрелого мужчины. Чтобы обеспечить себе и брату полную свободу действий, Елизавета предложила перебраться в старый императорский дворец в Петергофе. В какой-то момент они уже могли подумать, что все самые тайные их молитвы услышаны, мечты вот-вот осуществятся, потому что Меншиков, вообще-то отличавшийся железным здоровьем, внезапно занемог, у него начались кровохаркания, и ему пришлось слечь в постель. Судя по долетавшим до Петергофа вестям, врачи предполагали, что болезнь будет долгой и опасной, если не роковой.

Во время этого периода безвластия те, кто считались советниками императора, собрались, чтобы обсудить текущие дела. Вдобавок к болезни Светлейшего случилось еще одно важное событие, и оно привело их в некоторую растерянность: первая жена Петра Великого, царица Евдокия, сосланная государем в Суздальский монастырь и ставшая там инокиней Еленой, а потом заключенная в Шлиссельбургскую крепость, вдруг появилась из небытия. В свое время император развелся с ней, чтобы жениться на Екатерине.[25] Старая, ослабевшая, но еще довольно крепкая, несмотря на тридцать лет, проведенные в заточении, Евдокия была все-таки матерью царевича Алексея, умершего под пытками, и бабушкой царя Петра II, который, впрочем, никогда в жизни не видел ее и не испытывал в этом никакой нужды. И вот теперь она вышла из тюрьмы, а поскольку ее заклятый враг Меншиков был прикован болезнью к постели, остальные члены Верховного тайного совета решили, что внук этой мученицы, которая вела себя так достойно в заточении и в изгнании, должен нанести ей визит вежливости. Это казалось им тем более важным, что Евдокия слыла в народе святой, невинно пострадавшей за государственные интересы. Одна была загвоздка, но существенная: Меншиков-то никогда не одобрил бы подобной инициативы, так не обидится ли, не рассердится ли он на то, что решение принято без обсуждения с ним? Каковы окажутся последствия, если он выздоровеет? Секретные обсуждения между заинтересованными лицами были жаркими.

Некоторые предлагали воспользоваться приближающейся коронацией юного царя, которая должна была состояться в Москве в начале 1728 года, чтобы устроить историческую встречу между бабкой, олицетворявшей прошлое, и внуком – символом будущего. Остерман, Долгорукий и другие лица, меньшего масштаба, уже адресовали верноподданнические послания старой царице и просили у нее поддержки в связи с будущими темными делишками. Но Евдокию, которая была погружена лишь в молитвы, посты и воспоминания, ничуть не интересовала придворная суета. Фальшивая атмосфера дворца принесла ей когда-то слишком много страданий, исковеркала ее жизнь, так зачем же ей теперь было желать иного вознаграждения, чем «блаженный покой» в Царстве Божьем.

Пока бабушка мечтала об ином Царстве, внуку, буйной головушке, не сиделось на месте. Но его отнюдь не одолевали миражи величия. Вдали от легендарной бабушки Елизавета устраивала братцу одно увеселение за другим. То охота, то импровизированный пикник, то любовные интрижки в сельском домике с мечтаниями под луной… Легкий привкус инцеста только придавал остроты удовольствию, которое испытывал Петр, лаская свою молодую тетушку. Легкое чувство вины, как ничто другое, способно уберечь плотскую связь от обычно сопровождающих ее невзгод: ведь, если придерживаться морали, отношения между мужчиной и женщиной очень скоро становятся такими же скучными и обременительными, как исполнение любого долга. Наверное, такие же соображения побуждали Петра предаваться параллельно экспериментам с Иваном Долгоруким. Чтобы отблагодарить князя за удовлетворение, которое он испытывал в его объятиях, с согласия Елизаветы, Петр дал тому чин камергера и наградил орденом Святой Екатерины, предназначенным вообще-то для дам. При дворе над всем этим открыто насмехались, а иностранные дипломаты торопились в своих донесениях соответствующим образом прокомментировать двусмысленные похождения Его Величества. Некоторые, говоря о дурном поведении Петра II во время болезни Меншикова, вспоминали французскую поговорку, которую можно было бы перевести так: «Без кота мышам масленица». В общем, Светлейшего уже как бы и похоронили. Но это означало только одно: людям было плохо известно, насколько он крепок физически и насколько велика сопротивляемость его организма. А он – внезапно, как чертик из табакерки – выскочил и оказался в центре этой свинской жизни, где амбициозные помыслы соревновались с требованиями пола. Надеялся ли он, что достаточно ему повысить голос, чтобы смутьяны ушли в

подполье? Пока Меншиков болел, Петр II набрался сил и больше не хотел терпеть принуждения. Никто, в том числе и его будущий тесть, отныне не имел права противоречить его желаниям. Светлейший совершенно растерялся и не поверил своим ушам, его вот-вот мог хватить удар, когда он услышал рев юнца: «Я тебе покажу, кто тут хозяин!»

Этот приступ гнева напомнил Меншикову о еще более чудовищных вспышках его бывшего хозяина, Петра Великого. Понимая, что было бы неосторожно задевать взбесившегося агнца, он притворился, будто видит в этом бешенстве лишь признаки запоздалого детства, и, оставив Петергоф, где Петр так неласково его принял, отправился отдохнуть в своем поместье – Ораниенбауме. Прежде чем упаковать вещи, Александр Данилович позаботился о том, чтобы вся компания была приглашена на праздник, который он рассчитывал устроить в своей загородной резиденции в честь царя и в честь собственного выздоровления. Но Петр II заупрямился и – под предлогом того, что Елизавете не было послано персональное приглашение, – отказался приехать на торжество. Чтобы еще больше подчеркнуть свое недовольство, он в тот самый вечер, на который было намечено торжество, отправился вместе с теткой охотиться на дичь в окрестностях владений Меншикова. Во время этого имевшего отношение лишь наполовину к охоте, зато на другую – к любви, предприятия он неотступно думал: как там сейчас развертываются празднества, придуманные Меншиковым? Не странно ли, что никто из друзей не последовал его примеру? Неужели страх вызвать неудовольствие Меншикова сильнее страха вызвать неудовольствие царя, раз у них не было даже колебаний? И только на единственное ему было наплевать: какие чувства вызывает его поведение у Марии Меншиковой, которая чуть было не вышла за него замуж, а теперь получила отставку. И у тех, кто побывал в гостях у Светлейшего, после их возвращения из Ораниенбаума он жадно выспрашивал только о том, как вел себя сам Александр Данилович во время пиршества. А они рассказывали, рассказывали все в подробностях: так не оставалось никаких угрызений совести. И особенно нажимали на тот факт, что Меншиков в своей дерзости и наглости дошел до такого предела, что в их присутствии уселся на трон, приготовленный для Петра II. По словам гостей Меншикова, хозяин поместья, обуянный гордыней, непрестанно только и доказывал своим поведением, что настоящий хозяин империи – он. Остерман говорил об этом с таким оскорбленным видом, словно неуважение было оказано ему лично. Более того, назавтра, воспользовавшись отсутствием Петра II, который опять поехал на

охоту с Елизаветой, Остерман, принимая Меншикова в Петергофе, резким тоном упрекнул его от имени всех искренних друзей царской фамилии в бестактности и нарушении приличий, допущенных им по отношению к императору, сказал, что тот должен чувствовать себя виноватым. Задетый внушением, которое было сделано ему подчиненным, Меншиков тем не менее свысока посмотрел на него и… вернулся в Санкт-Петербург, затаив в душе жажду мести, способной навсегда отбить у шайки интриганов желание составить заговор против него, Светлейшего.

Прибыв в свой дворец на Васильевском острове, Меншиков с изумлением обнаружил полное отсутствие каких бы то ни было вещей Петра II, которые, как выяснилось, были перевезены в Летний дворец, где, как ему сказали, царь отныне решил обосноваться. Раздосадованный и возмущенный, Меншиков потребовал объяснений у гвардейских офицеров, которым надлежало охранять дворец. Оказалось, что все караульные уже к этому времени сменились, а начальник их смущенно заявил, что они-де лишь повиновались императорскому приказу. Иными словами, все готовилось заранее… И то, что, как ему казалось, могло бы сойти за прихоть царя-подростка, на самом деле служило свидетельством окончательного с ним разрыва. Для Меншикова это событие означало, что рухнуло здание, которое он возводил годами и считал прочным, как гранит набережных Невы. Но в чем причина катастрофы, спрашивал он себя с тоской. Ответ не вызывал никаких сомнений. Виной всему случившемуся – проделки Алексея Долгорукого и его сына, очаровательного и лицемерного Ивана, которые всегда строили козни. А что теперь делать для спасения хоть чего-то, пусть даже части своих привилегий? Просить о снисхождении тех, кто нанес ему столь чувствительный удар, или обратиться к Петру и попробовать пожаловаться на них государю? Пока Меншиков колебался, не уверенный в том, какую лучше выбрать тактику, до него дошли сведения еще худшего свойства, чем все предыдущие: после переезда к тетке Елизавете в Летний дворец царь собрал членов Верховного тайного совета и обсудил с ними дополнительные санкции в отношении Светлейшего. Причем приговор был вынесен даже без того, чтобы дать возможность подсудимому сказать слово в свою защиту. Побуждаемый, вполне возможно и скорее всего, Елизаветой, сестрой Натальей и кланом Долгоруких, царь приказал арестовать Меншикова. Когда начальник штаба, генерал-майор Семен Салтыков пришел объявить приговор, Светлейшему ничего не оставалось, как только написать государю письмо с протестом и оправданиями, вот только он сильно сомневался в том, что это послание дойдет

до адресата.

В следующие дни наказания множились и становились все более и более беззаконными, несправедливыми, позорными. Меншикова лишили всех титулов и привилегий и сослали в его земли. Медленный обоз, содержащий собранные в спешке вещи осужденного, выполняя предписание, покинул Санкт-Петербург при полном всеобщем безразличии к случившемуся. Кто вчера был всем, сегодня стал никем. Самые пылкие сторонники Светлейшего перешли теперь в стан его врагов. Ненависть царя преследовала ссыльного, проявляясь на каждом этапе новыми карами: на станцию прибывал посыльный из дворца со свидетельством очередной немилости. В Вышнем Волочке скинутый с пьедестала фаворит получил приказ разоружить свою охрану. В Твери – приказ отослать в Санкт-Петербург слуг, экипажи и кареты. В Клину – приказ о конфискации у девицы Марии Меншиковой, бывшей царской невесты, обручального кольца, поскольку помолвка расторгнута. А когда обоз, наконец, добрался до пригородов Москвы – приказ обогнуть древний город, где всегда проходила коронация российских государей, и безотлагательно продолжить путь в направлении Раненбурга, находившегося в далекой рязанской провинции.

Наконец он достиг этого незаметного города, с невыносимой тоской на сердце увидел место своей пожизненной ссылки, и «пейзаж» совершенно поразил Меншикова. Дом, в котором ему предстояло жить с семьей, находился внутри зубчатых, снабженных бойницами стен крепости, практически – тюрьмы. Часовые дежурили у входа. Одному из офицеров было поручено следить за всеми перемещениями Меншиковых. Вся корреспонденция его перлюстрировалась. Попытки оправдаться в письмах, посылаемых тем, кто вынес ему приговор, оказались тщетными. И неудивительно. Еще в ту пору, когда Светлейший отказывался признать себя побежденным, Верховный тайный совет получил донесение от графа Николая Головина, посла России в Стокгольме. В этом секретном документе рассказывалось о недавних действиях генералиссимуса. Оказалось, что перед разжалованием он успел взять у англичан пять тысяч серебряных дукатов за то, что предупредил Швецию об опасности, которую сулит ей поддержка Россией территориальных притязаний герцога Голштинского. Известие о подобном предательстве государственного деятеля, занимавшего в стране самый высокий пост, и о его измене в пользу чужой державы открыло путь новой серии доносов и ударов ниже пояса: каждый старался, как мог, опорочить человека, только что находившегося на самой вершине могущества и славы. В адрес

Верховного тайного совета посыпались сотни писем – одни анонимные, другие – с подписями. Это соревнование более всего напоминало травлю. В любом послании указывалось на то, насколько подозрительно быстрое обогащение Меншикова, почти в каждом сообщалось о миллионах золотых монет, запрятанных в разных принадлежавших ему домах. Иоганн Лефорт счел даже полезным сообщить своему правительству о том, что серебряная посуда, найденная 20 декабря в тайнике главного меншиковского дворца, весила семьдесят пудов[26] и что при дальнейших обысках надеются обнаружить и другие сокровища. Эта совокупность злоупотреблений властью, лихоимства, хищения государственного имущества, прямого воровства и предательства заслуживала со стороны Верховного тайного совета самого что ни на есть безжалостного приговора. Вынесенный предварительно был сочтен слишком мягким, и потому учредили специальную комиссию, которая начала с ареста трех секретарей разоблаченного деспота. Затем ему был передан вопросник из двадцати пунктов, на который предложено было ответить, «не упуская ни малейшей подробности».

Казалось бы, враги Меншикова должны быть довольны. Но им оказалось мало согласия в том, что Светлейшего требуется устранить и наказать, – едва это было сделано, члены Верховного тайного совета принялись грызться из-за того, как поделить власть после падения колосса. Сначала управление текущими государственными делами взял на себя Остерман, однако Долгорукие, сила и влияние которых подкреплялись древностью рода, с каждым днем все больше стремились вытеснить «вестфальца». Их непосредственными конкурентами стали Голицыны, чье генеалогическое древо, как они говорили, свидетельствовало о ничуть не менее славном прошлом – это как минимум. Каждый из претендентов на власть тянул одеяло на себя, не особенно заботясь ни о нуждах России, ни о малолетнем императоре. Рассуждали они примерно так: если государь думает об одних лишь развлечениях, видным государственным деятелям нет никакого резона упорствовать в необходимости обеспечения счастья и процветания страны вместо того, чтобы думать о собственных интересах. Долгорукие делали ставку на молодого Ивана, такого ловкого и такого привлекательного: им казалось, что с его помощью удастся окончательно перетянуть Петра на свою сторону, избавившись от его тетки Елизаветы и сестры Натальи, отличавшихся амбициями, которые казались подозрительными, если не сказать – занимавшихся темными делами. Дмитрий Голицын, со своей стороны, поручил своему зятю, элегантному и не слишком щепетильному Александру

Бутурлину, втянуть Его Величество в развлечения, не только сомнительные, но и достаточно разнообразные для того, чтобы тот совсем забыл о политике. Но Елизавета и Наталья предугадали намерения Долгоруких и Голицына и объединились, чтобы открыть юному императору глаза на ловушки, которые ему расставляют два красавчика, бывших на самом деле волками в овечьей шкуре. Вот только ничего из этих благих намерений не вышло. Петр II, к сожалению, унаследовал от предков, а особенно от деда, неистребимый дух противоречия, и всякое предостережение, замечание, тем более внушение, представлялось ему оскорблением его достоинства. Он грубо одернул сестру и тетку и даже не подумал выслушать их до конца. Наталья отступила и не стала настаивать на своем. Что же до Елизаветы, то она неожиданно перешла в лагерь противника. Дело в том, что, сойдясь ближе с новыми друзьями племянника, она без памяти влюбилась в того самого Александра Бутурлина, которого совсем еще недавно стремилась низвергнуть. Вовлеченная племянником в поистине безудержное распутство, она была готова на любые вольности, разнузданность этой парочки не знала пределов. Для Елизаветы, как и для Петра, отныне существовало лишь два занятия, два полюса, между которыми развивалась их активность: охота и любовь. Ну, а кто же, если не Александр Бутурлин, мог наилучшим образом удовлетворить их склонности к сюрпризам и забавам в этой области? Естественно, как Верховному тайному совету, так и всему двору в целом были известны все детали экстравагантных поступков царя. Что ж, подумали они, наверное, самое время короновать его – быть может, образумится. Вот в такой атмосфере разврата и непрерывного соперничества политическое руководство России принялось готовить церемонию, которую, по традиции, предстояло провести в Москве.

9 января 1728 года Петр отправился в путь во главе процессии столь многочисленной, что можно было подумать: весь Санкт-Петербург сорвался с насиженного места, начался Великий Исход. По морозу, сквозь метель знать – целыми семьями – и представители высшей государственной власти медленно продвигались от Северной столицы к манившему их блеску старого Кремля. Но в Твери царь занемог, и ему пришлось остановиться – слечь в постель. Опасались, что мальчик подхватил корь, и придворные лекари посоветовали ему отлежаться, по крайней мере, две недели. Выздоровление наступило не скоро, и только 4 февраля юный самодержец торжественно вступил в расцвеченную флагами Москву. Его встречали криками «виват!», пушечными выстрелами,

колокольным звоном. По протоколу, первой он должен был посетить свою бабушку, императрицу Евдокию.[27] Подросток не только не испытал никаких нежных чувств, увидев перед собой старую, усталую и болтливую женщину, его даже охватило раздражение, когда она, упрекнув царя за то, что он ведет такую беспутную жизнь, посоветовала скорее жениться на благовоспитанной и родовитой девушке. Петр буквально заткнул ей рот, сухо отправив помолиться и намекнув, что она может найти более достойное приложение для своих добрых дел. Подобная реакция ничуть не удивила супругу Петра Великого, когда-то им отвергнутую: ей стало ясно, что подросток унаследовал от деда не только независимость духа, но и цинизм, и жестокость. А вот унаследовал ли гений?.. Она сильно опасалась, что вот этого-то и не произошло!

Организацию церемонии взяли на себя Долгорукие. Коронация государя была назначена на 24 февраля, местом ее должен был стать собор Успения Пресвятой Богородицы в Кремле. Укрывшись в зарешеченном уголке собора, царица Евдокия наблюдала за внуком – в короне на голове, со скипетром и державой – символами государственной власти – в руках. Получивший благословение священника в расшитой фелони, так сверкавшей золотом, что он казался сошедшим прямо с иконостаса, превозносимый до небес лучшими певчими церковного хора, император дожидался окончания праздничной литургии, чтобы, как ему было предписано, подойти к бабушке и поцеловать ей руку. Он пообещал ей проследить за тем, чтобы ее окружала толпа камергеров, пажей и придворных дам, в соответствии с ее высоким рангом, даже если – что желательно – она захочет обосноваться вне столицы, чтобы избежать дворцовой суеты. Евдокия восприняла урок и удалилась. Все, кто составлял свиту Петра, облегченно вздохнули: вроде бы течению празднества не суждено быть омраченным никакими неожиданными неприятностями.

Однако спустя всего лишь несколько дней после торжественного события в окрестностях Кремля, у Спасских ворот, были обнаружены подметные письма, в которых некто, не поставивший своей подписи, сообщал о непорядочности Долгоруких, бесчестных их поступках и призывал «людей добрых» потребовать возвращения милости государевой Меншикову. Разнеслись слухи, что этот пасквиль было написан Голицыным, чье недоброжелательство, если не сказать – враждебность, по отношению к Долгоруким было хорошо известно. Но назначенной для расследования инцидента комиссии не удалось найти тому никаких доказательств, и Верховный тайный совет,

вдохновляемый все тем же Долгоруким, решил, что происхождением своим анонимное письмо обязано не кому иному, как Меншикову, раз там содержался призыв к его оправданию, и приказал изгнать его вместе с семьей в город Березов, находившийся в самой дальней оконечности Сибири. Как раз в то самое время, когда бывший фаворит думал, что дела с царским правосудием у него закончены, в его дом, стоявший посреди крепостных стен, явились два офицера, огласили глубоко поразивший его приговор и, не дав перевести дыхание, втолкнули в повозку. Жена и дети, ужасавшиеся всем происходящим, сели рядом. Перед тем семейное имущество было разграблено, Меншиковым из милости разрешили взять с собой только кое-какие личные вещи и мебель. И под конвоем отряда вооруженных солдат – так, будто речь шла о сопровождении особо опасных преступников, – их отправили в дальний путь.

Расположенный более чем в тысяче верст от Тобольска Березов был сущей дырой, расположенной посреди пустынной равнины, сплошь покрытой тундрой, лесами и болотами. Зимы здесь, говорят, были такими суровыми, что птицы замерзали на лету, а стекла в окнах лопались. Но и подобной нищеты после той роскоши, в какой жил прежде Меншиков, и тех почестей, какие ему воздавали, было недостаточно, чтобы сломить его мужество. Жена его, Дарья, скончалась в дороге. Дочери оплакивали свои девичьи мечты о любви и навсегда утраченное величие. Сам он сожалел лишь о том, что ему довелось пережить такое несчастье. Однако никогда не умирающий инстинкт самосохранения подталкивал его к тому, чтобы оказывать сопротивление бедствиям. Привыкший наслаждаться роскошью во дворцах, он теперь трудился, как простой рабочий, своими руками приспосабливая выделенную им избу для жизни семьи. Соседи, которых предупредили, что новоприбывший виновен в «преступлениях против императора», встретили Меншикова более чем холодно и даже угрожали нападением. Однажды, когда возбужденная толпа на улице принялась выкрикивать проклятия в адрес «изменника» и бросать камнями в него самого и его дочерей, Александр Данилович не выдержал и воскликнул: «Бейте меня одного! Не трогайте женщин!»[28] Тем не менее, после нескольких месяцев таких ежедневных столкновений и оскорблений он ослабел и отказался от борьбы. В ноябре 1729 года его сразил апоплексический удар, сведший Меншикова в могилу. Месяцем позже умерла и его старшая дочь Мария, царская невеста в былые, такие прекрасные для нее времена.[29]

Равнодушный к судьбе того, от кого так поторопился избавиться, Петр II продолжал жить весело, беззаботно и

беспорядочно. Долгорукие, Голицын и Остерман были в силу этого свободны от необходимости отдавать ему отчет о своих действиях и, пользуясь этим, навязывали при всех обстоятельствах собственную волю. Единственное, чего они еще побаивались, – это влияния Елизаветы на племянника. Только она, думали тогдашние вершители судеб Российской империи, способна свести к нулю власть над Его Величеством дражайшего Ивана Долгорукова, без которого им было не обойтись. Но каково же могло быть самое верное средство обезоружить царевну? Конечно же, выдать ее замуж, причем немедленно! А за кого? Вновь всплыла кандидатура графа Морица Саксонского, но для Елизаветы он был совершенным пустым местом, да и вообще она мало о чем задумывалась: в ее очаровательной головке удерживались мысли только о том, какое бы еще выкинуть коленце, или звуки танцевальной музыки. Уверенная в том, что может управлять мужчинами по своему хотению, она меняла одних на других: с теми – идиллические отношения без всяких последствий, с этими – любовная связь, не имеющая завтрашнего дня. Соблазнив Александра Бутурлина, Елизавета переключилась на Ивана Долгорукого, любимца государя. Может быть, ее особенно возбуждала идея заполучить в любовники человека, который был известен своими гомосексуальными наклонностями? Как знать… Во всяком случае, узнав, что ее сестра, Анна Петровна, давно отбывшая в Голштинское герцогство, произвела на свет сына,[30] тогда как она сама в девятнадцать лет еще и замуж не вышла, царевна придала знаменательному событию куда меньшее значение, чем развитию своей скандальной интрижки с красавчиком Иваном. Любовная авантюра с молодым Долгоруким, вероятно, больше всего привлекала ее тем, что, покорив этого человека, она сумеет доказать всем преимущества своего пола в любых формах сексуальных извращений. Увести возлюбленного у мужчины, думала она, куда как менее обычное, а следовательно, намного более интересное и способное лучше развлечь предприятие, чем отбить мужчину у другой женщины.

Во время празднеств в Киле, устроенных Анной Петровной и великим герцогом Карлом-Фридрихом по случаю рождения наследника, царь открывал бал в паре с теткой Елизаветой. Оттанцевав положенное под восхищенными взглядами собравшихся гостей, император отправился в соседнюю комнату – пропустить, как бы сказали сейчас, рюмку-другую в компании друзей, поскольку желание выпить для горького пьяницы – состояние нормальное. Опустошив несколько стаканов, он вдруг обнаружил, что его постоянный спутник во всех удовольствиях Иван Долгорукий куда-то делся. Удивленный Петр вернулся туда,

откуда пришел, и увидел, что тот в самом центре зала кружится до изнеможения в танце с Елизаветой. Тетка показалась ему в объятиях не сводившего с нее глаз кавалера такой радостной и возбужденной, что он впал в бешенство и решил напиться в стельку. Интересно, кого к кому он на самом деле приревновал: Елизавету к Ивану Долгорукому или Ивана Долгорукого к Елизавете?

По-настоящему тетка и племянник примирились только после Пасхи. Покинув на этот раз Ивана Долгорукого, Петр повез Елизавету на охоту, но не простую, а представлявшую собой целое путешествие: оно должно было продолжаться несколько месяцев. Парочку сопровождало пятьсот экипажей. Били как пернатую дичь, так и крупного зверя. Когда нужно было затравить волка, выследить лисицу или медведя, этим занимались специальные егеря в зеленых ливреях, обшитых серебряной тесьмой: они же нападали на животное, вооружившись ружьями и рогатинами, а хозяева с интересом глядели на происходящее. Вдоволь налюбовавшись трофеями, прямо на свежем воздухе устраивали пиршество, к разбитому охотниками лагерю издалека съезжались торговцы с тюками тканей и различных вышитых изделий, с чудодейственными бальзамами и фальшивыми драгоценностями.

Посреди этого океана развлечений Петра и Елизавету настигла тревожная новость: заболела сестра государя, Наталья, у нее началось кровохаркание. Вдруг она умрет? Но нет, она-то выздоровела, зато сестра Елизаветы, Анна Петровна, герцогиня Голштинская, стала объектом серьезного беспокойства близких. Глядя через открытое окно на фейерверк, зажженный по случаю того, что она поправилась после благополучного разрешения младенцем, Анна сильно простудилась, простуда быстро перешла в воспаление легких, и спустя несколько дней бедняжка скончалась, не дожив и до двадцати лет и оставив после себя сына-сироту всего двух недель от роду. Все окружение Петра II было потрясено. Только он один не выказал ни малейшего огорчения, узнав о скоропостижной смерти несчастной. Некоторые подумывали: а способен ли еще государь вообще хоть на какие-то человеческие чувства? Неужели злоупотребление запретными наслаждениями полностью иссушило его сердце?

Когда тело тетки, которую государь не так уж давно нежно любил, привезли в Санкт-Петербург, Петр не счел нужным пойти на ее похороны. И даже не отменил бала, который давал, как обычно, во дворце в день своих именин. Прошло несколько месяцев, и легочная болезнь сестры царя Натальи, вроде бы остановленная лекарями, вдруг резко обострилась. Как нарочно,

государя опять не оказалось на месте: он снова был в пути, снова охотился то тут, то там. Однако смирился с необходимостью вернуться в Санкт-Петербург, чтобы присутствовать при последних мгновениях жизни верной спутницы своего детства. Вот только сетования близких Натальи и Остермана на судьбу и восхваления добродетелей великой княгини, о которой все говорили, что «она была чистый ангел», выслушивал нетерпеливо, а стоило той умереть 3 декабря 1728 года, тут же заторопился в поместье Горенки, где Долгорукий ждал его, чтобы устроить незабываемую, как он обещал, охоту. На этот раз Петр не пригласил Елизавету отправиться с ним. Честно говоря, дело было не только в том, что он уже подустал от любезностей и кокетства молодой женщины, но и в том, что ему попросту очень хотелось обновить круг участников развлечений. Желая оправдать частую смену объектов своей «любознательности», он говорил себе, что для нормально устроенного мужчины игра в постоянно идущие одно за другим открытия всегда привлекательнее, чем угрюмая и тоскливая верность.

В Горенках императора ожидал приятный сюрприз. Алексей, глава клана Долгоруких, всегда умело организовывавший охоту для своего гостя, на этот раз превзошел сам себя, приготовив такую новую дичь, на какую Петр не мог рассчитывать даже в сладких мечтах. Во владениях Долгорукого государя поджидали три княжеские дочери – все необычайно свеженькие, раскованные и аппетитные, возможно, именно благодаря тому, что выглядели вызывающе девственными. Старшая, Екатерина – близкие называли ее Катей – отличалась такой красотой, что просто перехватывало дыхание: черные как смоль роскошные волосы, горящие темным огнем глаза, матовая кожа, розовеющая при малейшем волнении. Девушка была не только красива, она еще и обладала неукротимым темпераментом, который позволял ей с одинаковым азартом участвовать в травле оленя и в дружеской попойке после пира, в салонных играх, требующих ума и знаний, и в танцах до упаду, причем все это – после многочасовых скачек верхом по полям и лесам. Все наблюдатели оказались согласны в общем предсказании: Иван Долгорукий того и гляди уступит место в сердце легкомысленного царя своей прелестной сестрице Кате. Но как бы ни было, семья Долгоруких останется в выигрыше.

И тут насторожился Санкт-Петербург. Соперники Долгоруких сильно опасались, как бы внезапно вспыхнувшая страстишка царя, отзвуки которой долетели до столицы, не привела к свадьбе. А за свадьбой такой обязательно последовало бы полное подчинение царя его новообретенной семье, а отсюда – столько

же полное подчинение ей остальных членов Верховного тайного совета, обуздать которых Долгоруким хотелось очень давно.

Петр между тем был настолько сильно покорен прелестной Катей, что, казалось, и дня без нее провести не мог: едва приехав в столицу, тут же рванул назад, в Горенки. Да, впрочем, и прибыл он в город совсем ненадолго – лишь для того, чтобы пополнить свое охотничье снаряжение, и, купив две сотни гончих и четыре левреток, сразу же отправился к возлюбленной.

Но едва он вернулся на место своих охотничьих подвигов, хозяевам угодий почудилось, будто царь не так уж уверен в том, что охота и прочие развлечения доставляют ему необычайное удовольствие. То Петр лениво, со скучающим видом, подсчитывал зайцев, лис и волков, убитых за день, а то – в ответ на поздравления после особенно удачной охоты, во время которой он одолел трех медведей, отвечал с саркастической улыбкой: «Хм! Что такое – три медведя! За мной сами бегают четыре зверя о двух ногах!» Собеседник сразу догадался, что это был обидный намек на князя Алексея Долгорукого и его трех дочерей. Насмешка, публично брошенная в лицо самых на то время близких ему людей, позволила присутствовавшим предположить, что царь, чересчур легко воспламенившийся при виде красавицы Кати, больше не горит прежним огнем, а значит, вполне может вот-вот ее покинуть.

Наблюдая издалека за то разгоравшимися, то угасавшими отношениями этой непредсказуемой парочки, вылавливая новости главным образом из болтовни придворных, Остерман, как опытный стратег, принялся готовить контрнаступление. Елизавета тогда уже оправилась после пережитого из-за смерти сестры Анны горя и была готова к новым приключениям. Разумеется, в первое время она часто вспоминала о несчастном младенце, крошечном племяннике, лишенном материнской ласки и растущем в чужих краях, будто иностранец, но с течением дней забыла о своих намерениях опекать его. Носились даже слухи о том, что, выйдя из приступа мистической экзальтации, она настолько быстро обрела вкус к жизни, что страстно увлеклась потомком знатного старинного рода, весьма привлекательным графом Семеном Нарышкиным. Этот любящий роскошь дворянин с изысканным вкусом был ее ровесником, а его усердие в походах по горам и долам – Семен повсюду следовал за нею, как собачка, – свидетельствовало о том, что оба они одинаково заинтересованы в свиданиях наедине. И, отправившись в свои измайловские владения, Елизавета не преминула пригласить туда Нарышкина. Там их опьяняли простые и здоровые радости деревенской жизни – и действительно, что может быть приятнее,

чем разыгрывать пастораль, имея несколько дворцов и будучи окруженными толпой прислужников! Каждый день они развлекались тем, что собирали орехи, цветы, грибы, по отношению к крепостным проявляли отеческую ласку и заботу, интересовались здоровьем скота на пастбищах и в хлевах…

Между тем, пока Остерман, засылая в Измайлово своих шпионов, следил за тем, как развивается буколический роман между Семеном Нарышкиным и Елизаветой, Долгорукие в Горенках тоже не дремали. Они, несмотря на некоторые доходившие до них тревожные вести, все еще упрямо лелеяли мечту о женитьбе царя на Кате. Правда, из осторожности признавали, что надо было бы не только выдать Катю Долгорукую замуж за Петра II, но одновременно и обвенчать тетку царя Елизавету Петровну с Иваном Долгоруким. Но вот – последняя новость: эта безумная Елизавета увлеклась Семеном Нарышкиным! Столь неожиданная прихоть царевны могла испортить все дело. Надо было срочно положить этому конец и обрести спокойствие. Поставив все на карту, глава клана пригрозил Елизавете, что запрет ее в монастырь, если она станет упорствовать в предпочтениях и не откажется от Семена Нарышкина в пользу Ивана Долгорукого. Только ведь в жилах молодой женщины текла кровь Петра Великого – и она с гордостью и презрением отказалась подчиниться. Тогда Долгорукие как с цепи сорвались – бешенству их не было предела. Поскольку в их руках находились главные государственные службы, они подготовили распоряжение Верховного тайного совета, согласно которому Семен Нарышкин должен был немедленно отправиться за границу с некоей миссией и оставаться там столько времени, сколько понадобится на то, чтобы Елизавета его забыла. Снова Елизавете помешали любить – и снова она плакала, возмущалась и обдумывала планы безжалостной мести. Однако довольно скоро ей пришлось признать свое бессилие в борьбе с махинациями Верховного тайного совета, тем более что не приходилось даже рассчитывать на поддержку Петра в защите своих интересов, уж слишком государь был занят собственными любовными осложнениями, чтобы заниматься теткиными. По слухам, дошедшим до Елизаветы, царь чуть было не порвал с Катей Долгорукой, узнав, что она бегала на тайные свидания с другим воздыхателем – неким графом Миллезимо (Millesimo), атташе германского посольства в России. Испуганный последствиями, которые мог иметь такой разрыв, торопясь помешать императору ускользнуть в связи с открывшимися ему обстоятельствами, Долгорукие озаботились тем, чтобы организовать для примирения Кати и

Петра тайное свидание в охотничьем домике. Но стоило им после примирения приступить к первым ласкам, как на пороге возник отец девушки и, заявив, что поругана его честь, потребовал официального удовлетворения. Самое странное во всем этом деле то, что такая грубая ловушка сработала для Долгоруких удачно. И вряд ли можно сейчас понять с какой-либо достоверностью, чем была вызвана капитуляция юноши, застигнутого возмущенным *pater familias*[31] врасплох, в объятиях возлюбленной и в полном опьянении страстью. То ли «виновник» в конце концов сдался потому, что на самом деле любил Катю Долгорукую, то ли побоялся скандала, то ли просто все ему надоело, устал…

Как бы там ни было, 22 октября 1729 года, в день рождения Екатерины, Долгорукие объявили приглашенным, что девушка помолвлена с царем. Затем 19 ноября Верховный тайный совет получил официальное известие о помолвке, а на 30-е того же месяца в Москве, в Лефортовском дворце, где Петр имел обыкновение останавливаться во время своих кратких посещений города, было назначено обручение. Накануне торжественной церемонии старая царица Евдокия согласилась показаться на людях, чтобы благословить чету. Вся знать империи, все иностранные посланники собрались в зале, ожидая приезда избранницы государя. Ее брат, Иван Долгорукий, бывший фаворит Петра II, отправился за ней в Головинский дворец, где Екатерина остановилась вместе с матерью. Кортеж двигался по городу, и восторженные толпы приветствовали его: юность красавицы невесты и окружавшая ее роскошь наводили людей на мысль, что они присутствуют при счастливом завершении волшебной сказки. Когда у въезда в Лефортовский дворец корона, венчавшая карету, в которой ехала Катя, зацепилась за верхнюю балку ворот и с грохотом упала на землю, суеверные зеваки сочли это дурным предзнаменованием. Но сама Катя и бровью не повела. Прямая, величественная, она переступила порог парадного зала. Епископ Феофан Прокопович сделал ей и Петру знак подойти. Они остановились под балдахином из золотой и серебряной парчи, который держали над ними два генерала. Обменялись кольцами. Артиллерийские залпы и колокольный звон предварили поток поздравлений. В соответствии с протоколом *царевна* Елизавета Петровна сделала шаг вперед и, стараясь забыть, что она дочь Петра Великого, поцеловала руку своей подданной по имени Екатерина Долгорукая. Чуть позже уже самому Петру II пришлось преодолевать ревность и досаду: к его невесте приблизился граф Миллезимо, поклонился, Екатерина уже приготовилась протянуть руку для поцелуя, но жениху этот общепринятый выражавший любезность жест показался

неуместным и неприличным, он попытался помешать ему. Однако ничего из этого не вышло: Катя, опередив его, успела протянуть свои пальчики навстречу атташе посольства, который коснулся их губами, прежде чем выпрямиться и отойти под убийственным взглядом Петра. Увидев, что царь гневается, друзья Миллезимо увели с собой «нарушителя спокойствия» и скрылись в толпе. Именно этот момент князь Василий Долгорукий, один из самых выдающихся представителей большой семьи, счел наиболее подходящим для того, чтобы обратиться к племяннице с наставлениями. Вот эта речь фельдмаршала Долгорукого, сказанная при поздравлении: «Вчера я был твой дядя, нынче ты – моя государыня, и я буду всегда твой верный слуга. Позволь дать тебе совет: смотри на своего августейшего супруга не как на супруга только, но как на государя и занимайся только тем, что может быть ему приятно. Твоя фамилия многочисленна, но, слава Богу, она очень богата, и члены ее занимают хорошие места; итак, если тебя будут просить о милости кому-нибудь, хлопочи не в пользу имени, но в пользу заслуг и добродетели: это будет настоящее средство быть счастливою, чего тебе желаю».[32]

Эти мудрые слова тем не менее еще больше омрачили настроение Петра, и до конца торжества лицо его оставалось хмурым, насупленным. Даже во время фейерверка, завершавшего праздник, он не удостоил и взглядом ту, с кем только что обменялся обещаниями вечной любви и доверия. И чем пристальнее он всматривался в тех, кто окружал его, тем яснее ему становилось, что его поймали в сеть.

Пока Петр II вот так вот делил свое время между политическими интригами, женщинами, попойками и радостями охоты, Верховный тайный совет – худо ли, хорошо ли – вершил государственные дела. По инициативе советников и с согласия царя были приняты меры, чтобы усилить контроль за чиновниками, узаконить хождение простых векселей, запретить священнослужителям надевать светскую одежду и оставить за Сенатом решение проблем Малороссии. Короче, несмотря на отсутствие императора, империя продолжала существовать.

Между тем Петр узнал, что дорогой его сердцу Иван Долгорукий собирается жениться на юной Наталье Шереметевой. По правде говоря, он не видел ничего особенно плохого в том, чтобы уступить своего когдатошнего «любимчика» сопернице. Условились о том, что для подтверждения особо дружеских отношений, которые связывали между собой четырех молодых людей, надо будет отпраздновать их свадьбы в один день. И все-таки это весьма разумное решение не переставало волновать Петра. Впрочем, сейчас его разочаровывало и раздражало все:

люди, вещи, события. Он постоянно чувствовал себя не в своей тарелке и не знал, кому довериться. Незадолго до конца года Петр, без всякого предварительного извещения, нежданно-негаданно появился у Елизаветы, которой пренебрегал последние месяцы. И обнаружил, что тетка живет в плохих условиях, ей плохо служат, она лишена самого необходимого, тогда как она должна быть первой дамой империи. Петр пришел к ней, чтобы пожаловаться на свои горести, но она встретила племянника жалобами на свои. Елизавета обвинила Долгоруких в том, что они унижают ее, разоряют и, мало того, готовятся и по отношению к нему проявить свое господство, властвовать над царем, используя жену, которую сами же ему и навязали. Встревоженный сетованиями тетки, которую Петр всегда тайно любил, он воскликнул: «Это не моя вина! Меня не слушаются, но я скоро найду средство разбить свои оковы!»

Эти слова стали известны Долгоруким, и те начали бесконечные обсуждения того, как нанести ответный удар, чтобы он оказался действенным, но при этом не выйти за рамки почтительности. В то же самое время им пришлось заняться еще одной семейной проблемой, требующей безотлагательного решения: Иван Долгорукий поссорился с сестрой Катей из-за того, что после обручения она потеряла всякие представления о приличиях и стала требовать, чтобы ей отдали бриллианты покойной великой княгини Натальи, которые ей якобы пообещал царь. Подобная гнусная свара вокруг шкатулки с драгоценностями могла разозлить Петра в тот момент, когда больше всего нужно было усыпить его подозрительность. Но как урезонить, как заставить угомониться женщин, куда менее восприимчивых к мужской логике, чем к сверкающим камешкам царской сокровищницы?

6 января 1730 года, когда проходило традиционное Водосвятие на Неве, Петр явился на церемонию с опозданием и расположился за открытыми санями, в которых сидела Екатерина. Мороз был сильный, и звуки речи священника, равно как и пение хора, казались в ледяном воздухе какими-то ирреальными. Клубы пара, вылетавшие изо ртов певчих, закрывали их лица. Петр дрожал от холода, служба казалась ему бесконечной. Вернувшись домой, он почувствовал, что его лихорадит, и лег в постель. Все решили, что царь простудился. К 12 января ему стало лучше, но спустя еще пять дней лекари обнаружили у него признаки оспы. Когда стало известно, что царь заболел оспой, в те времена болезнью чаще всего смертельной, Долгорукие, охваченные паникой, собрались в Головинском дворце. Лица – вытянутые, на них отражался ужас от услышанного. Предчувствие катастрофы

заставляло не успевшую еще официально породниться с царем семью искать средства избежать ее. Среди всеобщей растерянности Алексей Долгорукий объявил, что существует единственное решение проблемы в случае, если император скоро умрет: нужно немедленно короновать ту, кого он избрал себе в супруги: Екатерину, Катеньку. Но это предложение показалось князю Василию Владимировичу из ряда вон выходящим, и он запротестовал от имени всего семейства.

«– Ни я сам не хочу быть ее подданным, и никто из моих близких не хочет! Она еще не замужем за императором!

– Они обручены! – возразил Алексей.

– Это не одно и то же!»

Разгорелся спор. Князь Сергей Долгорукий предложил поднять гвардию, чтобы она поддержала притязания невесты царя. Обернувшись к генералу Василию Владимировичу Долгорукому, он закричал:

«Вы с Иваном командуете Преображенским полком. И можете заставить своих людей сделать все, что пожелаете!..

– Нас бы убили на месте!» – ответил генерал и покинул собрание.

После его ухода другой Долгорукий, князь Василий Лукич, член Верховного тайного совета, сидевший у камина, где пылал огонь, по собственной воле составил и стал записывать текст завещания, которое надо было подсунуть царю на подпись, пока тот еще в состоянии читать и подписывать официальные документы. Другие члены семьи сгрудились за его спиной и стали подсказывать кто слово, кто целую фразу, стараясь украсить этот текст. Когда дело было сделано, раздался голос кого-то из присутствовавших: а вдруг, спросил этот человек, неблагонадежные или злонамеренные лица усомнятся в подлинности завещания? Тут же третий Долгорукий, Иван, фаворит Петра, жених Натальи Шереметевой, пришел на помощь. Нужна подпись царя? Нет ничего проще! Вытащив из кармана какую-то бумажку, он показал ее родственникам.

«Вот почерк царя, – весело сказал он. – А вот мой. Даже вы не сможете отличить один от другого. И я умею подписываться, как Петр. Часто делал это развлечения ради!»

Свидетели были изумлены, но никто не выразил возмущения. Окунув перо в чернильницу, Иван внизу страницы с текстом завещания недрогнувшей рукой поставил подпись царя. Все, заглянув ему через плечо, пришли в восторг.

«Точно та же рука, что и у царя!» – воскликнули они.[33]

Затем мошенники обменялись уже наполовину успокоенными взглядами и обратились к Богу с молитвой о том, чтобы у них все-

таки не появилось необходимости использовать эту фальшивую подпись.

Время от времени они посылали во дворец своих людей, чтобы узнать, как чувствует себя царь. Новости из Лефортова приходили все более тревожные. Петр скончался в ночь с 18 на 19 января 1730 года, спустя час после того, как пробило полночь, в возрасте четырнадцати лет и трех месяцев. Его царствование продолжалось чуть больше двух с половиной лет. 19 января, день его смерти, был именно тем днем, на который было за несколько недель до того назначено бракосочетание императора с Екатериной Долгорукой.

IV. Внезапное и удивительное пришествие Анны Иоанновны

Такая же неуверенность, какая охватила в свое время членов Верховного тайного совета[34] при известии о смерти Петра Великого, воцарилась среди собрания в первые часы, последовавшие за кончиной императора Петра II «Малого». Не было ни наследника мужского пола, ни подлинного завещания – так кем же следовало заменить усопшего, не спровоцировав при этом мятежа со стороны аристократии? В Лефортовский дворец съехались обычные представители знати – «генералитета» из окружения Голицыных, Головкиных, Долгоруких. Но никто пока еще не осмеливался высказать вслух своего суждения – словно бы все «распорядители», привлеченные к решению проблемы, чувствовали себя немножко виноватыми в трагическом повороте судьбы российской монархии, клонившейся к закату.

Князь Василий Долгорукий счел этот момент всеобщей растерянности самым подходящим для того, чтобы навязать обществу собственное мнение. Выхватив шпагу из ножен, он взмахнул ею в воздухе и издал воинственный клич: «Да здравствует Ее Величество Екатерина!» Чтобы оправдать столь победительное заявление, он тут же и напомнил о завещании, накануне сфабрикованном кланом Долгоруких и подписанном молодым его родичем Иваном, умевшим столь успешно подражать почерку царя. Если бы махинация удалась, Долгорукие мгновенно взлетели бы на самую вершину имперской власти. Игра явно стоила свеч.

Но не тут-то было… Лагерь противников этого выбора мгновенно сплотился в возмущении, и, испепелив Долгорукого взглядом, Дмитрий Голицын отрезал: «Ваше завещание поддельное от начала до конца!» И заявил, что сию минуту это докажет. Опасаясь, что в случае, если документ подвергнут серьезной экспертизе, им грозят обвинения в подделке завещания, и обвинения такие приведут к весьма тяжким последствиям, Долгорукие тут же и отступили: было бы глупо настаивать. И больше никто и не упоминал о том, что хорошо бы возвести на трон Екатерину: вместо уютного местечка на вершине империи несостоявшаяся супруга императора оказалась в полном вакууме. А Дмитрий Голицын между тем, используя свое преимущество, продолжал речь. Теперь он заявил, что, поскольку нет наследника Петра Великого мужского пола по прямой, Верховному тайному совету стоит подумать о боковой линии,

вспомнить об отпрысках старшей ее ветви и предложить корону кому-то из детей Ивана V, прозванного «Дурачком», который хотя и был болезненным и апатичным, царствовал вместе с братом, Петром Великим, в течение пяти лет регентства их старшей сестры Софьи. Однако так уж, к несчастью, случилось, что Иван V оставил после себя одних только дочерей.

Что же, значит, в правители России снова надо выбирать женщину? И опять возникли страстные споры о достоинствах и недостатках «гинекократии», женской власти. Конечно, Екатерина I совсем недавно доказала, что женщина может быть мужественной, отважной, решительной и прозорливой, когда того требуют обстоятельства, но ведь всякому известно, что и у пола есть свои требования, он делает женщину рабыней чувств. А как можно допустить, чтобы императрица приносила в жертву прихотям любовников величие родины и интересы государства? Чтобы подкрепить это суждение убедительными аргументами, те, кто высказывал его, напоминали о Меншикове, который буквально управлял Екатериной и водил ее за нос. Ну, а разве царь, царь-мужчина, не может оказаться таким же слабым, не может уступать желаниям фаворитки, искусной в ласках и интригах, возражали им? Разве в этом смысле царь не будет подобен царице, которая была послушной куклой в руках Меншикова? Разве сам Петр II не дал убедительных примеров полной сдачи позиций, развала власти, попадая в ловушки женских соблазнов? Когда выбираешь того, кто должен встать во главе государства и вести его твердой рукой, важно обращать внимание не столько на половую принадлежность, сколько на характер лица, которому страна окажет доверие. И в таких условиях, утверждал Дмитрий Голицын, матриархат более чем приемлем, если, разумеется, удостоенная такой чести претендентка на престол окажется способной властвовать. С этим согласились все, и Голицын стал предлагать к рассмотрению последние оставшиеся кандидатуры. Он сразу же отклонил несуразное предложение призвать на царствование Елизавету Петровну, тетку Петра II, которая, как полагал Голицын, все равно уже молчаливо отказалась властвовать, раз предпочла жить не в столице, а в деревне, презрительно относясь к своим близким и сетуя на все подряд. В сравнении с этой дочерью Петра Великого три наследницы его брата, Ивана V, сильно выигрывали и казались куда как более интересны. Однако старшая, Екатерина Ивановна, славилась своим взбалмошным и желчным характером, кроме того, ее супруг, князь Карл-Леопольд Мекленбургский, был известен как человек нервный, непоследовательный и неуравновешенный, вечный мятежник, всегда готовый сражаться

хоть с соседями, хоть с собственными подданными. Пусть Екатерина Ивановна уже десять лет как рассталась с мужем – этот факт не дает достаточной гарантии безопасности, потому что, едва узнав, что ее выбрали в императрицы, ветреник мгновенно вернется к покинутой жене и станет править сам, постоянно втягивая страну в дорогостоящие и совершенно бесполезные войны. Младшая, Прасковья Ивановна, золотушная и рахитичная, ни по здоровью, ни по ясности ума, ни по душевному равновесию не соответствует требованиям, предъявляемым к тому, кому суждено заниматься государственными делами. Остается средняя сестра – Анна Ивановна. Ей сравнялось тридцать семь лет, но энергии у нее еще, как говорят, через край. Ее мужем был герцог Курляндский Фридрих-Вильгельм, в 1711 году она овдовела, но осталась жить в Анненгофе близ Митавы, соблюдая достоинство и терпя лишения. Анна Иоанновна чуть было не вышла замуж за Морица Саксонского, но не успела, сильно увлекшись курляндским дворянчиком Иоганном-Эрнстом Бироном. Представляя эту кандидатуру, Дмитрий Голицын вскользь упомянул об этой детали и пообещал, что в любом случае, если Верховный совет потребует, Анна Иоанновна без всяких сожалений оставит любовника, чтобы прибыть в Россию. Прочитав по лицам собеседников, что его речь убедила их, князь добавил:

«– Значит, мы пришли к согласию насчет Анны Иоанновны. Но нужно облегчить положение!

Удивленный такой неясной, даже двусмысленной формулировкой, Гавриил Головкин спросил:

– Как вы это понимаете?

– Думаю, нам следует обеспечить себе несколько большую свободу!»

Понимая, что, по мысли Дмитрия Голицына, им предстоит исподтишка и незаметно, маскируясь пристойными намерениями, подтачивать доверенную царице власть, чтобы значительно расширить свои, Верховного тайного совета, права и полномочия, все охотно согласились. Представители древнейших фамилий России, объединившись в союз, увидели в этой инициативе неожиданно представившийся случай укрепить политическое влияние дворянства боярских корней и не просто усилить его, но противопоставить наследственной монархии и ее случайным прислужникам. При помощи столь несложного фокуса у Ее Величества отхватывали полу ее «царской мантии», притворяясь, будто помогают ей в эту мантию облачиться. После долгих и бесплодных споров авторы проекта воцарения Анны Иоанновны сошлись на том, что царицей она будет признана, но права ее

ограничат целой серией дополнительных условий, которые ей придется подписать, прежде чем она взойдет на престол.

Члены Верховного тайного совета поднялись наверх, в большой зал дворца, где собравшиеся во множестве гражданские лица, военные и священнослужители ожидали результата их совещания. Узнав о решении, принятом советниками высшего ранга, епископ Феофан Прокопович робко напомнил о завещании Екатерины I, согласно которому после смерти Петра II корона Российской империи должна перейти к его тетке Елизавете, дочери Петра Великого и покойной императрицы. Неважно, что это дитя рождено до венчания родителей: мать передала дочери кровь Романовых, говорил он, а все остальное не имеет значения, когда на карту поставлено будущее России. Услышав эти слова, возмущенный Дмитрий Голицын воскликнул: «Нам не нужны ублюдки!»

Оскорбленный и униженный подобной оплеухой, Феофан Прокопович проглотил свои возражения и перешел к изучению «практических условий», предлагаемых для подписания императрице. Список ограничений императорской власти заканчивался клятвой кандидатки на престол: «А буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской». В соответствии с условиями грамоты, придуманной консультантами наивысшего ранга, императрица обязывалась истово трудиться ради укрепления православной веры, не выходить замуж, не назначать себе наследника и держать при себе Верховный тайный совет, чье согласие будет всегда совершенно необходимо, если она надумает объявить войну, заключить мир, поднять пошлины, вмешаться в дела дворянства, назначить кого-то на ключевые посты империи, заняться распределением земель, деревень, крестьян, а также своих собственных средств, взятых из казны: Анне вменялось в обязанность соразмерять свои личные расходы с нуждами и возможностями государства. Перечень запретов поразил присутствовавших. Не слишком ли далеко зашел Верховный тайный совет в своих требованиях к будущей царице? Не заключено ли в этом списке оскорбление Ее Величества? Те, кто опасался, что власть будущей императрицы будет ограничена оглядкой на традиции, сталкивались с теми, кто только радовался усилению роли истинного боярства в политической жизни России. Но очень скоро вторые одолели первых. Со всех сторон раздавались возгласы: «Это еще лучший выход из положения!» И даже епископ Феофан Прокопович, вдохновленный энтузиазмом большинства, умолк и затаил свои тревоги. С согласия всей страны Верховный тайный совет получил князю

Василию Лукичу Долгорукому, князю Дмитрию Голицыну и генералу Леонтьеву отвезти Анне Иоанновне в далекую Митаву послание, содержащее условия наследования ею престола.

Тем временем Елизавете Петровне стало известно о сути споров и распоряжений Верховного тайного совета: ее личный врач, который был одновременно и доверенным лицом, Арман Лесток, предупредил царевну о махинациях, готовящихся в Москве, и умолял «действовать». Но она отказалась предпринимать какие бы то ни было, пусть даже самые незначительные, попытки отстоять свои права на трон Петра II. У нее не было детей, и она не хотела их иметь. По ее мнению, единственным законным наследником российской короны был племянник, Карл-Петр-Ульрих, сын ее сестры Анны и герцога Карла-Фридриха. Да, именно он был единственным законным наследником, но… но мать его умерла, а ребенку было всего несколько месяцев. Оцепеневшая, онемевшая от горя, Елизавета не колеблясь приняла траур, да ей и не хотелось преодолевать это препятствие, вставшее между нею и светской жизнью. После всех любовных авантюр, приведших лишь к разочарованию, после всех рухнувших надежд и всех несостоявшихся обручений она прониклась отвращением к российскому двору и предпочитала одиночество и даже скуку деревенской жизни пестроте, шумихе, суетности, мишуре дворцов.

В то самое время, когда цесаревна размышляла – и грусть ее была смешана с горечью – о будущем империи, больше никак ее не касавшемся, посланники Верховного тайного совета спешили к ее кузине Анне Иоанновне в Митаву. Кандидатка в царицы приняла их с лукавой доброжелательностью. И Анна Иоанновна не зря втихомолку посмеивалась: добровольные шпионы при дворе, с которыми она поддерживала отношения, уже успели донести ей о содержании писем, привезенных депутацией от Верховного тайного совета. Но внешне, конечно, она ничем себя не выдала: намерений своих так и не открыла, прочитала и бровью не поведя перечень запретов, накладывавшихся на российскую императрицу и продиктованных теми, кто стремился сохранить режим, который позволил бы им держать власть в своих руках, более того – объявила, что со всем согласна. У нее, казалось, не вызвало возражений даже сделанное ей предложение порвать с любовником – Эрнстом-Иоганном Бироном. Введенные в заблуждение тем, с каким достоинством и – одновременно – с какой покорностью вела себя Анна Иоанновна, полномочные представители двора даже и не предполагали, что без их ведома она уже все уладила. Договорилась с фаворитом, без которого не мыслила жизни, что он по первому ее зову, по первому сигналу,

что путь открыт, явится в Москву или Санкт-Петербург. Их встреча была тем более возможна, что, судя по сведениям, полученным Анной Иоанновной от ее истинных сторонников в России, среди мелкого дворянства есть много людей, готовых восстать против высшей аристократии, против этих «верховников», как их называли в народе, обвиненных в том, что они хотели присвоить себе власть Ее Величества, чтобы увеличить свою. Шептались даже, что гвардия, всегда защищавшая священные права монархии, в случае конфликта намерена вмешаться, встав на сторону наследницы Петра Великого и Екатерины I.

Втайне лелея собственные планы, заверив делегатов из Москвы в полном своем согласии подчиниться требованиям Верховного тайного совета и сделав вид, что попрощалась навеки с дорогим своим Бироном, Анна Иоанновна пустилась в дорогу. За нею следовала свита, достойная принцессы такого ранга. 10 февраля 1730 года сделали остановку в селе Всесвятском, поблизости от Москвы. Назавтра должны были состояться похороны Петра II, времени на то, чтобы добраться до города, не хватало, но эта помеха вполне устраивала будущую императрицу. И действительно, как она узнала немного позже, траурный день оказался ознаменован скандалом. Невеста покойного, Екатерина Долгорукая, в последний момент потребовала, чтобы ее поместили в кортеже там же, где находились члены императорской семьи. Те, кому на самом деле принадлежала эта привилегия, взбунтовались и отказались принять «выскочку» в свои ряды.

Началась перебранка, после обмена оскорблениями и поношениями взбешенная Екатерина отправилась домой.

Этот инцидент, во всех подробностях изложенный Анне Иоанновне, немало ее позабавил, и ей показалось еще приятнее заснеженное Всесвятское с его тишиной и покоем. Но следовало подумать и о том, как она въедет в старую царскую столицу. Озабоченная тем, чтобы народ ее полюбил, Анна Иоанновна угостила водкой два прибывших ее поприветствовать подразделения: Преображенского полка и конного гвардейского полка, после чего, не сходя с места, объявила себя полковником этих войск, а главного своего приспешника – графа Семена Андреевича Салтыкова – подполковником. Зато – взяв реванш, – когда к ней явились с визитом изъявить почтение члены Верховного тайного совета, она приняла их с ледяной вежливостью и притворилась удивленной, увидев, что канцлер, Гавриил Головкин, собирается наградить ее орденом Андрея Первозванного, на который она и так имела право как царица.

«Ах, правда, я и позабыла его надеть!» – с иронией произнесла она, остановив Головкина жестом. И, позвав кого-то из свиты, попросила надеть на нее ленту прямо на глазах у канцлера, шокированного подобным нарушением правил. Удалившись, каждый из членов Верховного тайного совета подумал про себя, что управлять царицей будет не так легко, как им казалось.

15 февраля 1730 года произошел, наконец, торжественный въезд Анны Иоанновны в Москву, а на 19-е число того же месяца было назначено принесение присяги Ее Величеству в Успенском соборе и главных церквях города. Верховный тайный совет, предупрежденный о том, что императрица не слишком его жалует, надумал пойти на некоторые уступки, чтобы сохранить главные преимущества и чуть-чуть подправить традиционный текст этого «клятвенного обещания». Теперь, решили верховники, отныне пусть все клянутся в верности «Ее Величеству и Империи» – это, по их мысли, должно было устранить все опасения и дурные предчувствия. Затем, после бесчисленных совещаний, учитывая неконтролируемые волнения среди гвардейских офицеров, они смирились с необходимостью смягчить еще и формулировки «запретов», налагавшихся на императрицу первоначальным договором с ней. По-прежнему загадочная, по-прежнему улыбающаяся, Анна Иоанновна отмечала про себя эти ничтожные изменения, не одобряя их вслух, но и не критикуя. Она – по видимости с глубокой нежностью – приняла у себя кузину, Елизавету Петровну, благосклонно протянула руку для поцелуя, объявила, что с огромным участием относится к их общей семье. А прежде чем отпустить восвояси, пообещала даже лично – как самодержавная государыня – проследить за тем, чтобы Елизавета ни в чем не нуждалась, пока хочет находиться в своем уединении.

Но, несмотря на показные покорность и доброжелательность, Анна Иоанновна ни на минуту не теряла из виду цель, поставленную ею перед собой, когда новая царица покидала Митаву, чтобы вернуться в Россию. Имевшиеся среди гвардейцев, мелкого и среднего дворянства, духовенства сторонники императрицы готовились действовать, а действия их неминуемо должны были привести к взрыву.

25 февраля 1730 года царица как ни в чем не бывало сидела на троне, окруженная членами Верховного тайного совета и толпой придворных, наводнивших большой зал Лефортовского дворца. Внезапно сквозь толпу, подобно кораблю, лихо разрезающему морские волны, прорвались несколько сотен гвардейских офицеров во главе с князем Алексеем Черкасским, известным борцом за права новой императрицы. Взяв слово, он

попытался в бессвязной своей речи объяснить, что документ, подписанный Ее Величеством под давлением Верховного тайного совета, противоречит принципам российской монархии, где царят помазанники Божьи. От имени миллионов подданных, посвятивших себя борьбе за Святую Русь, он принялся умолять царицу отказаться от этого чудовищного соглашения и как можно скорее созвать Сенат, дворянство, высшее офицерство и духовенство, чтобы огласить перед этим собранием свои собственные взгляды на власть.

«Нам нужна самодержавная царица, мы не хотим Верховного тайного совета!» – прокричал один из офицеров, бросаясь на колени перед Анной Иоанновной. Ловкая комедиантка, Анна Иоанновна изобразила изумление: вроде бы ей вдруг открылось, что ее добровольное согласие было получено обманом, что, полагая, будто передает Верховному тайному совету часть своих прав ради всеобщего блага, она, оказывается, оказала услугу только злодеям и честолюбцам! «Как?! – воскликнула она. – Разве, когда я подписывала „Кондиции“ в Митаве, я не соблюдала интересов всего народа?» Офицеры вдруг все разом сделали шаг вперед, как на параде, и заявили в один голос: «Мы не позволим, чтобы нашей государыне диктовали законы! Мы ваши рабы, но мы не можем перенести, чтобы бунтовщики делали вид, что командуют вами. Скажите одно только слово, и мы бросим их головы к вашим ногам!»

Анна Иоанновна едва сдержалась, чтобы не показать публично своей радости. Во мгновение ока ее триумф искупил все прошлые унижения и оскорбления. Ее хотели оставить в дураках, а это она оставила в дураках своих врагов, *верховников*, стерла их в порошок. Испепелив взглядом этих коварных аристократов, она воскликнула: «Я больше не чувствую себя в безопасности здесь!» – и, обернувшись к офицерам, добавила: «Повинуйтесь только Семену Андреевичу Салтыкову!»

Человек, которого она назвала, несколько дней назад был произведен в подполковники. Офицеры прокричали «Виват!» так громко, что стекла задрожали. Одной-единственной фразой эта мудрая женщина с сильным характером смела Верховный тайный совет с лица земли. Значит, она сможет вести Россию к славе, справедливости, процветанию, значит, она достойна этого!

Чтобы завершить этот «момент истины», императрица приказала прочесть ей вслух текст *хартии*. После оглашения каждого пункта договора она задавала один и тот же вопрос: «Соответствует ли это желаниям народа?» И каждый раз офицеры вопили во все горло: «Да здравствует самодержавная царица! Смерть изменникам! Мы разорвем на куски всякого, кто откажет

ей в этом титуле!»

Выигравшая таким образом всенародный плебисцит даже прежде, чем была официально коронована, Анна Иоанновна заключила сладким голоском, который никак не подходил к ее могучей фигуре матроны: «Так, выходит, эта бумага бесполезна?» – и под рев толпы, кричавшей «Виват!», порвала в клочья документ и бросила его клочки к своим ногам.

По окончании этого бурного заседания, которое Анна Иоанновна сочла своей настоящей коронацией, императрица, в сопровождении все разрастающейся когорты гвардейских офицеров, двинулась в сторону членов Верховного тайного совета, которые, не желая присутствовать при триумфе той, которой хотели подстричь коготки, но которая этими коготками только что изодрала их всех в кровь, предпочли ретироваться. В то время как большая часть верховников словно бы онемела – они стояли подавленные, унылые, удрученные, – Дмитрий Голицын и Василий Долгорукий обратились к толпе противников и публично признали свое поражение. «Пусть все будет так, как угодно Провидению!» – философски заключил Долгорукий.

И снова взорвалась толпа, снова послышались крики «Виват». «День одураченных» подходил к концу. Когда уже не оставалось ни малейшего риска примкнуть не к той партии, сделать неверный выбор, Остерман, который, притворившись тяжело больным, якобы пролежал все это время в постели по настоянию врачей, вдруг появился – свеженький как огурчик и веселый как скворец, – поздравил Анну Иоанновну, поклялся ей в вечной преданности и потихоньку предложил императрице начать от имени Ее Величества показательный процесс против Долгоруких и Голицыных. Анна бросила ему радостно-презрительную улыбку. Ну, и кто осмеливался говорить, что она другой породы, чем Петр Великий? Только что она доказала обратное. И одна только мысль об этом переполняла ее гордостью.

Самое трудное осталось позади, и Анна Иоанновна уже без особых переживаний стала готовиться к коронации: надо было ковать железо, пока горячо. По ее приказанию официальная церемония была назначена на 15 марта 1730 года – то есть спустя две недели после описанных выше событий. Коронацию решено было проводить с обычным блеском, в Успенском соборе Кремля. Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна – смена одного Величества на другое происходила в таком быстром темпе, что голова кружилась в этом безумном вальсе. Явление новой императрицы вынуждало москвичей в третий раз за шесть лет приветствовать торжественный кортеж, который двигался по улицам города по случаю восшествия на престол государыни. И, уже привыкшие к

этим повторяющимся празднествам, они тем не менее все с тем же энтузиазмом выкрикивали здравицы и выказывали благоговение перед «матушкой-царицей».

Но и императрица проводила дни не в праздности. Она начала свое царствование с того, что назначила главнокомандующим и главным камергером двора Семена Андреевича Салтыкова, который так верно послужил ей, и сослала чересчур беспокойного Дмитрия Михайловича Голицына в его земли, чтобы примерно наказать. А самое главное, что она успела сделать, – это послать эмиссара в Митаву, где Бирон с нетерпением ожидал известия о том, что путь свободен. Получив это известие, он немедленно выехал в Москву.

В старой столице праздники по поводу коронации сопровождались гигантскими фейерверками, но сверкающие огни салютов вскоре померкли на фоне редкостно яркого багрянца рассветного неба: вставала заря, небо внезапно запылало, будто сбрызнутое алой кровью… Среди народа нашлись смельчаки, решившиеся увидеть в этом дурное предзнаменование.

V. Странности и причуды Анны

Царевна Анна в семнадцать лет была выдана замуж за герцога Фридриха-Вильгельма, который, оставив о себе при дворе воспоминание как о сварливом принце-пьянице, увез супругу в Курляндию, в Анненгоф. Прошло всего несколько месяцев после отъезда из России – и Анна Иоанновна осталась вдовой. Тут же перебравшись в Митаву, она жила там в одиночестве и нужде, чувствуя себя покинутой Богом и людьми. В течение долгих лет, когда весь мир, казалось, позабыл о ее существовании, за Анной, словно тень, следовал повсюду некий Эрнст-Иоганн Бирон – дворянин вестфальского происхождения. Бирон занял в сердце герцогини место ее прежнего возлюбленного, Петра Бестужева, должника Петра Великого.

Сменив Петра Бестужева, Эрнст-Иоганн Бирон, человек весьма плохо образованный, но с непомерными амбициями, проявил необычайное усердие и оказался незаменим как в дневных трудах герцогини, так и в ее постели по ночам. Ей в равной степени нравились и его советы, и его ласки. Бирон освободил любовницу от обременявших ее забот и опасений, доставляя ей все удовольствия, каких только она могла пожелать. Хотя настоящая фамилия его была «Bühren», а близкие, русифицировав ее, называли его Biren'ом, сам он предпочел, чтобы его «офранцузили», и выбрал другую транскрипцию своего имени: «Biron». Будучи внуком конюха Якова Курляндского (Jacques de Courlande), Эрнст-Иоганн претендовал на высокое происхождение и везде говорил, что принадлежит к благородному французскому роду Бирон, под фамилией «Бирон» он и вошел в историю.

Сама Анна Иоанновна даже и не думала ни в чем сомневаться, она верила любовнику на слово, и привязанность ее к нему была так сильна и велика, что герцогиня каждый день находила не меньше сотни совпадений в их взглядах на жизнь. Общность вкусов и склонностей обнаруживалась даже в самых мелких деталях их повседневного поведения, включая интимную близость. Точно так же, как его царственная любовница, Бирон обожал роскошь, но ему, как и ей, была в высшей степени безразлична нравственная и телесная чистота. Здравомыслящая и физически здоровая женщина, Анна не обижалась ни на что, была довольна всем и считала приятными даже исходивший от Бирона запах пота и конюшни и его резкий тевтонский акцент. Действительно, как за столом, так и в постели для нее предпочтительны были сильные запахи и грубые наслаждения.

Она любила поесть, любила выпить, любила посмеяться. Анна была очень высокой, пузатой, с пышной грудью, оплывшим от жира телом, одутловатым лицом, привлекательными в ней казались только густые темные волосы и живые синие глаза с дерзким взглядом, обезоруживавшим собеседника еще до того, как она успевала произнести хоть слово. Страсть к ярким, перегруженным золотым шитьем платьям вполне уживалась в ней с презрением к модным при дворе ароматным туалетным водам. В ее окружении говорили даже, будто русская царевна упорствует в том, что лучший способ очистить кожу – протереть ее растопленным маслом. Еще одно противоречие в характере Анны Иоанновны сказывалось на ее обращении с животными: она безумно их любила, но находила садистское удовольствие в том, чтобы убивать или даже мучить. Назавтра после коронации и переезда в Санкт-Петербург она приказала развесить во всех помещениях Зимнего дворца заряженные ружья. Иногда, охваченная непреодолимым желанием убийства, Анна Иоанновна распахивала окно, вскидывала на плечо оружие и подстреливала птицу на лету. В покоях императрицы всегда гремели выстрелы и невыносимо пахло порохом, но этого ей было мало: она призывала своих перепуганных фрейлин и обязывала их следовать своему примеру, угрожая выставить за дверь в случае неповиновения. Всегда жадная до развлечений, царица кичилась тем, что у нее столько же лошадей, сколько дней в году. Каждое утро она обходила дворцовые конюшни и псарни, с удовлетворением скупца пересчитывая свои сокровища. Ничуть не меньше она любила забавляться с гудящими голландскими волчками, и при посредничестве российского посланника в Амстердаме покупала там тюками специальную нить для закручивания этих волчков. Впрочем, точно так же увлекалась Анна Иоанновна шелковыми тканями и безвкусными безделушками и украшениями, которые заказывала во Франции. Для нее равно бесценными были вещи, услаждавшие душу и щекочущие нервы. Зато она не проявляла ни малейшей склонности повысить уровень своего образования, читая книги или слушая речи людей, слывущих учеными. Прожорливая и ленивая императрица полностью отдавалась на волю инстинктов и использовала каждую свободную минуту для того, чтобы прилечь вздремнуть. Отоспавшись, она приглашала Бирона, небрежно подписывала принесенные им бумаги и, исполнив таким образом свой императорский долг, открывала дверь смежной комнаты, где сидели за вышиванием ее фрейлины, и весело восклицала:

– Ну, девки, пойте!

Девушки покорно затягивали хором какую-нибудь песню, а она слушала, покачивая головой и разинув в улыбке рот. Это продолжалось до тех пор, пока у несчастных певиц оставались хоть какие-то признаки голосов. Если одна из них, утомившись, начинала петь тише или фальшивить, Анна Иоанновна собственноручно награждала провинившуюся увесистой пощечиной. У изголовья своей постели императрица часто усаживала рассказчиц, знающих множество всяких сказок, в их обязанность входило развлекать государыню немыслимыми, совершенно невероятными историями, всегда одними и теми же. Это напоминало царице ее детство. Иногда призывался монах, искусный в толковании православных истин. Еще одной манией, которую Анна Иоанновна, желая себе польстить, называла унаследованной от Петра Великого, была страсть к гротескным представлениям и природным уродствам. Ничье общество так не веселило ее, как общество шутов и карликов, и чем они были страшнее на вид, чем глупее, тем охотнее она аплодировала их шуткам и гримасам. Прожив девятнадцать лет в провинциальной среде – ничем не примечательной и унылой, она испытывала теперь неистребимое желание стряхнуть оковы благопристойности и навязать двору беспрецедентные роскошь и распутство. Не было такой вещи, такой выдумки, которая казалась бы этой русской самодержице чересчур смелой или чересчур дорогой, если речь шла об удовлетворении ее прихоти. А Россия, которой ей по чистой случайности довелось управлять, по сути не была ее родиной, и ни малейшей потребности в том, чтобы сблизиться с этой страной, она не испытывала. Конечно, рядом с императрицей всегда находилось несколько исконно русских людей из наиболее ей преданных – таких, как старый Гавриил Головкин, князья Трубецкой и Иван Барятинский, Павел Ягужинский, этот вечный «порох» – он был невероятно вспыльчив, не менее импульсивный Алексей Черкасский, которого она назначила государственным канцлером.

Но бразды правления были в руках немцев. Целая команда пришельцев германского происхождения руководила политикой империи по приказам чудовищного Бирона.

После того как власть была передана Анне Иоанновне и ее фавориту, представители старых боярских родов, каждый из которых так гордился своим генеалогическим древом, были изгнаны со сцены. Как в гражданских делах, так и в военных теперь важными шишками стали братья Лёвенвольде, барон Герман фон Бреверн, генералы Рудольф фон Бисмарк и Христофор-Генрих фон Манштейн, фельдмаршал Бурхард фон Миних. В сокращенном до четырех человек Кабинете,

заменившем Верховный тайный совет, Остерман, несмотря на свое неоднозначное поведение в прошлом, по-прежнему исполнял обязанности премьер-министра, но на самом деле председательствовал на любых совещаниях, вел любые дискуссии и навязывал в них свои окончательные решения только фаворит императрицы Эрнст-Иоганн Бирон.

Не знавший, что такое чувство жалости, никогда не колебавшийся в случае, если приходилось бросить смутьяна или просто неудобного ему человека в застенок, сослать в Сибирь или отдать в руки палача, чтобы тот примерно наказал его кнутом, Бирон не нуждался даже в том, чтобы посоветоваться с Анной Иоанновной о том, какую меру наказания применить, потому что знал заранее: она согласится со всем, что бы он ни предложил. Было ли это следствием того, что императрица разделяла мнение любовника по всем вопросам, или того, что она была слишком ленива, чтобы противостоять ему? Приближенные Бирона единодушны в описании его внешности: застывшая маска лица, словно бы высеченного из камня, взгляд хищной птицы… Одно-единственное его слово могло сделать всю Россию счастливой или, напротив, повергнуть страну в отчаяние. Любовница была для него всего лишь «печатью», необходимой для того, чтобы какой-то документ считался подписанным и потому официально принятым. Поскольку Бирон, так же, как и императрица, был помешан на роскоши и блеске, он использовал свое просто-таки королевское положение, чтобы брать взятки по всякому поводу. Каждая, даже самая мелкая его услуга имела свою твердую цену, и каждая исправно оплачивалась. Современники Бирона отмечали, что в жадности и корыстолюбии он превосходил даже Меншикова. Но самой большой его виной перед государством считалось не это: предыдущие царствования приучили Россию ко взяточничеству и казнокрадству властей. Нет, тем, что с каждым днем все больше волновало и раздражало людей, было беспримерное «онемечивание» их Родины, предпринятое Бироном. Конечно, Анна Иоанновна всегда говорила и писала по-немецки лучше, чем по-русски, но с тех пор, как Бирон занял высшую ступеньку в иерархии, казалось, будто сменили национальность и душу все официальные представители страны. Если бы все преступления, превышения прав, кражи, акты насилия, которые были совершены этим наглым выскочкой, были совершены русским по происхождению человеком, подданные Ее Величества легче бы перенесли такое. Всего лишь то обстоятельство, что злоупотребления вдохновлены или осуществлены этим иностранцем с резким немецким акцентом, делало их вдвойне гнусными в глазах тех, кто становился

жертвой этих злоупотреблений. Измученные и доведенные до исступления всем, что делал этот тиран, который не был даже одним из «своих», русские люди изобрели для режима террора, навязанного им иноземцем, специальное слово: «бироновщина». За спиной фаворита императрицы о бироновщине говорили как об эпидемии смертельной болезни, поразившей страну. Подтвердить справедливость этого определения может явная противозаконность действий, касавшихся сведения счетов с неугодными, список которых приведен ниже.

Князь Иван Долгорукий за то, что осмелился оказывать сопротивление царице и ее фавориту, был колесован, два его дяди, Сергей и Иван, обезглавлены, еще один член большой семьи Долгоруких – Василий Лукич, бывший член Верховного тайного совета, разделил их участь, а Екатерину Долгорукую, невесту Петра II, заточили в монастырь.

Устраняя бывших соперников и тех, кто мог бы еще покуситься на его власть, Бирон старался одновременно и собрать для себя лично побольше титулов, которые должны были – наряду с увеличением богатств – придать ему больший вес. После смерти последнего из династии Кетлеров герцога Курляндского Фердинанда, 23 апреля 1737 года, он посылает генерала Бисмарка[35] во главе нескольких русских полков в Митаву, чтобы «приструнить» курляндское дворянство и побудить его выбрать не кого-то из любых других кандидатов в замену, а именно его, Эрнста Иоганна Бирона. И, несмотря на протесты Тевтонского ордена, добивается своего: становится, как и хотел, герцогом Курляндским и Семигальским. А дальше – управляет этой российской провинцией из Санкт-Петербурга, на расстоянии. Кроме того, он получил от немецкого императора Карла VI титул графа Священной Империи, был награжден орденами Святого Александра Невского и Святого Апостола Андрея Первозванного. Не было ни такого звания, ни таких княжеских «чаевых», на какие он бы ни позарился. Кто бы в России ни возмечтал о чем-то, добиться этого он мог, только снискав милости или хотя бы просто разрешения у Бирона. Любой придворный почитал за честь и великое счастье быть принятым утром в спальне императрицы. Переступив порог, посетитель сразу же видел Ее Величество в ночной сорочке, а рядом – в таком же неглиже – ее фаворита. По протоколу полагалось, чтобы допущенный на прием – будь он даже самым великим маршалом или самым знатным придворным – поцеловал руку императрицы, протянутую ему поверх одеяла. Чтобы обеспечить себе благоволение фаворита, некоторые использовали представившийся случай и целовали руку и ему, причем с ничуть не меньшим почтением. Нередко

также просители простирали свою любезность даже до того, что целовали заодно и голую ногу Ее Величества. К. Валишевский, исследовавший и описавший многие века русской истории, пишет об этом так: «Если верить Маньяну,[36] его японский и берлинский коллеги были еще любезнее, целуя руки фаворита и выпивая за его здоровье, стоя на коленях». Вокруг императорских покоев ходили слухи, что некий Алексей Милютин, простой истопник, заходя каждое утро в спальню Анны Иоанновны, заставлял себя благоговейно коснуться губами ноги царицы, после чего проделывал то же самое с ногой ее любовника, лежавшего тут же.

Вознаграждая истопника за подобную ежедневно проявляемую почтительность, ему присвоили дворянское звание. Однако, чтобы он не подумал скрывать следов своего скромного происхождения, Милютина обязали использовать в гербе изображение одной из частей русской печи – она представляет собой нечто вроде пластинки, прикрывающей дымоход, и называется «вьюшка».

По воскресеньям шести самым любимым Анной Иоанновной шутам и шутихам приказывалось выстраиваться в шеренгу в большом зале дворца в ожидании выхода молящихся с церковной службы, на которую собирались все придворные. Когда императрица и ее свита проходили перед шутами по возвращении из церкви, шуты, присев бок о бок на корточки, принимались изображать несущихся кур, испуская напоминающие кудахтанье смешные звуки. Чтобы зрелище было еще более забавным и пикантным, им повелевалось разрисовать себе физиономии углем и всякий раз заводить драки, истово – до крови – царапая друг друга. Глядя на их ужимки и прыжки, на их кривлянье, подстрекательница этих игр и ее верноподданные помирали со смеху. Шуты Ее Величества пользовались такими большими материальными преимуществами по сравнению с другими придворными, что как было не искать этой должности? И искали – причем потомки знатных фамилий. Такие родовитые дворяне, как Алексей Петрович Апраксин, Никита Федорович Волконский и даже Михаил Александрович Голицын, без всяких колебаний пошли в шуты.

Задавал тон всем безумствам профессиональный шут Балакирев, но, когда он запаздывал с остротами или уставал от шутовства, императрица приказывала бить его палками для того, чтобы оживить вдохновение. Среди шутов числились еще Пьер Мира Педрилло, прибывший в Петербург в качестве комического певца и первой скрипки итальянской оперы, но, поссорившись с капельмейстером, пришедший искать себе место среди шутов.

Особенно славился он тем, что уморительно изображал повадки обезьяны. Португальский еврей-полиглот Д'Акоста подбадривал своих товарищей ударами хлыста. Дрянной поэтишка Тредиаковский, сочинив наполовину эротический, наполовину бурлескный стишок, был приглашен прочесть свое произведение Ее Величеству. Он так рассказывал об этом свидетельстве его литературного признания: «Я имел счастье читать свои стихи Ее императорскому Величеству, а после чтения был удостоен из ряда вон выходящей милости получить прелестнейшую оплеуху от собственной руки Ее императорского Величества».[37]

Однако звездами комической труппы, которая окружала Балакирева, были не просто люди, а карлики, карлицы и калеки обоих полов, чьи физические недостатки подчеркивались прозвищами: Горбушка (для горбуньи) или Безножка (безногая женщина).[38] Тяга царицы к физическому уродству и умственной отсталости была для нее, как она говорила, проявлением интереса к тайнам природы. Точно так же, как ее старший родственник Петр Великий, Анна Иоанновна утверждала, будто изучение пороков развития человеческого существа, родившегося или ставшего уродом, помогает понять устройство и способ действия существа нормального, иными словами, окружать себя монстрами означает для нее способ служить науке, причем этот способ ничуть не хуже любого другого. Кроме того, по мнению императрицы, глядя на представления уродцев, которым так не повезло в жизни, каждый укрепится в желании сохранить хорошее здоровье.

Среди экспонатов своеобразной живой кунсткамеры, которой так гордилась Анна Иоанновна, была одна старая малорослая, тщедушная и скрюченная калмычка, чье чудовищное уродство пугало даже священников, зато императрица испытывала к ней самую нежную любовь, потому что ей не было равных в умении строить рожи. То, что эта калмычка выделывала со своим лицом, казалось царице уморительным. Так вот, однажды эта калмычка забавы ради воскликнула, что хочет замуж. Это чрезвычайно вдохновило царицу, которая увидела в замужестве уродки возможность устроить фарс, какого еще не бывало. В небольшой шутовской придворной труппе, где всякий был специалистом по обезьянничанью и грубоватым шуткам, некоторые «артисты» вовсе не были калеками или уродами. В частности – представитель старого дворянского рода Михаил Алексеевич Голицын, уже несколько лет вдовевший. Его положение «императорского шута» было, по существу, синекурой. И вдруг ему говорят, что Ее Величество нашла ему новую жену и что императрица, с ее несравненной добротой, сама берется не

только устроить свадьбу, но и принимает на себя все расходы, связанные с бракосочетанием. Надо сказать, что императрица была известна как неутомимая «сваха», а о том, чтобы задавать какие бы то ни было вопросы, даже и речи быть не могло. Тем не менее приготовления к грядущей свадьбе на этот раз показались всем по меньшей мере необычными.

По приказу царицы министр Кабинета Артемий Волынский велел спешно построить на берегу Невы, между Зимним дворцом и Адмиралтейством, просторный дом из ледяных блоков, которые скрепляли один с другим, поливая их горячей водой.

Длина строения составляла двадцать метров, ширина семь метров, высота десять метров, венчать здание должна была галерея с колоннадой и статуями.

Крыльцо с балюстрадой вело в прихожую, за которой располагались покои, отведенные «новобрачным». Здесь была спальня с огромной белой кроватью, у которой все: занавеси, подушки, матрас – было сделано изо льда. Устроенная рядом туалетная комната, естественно, тоже ледяная, должна была свидетельствовать о том, как Ее Величество заботится об удобствах для своих подопечных. Чуть дальше находилась – столь же «полярного» вида – столовая, где поставили роскошно накрытый ледяной же стол с парадным сервизом и самыми разнообразными яствами, предназначенными для приглашенных на этот блестящий и справедливо вызывающий озноб праздник. Перед домом стояли ледяные пушки с ядрами из того же материала, ледяной слон, способный, по слухам, пускать струю студеной воды высотой в двадцать четыре фута, а также – две ледяные пирамиды, внутри которых, чтобы разогреть посетителей, показывались юмористические и до похабности непристойные картинки.

По распоряжению Ее Величества в Санкт-Петербург на свадьбу, назначенную на 6 февраля 1740 года, были свезены из разных уголков России представители всех народностей, обитающих в империи: азиаты, черемисы, самоеды, камчадалы, якуты, киргизы, калмыки, финны, одетые в традиционные национальные костюмы. После обряда венчания, совершенного, как положено, в церкви, все гости двинулись по улицам на глазах совершенно остолбеневшей и одуревшей толпы, сбежавшейся со всех концов города, заслышав о небывалом бесплатном зрелище. Некоторые участники маскарада ехали на лошадях неизвестной в Санкт-Петербурге породы, другие – на оленях, быках, собаках, козлах, иные красовались верхом на свиньях, и все это сопровождалось игрой на национальных музыкальных инструментах. Впереди этого шествия шел слон, на спине

которого была укреплена клетка с усаженными туда молодыми. Как пишет К. Валишевский, «под водительством Татищева поезд прошел перед царским дворцом, по главным улицам города и остановился в манеже герцога Курляндского, где был устроен обед из напитков и кушаний в соответствии с национальностью гостей. Тредиаковский прочел пьесу в стихах; перед императрицей и ее двором всевозможные пары исполнили свои народные танцы, затем с наступлением вечера вновь составленный поезд направился к Ледяному дому, горевшему огнями, окруженному пламенем».

Ее Величество сама пожелала уложить новобрачных в их ледяную постель, после чего с игривой улыбкой на устах удалилась. У всех выходов были тут же расставлены часовые, чтобы помешать голубкам, если они надумают до рассвета покинуть свое любовное и столь морозное гнездышко.

В ту ночь, ложась спать рядом с Бироном в своей тепло натопленной спальне, Анна Иоанновна еще больше оценила достоинства мягкой постели и пуховых одеял. Но подумала ли она о безобразной калмычке и послушном Голицыне, приговоренных, по ее капризу, играть эту чудовищную комедию, а может быть, и умереть от холода в своей прозрачной тюрьме? В любом случае, даже если смутные угрызения совести и затронули душу императрицы, она тут же и прогнала их, сказав себе, что сотворила всего-навсего невинный фарс, ну, совсем невинный по сравнению с любым из тех, какие может себе позволить самодержавная царица, помазанница Божия, наделенная неограниченными правами.

Однако каким-то чудом императорский шут и его безобразная подруга, как вспоминали некоторые из их современников, вышли из уготованного им испытания свадебным оледенением, отделавшись всего лишь довольно сильным насморком да синяками по телу. Судя по свидетельствам некоторых мемуаристов, при следующем царствовании[39] им даже удалось отбыть за границу, где калмычка умерла, произведя на свет двух сыновей, а что касается Михаила Голицына, нисколько не обескураженного своим матримониальным приключением в условиях российской стужи, то он снова женился и без особых забот дожил до весьма преклонных лет. И это позволило закоренелым монархистам утверждать, что в России в ту далекую эпоху даже самые худшие зверства, творимые во имя самодержавия, могли идти только на благо.

Несмотря на явное нежелание Анны Иоанновны заниматься государственными делами, Бирон был вынужден иногда привлекать ее к работе: в тех случаях, когда требовалось принять

особенно важное решение. Для наиболее надежной защиты от дрязг и мелких неприятностей, неотделимых от исполнения обязанностей властителей, Бирон предложил государыне создать Тайную канцелярию и поручить ей наблюдение за всеми подданными. Взятая на содержание государственной казной, целая армия шпионов рассредоточилась по территории всей России. Доносы летели со всех сторон, и слежка всех за всеми расцветала, словно омываемая живительной росой. Доносчики, которые хотели лично приникнуть к «государеву уху», имели возможность попасть в императорский дворец через потайную дверь, и их принимал в кабинете Тайной канцелярии сам Бирон. Врожденная ненависть к старой русской аристократии побуждала его верить на слово любому навету тех, кто заявлял о преступлениях кого-то из выдающихся представителей старинных родов. Чем более высокий пост занимал «виновный», тем большим наслаждением для фаворита было ускорить его падение. При Бироне редко пустовали камеры пыток, и не проходило недели, чтобы по его приказу кого-нибудь не сослали в Сибирь или в пожизненную ссылку в одну из отдаленных провинций. Служащие особого административного департамента, отвечавшего за ссылки (депортацию), были настолько завалены делами, что часто отправляли обвиняемых на край света, как говорится, «без суда и следствия», ибо не имели времени не только на подтверждение виновности, но даже и на установление личности подозреваемого. Чтобы предупредить всякое возмущение против такой слепой суровости судебных властей, Бирон создал новый гвардейский полк, названный Измайловским. Командование этим полком было поручено, конечно же, не русскому человеку (ох, как он опасался давать им высокие должности!), а балтийскому дворянину Карлу-Густаву Лёвенвольде, брату обер-шталмейстера двора Рейнгольда Лёвенвольде. Это элитное воинское подразделение, присоединившись к Семеновскому и Преображенскому полкам, должно было вместе с ними образовать вооруженные силы, призванные поддерживать порядок в государстве по части исполнения любых императорских указов. Инструкция была дана проще некуда: все, что вдруг *зашевелится* внутри страны, нужно немедленно лишить возможности *навредить*. Самая родовитая знать, уже в силу своего происхождения, выглядела с точки зрения бесчестных сборов Тайной канцелярии наиболее подозрительной. И упрекали представителей древних родов прежде всего в том, что ни по одной линии у них нет ни единого немецкого или балтийского предка.

Испытывающие в равной мере страх и возмущение подданные

Анны Иоанновны, разумеется, обвиняли во всех своих бедствиях Бирона, но – за спиной фаворита все-таки для них маячила и фигура императрицы. Самые смелые и дерзкие даже осмеливались говорить между собою о том, что женщина от природы не способна управлять империей, и даже – что русская нация проклята: проклятие, наложенное на женский пол, передалось всему народу, ибо он сам был повинен в неосторожности, доверив «бабе» свою судьбу. Даже ошибки во внешней политике империи придирчивые наблюдатели приписывали ей и Бирону, хотя главным ответчиком за них по праву должен был быть Остерман. Этот человек, не отличавшийся масштабом личности, зато отличавшийся непомерными амбициями, воображал себя гением в области дипломатии. Однако его инициативы в международных делах, обходясь весьма дорого, давали очень мало. Бывало и хуже: так, например, когда он, желая угодить Австрии, направил российские войска в Польшу, Франция, поддерживавшая Станислава Лещинского, просто вознегодовала. Затем, после коронации Августа III, он счел ловким маневром поклясться, что никогда не раздробит страну, но это никого не обмануло, потому Остерман и не заслужил ничьей признательности. Кроме того, рассчитывая на помощь Австрии – она же, как обычно, отошла в сторонку, – вступил в войну с Турцией, в которой, несмотря на ряд побед, одержанных Минихом, потери были столь велики, что Остерману пришлось пойти на то, чтобы подписать мирный договор. На конгрессе в Белграде в 1739 году он дошел до того, что настойчиво просил о посредничестве Францию, пытаясь подкупить посланника Версаля, но сумел, да и то с огромным трудом, добиться лишь самого ничтожного результата: поддержки прав России на Азов при условии не строить в городе крепостных укреплений и предоставления стране нескольких арпанов[40] степи между Днепром и Южным Бугом. В обмен Россия обещала разрушить таганрогские укрепления и отказаться от наличия своего как военного, так и торгового флота в Черном море: свободное плавание в этих водах отныне стало доступно лишь турецким кораблям. Единственным территориальным завоеванием за весь период царствования Анны Иоанновны оказалась аннексия Украины, которая теперь перешла под контроль Российской империи.

В то самое время, когда русские на международной арене слыли все более слабеющей и потерявшей всякие ориентиры нацией, внутри страны, то тут, то там, стали появляться совершенно нелепые претенденты на царский престол. Впрочем, этот феномен был отнюдь не нов для России. Со времен

Лжедмитриев, которые устремились к трону после смерти Ивана Грозного, мания чудесного воскрешения царевича превратилась просто-таки в хроническое местное заболевание, можно даже сказать, в национальную непреходящую хворь. Тем не менее связанные с нею волнения в обществе, сколь бы ни были они ничтожны и достойны лишь презрения, начинали раздражать Анну Иоанновну. Бирон умело провоцировал императрицу, и она уже видела тут все более явную угрозу своим законным правам на власть. Больше всего она опасалась того, что Елизавета Петровна познает на склоне лет новый прилив популярности в стране, главным образом потому, что она все-таки единственная оставшаяся в живых дочь Петра Великого. А вдруг в дворянской среде снова возникнут какие-то особенно веские аргументы – ведь чем-то подобным в давние времена чуть не провалили ее собственную коронацию? Кроме того, красота и природная грация соперницы были для императрицы невыносимы. Нет, недостаточно того, что *царевна* Елизавета удалена от дворца в надежде, что при дворе, как всегда бывало, забудут о существовании этой помехи тому, чтобы все плясали под ее, Анны Иоанновны, дудку! Чтобы предупредить всякую попытку перехода власти к другой линии, в 1731 году императрица надумала даже, будто можно авторитарным путем изменить семейное право дома Романовых. Поскольку у нее не было детей, а она сильно тревожилась о будущем монархии, Анна Иоанновна решила удочерить свою юную племянницу, единственную дочь старшей сестры Екатерины Ивановны и герцога Мекленбургского Карла-Леопольда. Скорее, скорее! И вот уже маленькую принцессу везут в Россию. Девочке в тот момент, когда ее взяла в приемные дочери императрица, было всего тринадцать лет. Лютеранку от роду, ее, снова окрестив, быстренько сделали православной, заменили данное отцом и матерью тройное имя «Елизавета-Екатерина-Христина» на «Анна Леопольдовна», и она стала, постоянно находясь рядом с теткой, вторым лицом в империи. Тогда это была белесая и бесцветная девочка-подросток с тусклым взглядом, но достаточно умная для того, чтобы поддерживать разговор, если только тема его была не слишком серьезной. Когда же она подросла, и ей сравнялось девятнадцать, царица, умевшая точно судить о моральных и физических достоинствах женщин, объявила, что Анна Леопольдовна вполне созрела для замужества. И заторопилась найти ей жениха.

Естественно, прежде всего Анна Иоанновна обратила взор к родине своего сердца – Германии, ведь только в этой стране дисциплины и добродетели возможно найти супруга или супругу, достойных царствования в варварской Московии. Получив

задание найти самую что ни на есть редкую птицу среди вольера, где содержались отменные петухи, обер-шталмейстер Карл-Густав Лёвенвольде отправился в инспекционную поездку по германским дворам и по возвращении рекомендовал Ее Величеству двух кандидатов на руку и сердце племянницы: маркграфа Карла Прусского и принца Антона-Ульриха Бевернского из Брауншвейгского дома, зятя наследного принца Пруссии. Лично ему больше нравилась вторая кандидатура, зато Остерман, признанный специалист по международным делам, оказывал предпочтение первой. Анна Иоанновна принялась взвешивать все «за» и «против», все преимущества и все недостатки претендентов, совершенно не заботясь об интересах племянницы, которую, в общем-то, не грех было и спросить, кого она желает, ведь девушке к тому времени исполнилось уже двадцать лет.

На самом деле, занимаясь всеми этими политико-матримониальными махинациями, императрица преследовала одну-единственную цель: добиться, чтобы племянница поскорее произвела на свет ребенка, который стал бы наследником престола и тем самым положил бы конец любым попыткам этот престол захватить. Но кого же выбрать – маркграфа Карла Прусского или принца Антона-Ульриха, кто из них двоих способен быстро обрюхатить кроткую Анну Леопольдовну? С большими сомнениями пригласили предстать перед очами Ее Величества Антона-Ульриха, и императрице достаточно было беглого взгляда, чтобы оценить его по достоинству: славный, вежливый и апатичный юноша, настоящая размазня. Конечно, совсем не то, что надо племяннице, да и стране, но всеведущий Бирон уже изо всех сил превозносил «товар».

Впрочем, и время работало против предполагавшегося брака: девушка уже достаточно созрела, и сердце ее было не совсем свободно. Сначала она влюбилась в саксонского посланника в Санкт-Петербурге красивого графа Карла-Морица де Линара, но, к счастью, король Саксонии отозвал дипломата и назначил его на другой пост. Отчаявшаяся было Анна Леопольдовна, однако, быстро нашла новый объект для страстной любви, на этот раз – женщину, баронессу Юлию Менгден. Вскоре они стали неразлучны. Об этом судачили при дворе и в посольствах. «По сравнению с этим страсть мужчины к новой любовнице – просто баловство», – заметил английский министр Эдвард Финч.[41] Зато куда более скептичный прусский министр Аксель де Мардефельд опровергнет толки, ходившие между его товарищами по дипломатическому корпусу, написав своему королю по-французски: «Я не удивляюсь, что публика, не зная причины сверхъестественной привязанности великой княгини к Юлии,

обвиняет эту девушку в пристрастии к вкусам знаменитой Сафо; но я не могу простить маркизу Ботта, облагодетельствованному великой княгиней, что он приписывает склонность этой принцессы к Юлии тому, что последняя женоложица со всеми необходимыми для того качествами… Это черная клевета, так как покойная императрица, из-за таких обвинений, повелела тщательно освидетельствовать эту девушку, и исполнившая это комиссия доносила, что нашла ее настоящей девушкой, без малейших мужских признаков».[42]

Видя серьезную опасность в таком отклонении от обычных любовных дел, Анна Иоанновна решила: хватит колебаний. Лучше неудачный муж, чем затянувшееся ожидание. А что там таится в глубине души девственницы – на это Ее Величеству можно и наплевать. Тем более что малышка, которая в детстве так очаровывала всех своей миловидностью и простодушием, за несколько лет набрала вес, стала неуклюжей, неповоротливой, требовательной и упрямой, как ослица. Сплошное разочарование! И вообще, ведь на самом деле императрица удочерила племянницу вовсе не для того, чтобы устроить ее счастье, а – сто раз было говорено! – для того, чтобы бесповоротно покончить с притязаниями на престол *царевны* Елизаветы Петровны, к которой она теперь пылала ненавистью. А Анна Леопольдовна не имела в ее глазах никакой иной ценности, кроме как в качестве подставного лица, крайнего средства, к которому только и можно было прибегнуть, короче и яснее: живота, в котором надо выносить наследника. Ну и пусть довольствуется в таком случае этим Антоном-Ульрихом, лучше уж такой супруг, чем никакого! Да и он слишком хорош для такой ветреницы!..

Несмотря на обильные слезы, проливаемые невестой, 14 июля 1739 года состоялась свадьба. Пышность празднества, устроенного после официальной церемонии бракосочетания, ослепила даже видавших виды дипломатов. Новобрачную нарядили в роскошное подвенечное платье, шитое серебром. Темные волосы, заплетенные в длинные, тяжелые косы, украсила бриллиантовая диадема, сверкавшая тысячами огней. Но все-таки героиней торжества была не она. Анна Леопольдовна в своем наряде из волшебной сказки выглядела словно дитя, заблудившееся в толпе людей, среди которых ей нечего было делать. На фоне радостных, сияющих лиц ее – выражавшее лишь покорность судьбе и печаль – выделялось особенно резко. А той, кто поразила всех своей красотой, ослепительной улыбкой и уверенностью в себе, была *царевна* Елизавета Петровна, которую пришлось-таки, поскольку этого требовал придворный протокол, заблаговременно вытащить из более или менее добровольной

измайловской ссылки. Она была одета в розовое, цвета утренней зари, платье с глубоким декольте, тоже шитое серебром, и усыпана драгоценностями, полученными в наследство от матери, покойной императрицы Екатерины I. Казалось, будто именно Елизавета, а вовсе не новобрачная, переживает сегодня самый сладостный день своей жизни. Даже Антон-Ульрих, молодой супруг, столь низко оцененный Анной Леопольдовной, глаз не сводил с *царевны*, что, естественно, заметили все многочисленные приглашенные на свадьбу, для которых свадебная церемония должна была стать подтверждением полного разгрома соперницы. Вынужденная наблюдать – час за часом – триумф Елизаветы Петровны, царица еще больше возненавидела эту тварь, которую уже считала раз и навсегда побежденной, но которая постоянно исхитрялась выйти сухой из воды.[43]

Что же до Анны Леопольдовны, то она испытывала страшные муки, чувствуя себя марионеткой в руках тетки – умелого кукловода. А сильнее всего ее терзало ожидание уготованного ей испытания в постели, когда огни праздника угаснут и танцоры, наплясавшись, разъедутся по домам. Искупительная жертва – вот что от нее требовалось. Она знала, что среди всех тех, кто столь успешно притворяется, будто рад за нее, рад ее удаче, никому нет дела не только до ее любви, но даже до простого удовольствия. И она здесь не для того, чтобы стать счастливой, а для того, чтобы ее оплодотворили.

Когда наступил момент, которого Анна Леопольдовна больше всего страшилась, самые знатные дамы и супруги самых именитых иностранных дипломатов, представленных при дворе, собрались в процессию, которая должна была проводить ее в супружескую опочивальню и потом присутствовать при традиционной церемонии «укладывания новобрачной в постель». Церемония эта не в точности совпадала с той, какую Анна Иоанновна придумала для шутовской свадьбы, когда молодых, уложив на ледяное ложе под ледяные одеяла, заставили дрожать до рассвета от стужи в ледяном доме. Но для молодой женщины эффект был примерно тем же: царица насильно выдала ее замуж, и теперь Анну Леопольдовну сотрясала такая же дрожь, как тех бедняг, но не от холода, а от страха, от мыслей о печальной судьбе, уготованной ей рядом с человеком, которого она нисколечко не любит. Когда дамы из свиты, наконец, удалились, новобрачная впала в настоящую панику и, обманув бдительных камеристок, сбежала в сад, окружавший Летний дворец. Там она, плача и стеная, провела свою первую брачную ночь.

Царице и Бирону, конечно же, доложили о таком скандальном событии, они вызвали к себе несчастную и,

перемешивая упреки с увещеваниями и угрозами, потребовали, чтобы дальше она повиновалась любому слову и без всяких выходок. Находившиеся в смежной комнате придворные дамы наблюдали за происходящим через неплотно прикрытую дверь. В самом разгаре спора они увидели, как императрица, багровая от гнева, изо всех сил хлещет строптивую племянницу по щекам.

Урок оказался плодотворным во всех смыслах: годом позже, 23 августа 1740 года, Анна Леопольдовна родила сына. Его немедленно окрестили, наречен был мальчик Иоанном. Страдавшая к тому времени уже несколько месяцев какой-то непонятной болезнью, причину которой лекари точно установить не могли, царица, услышав «великую новость», внезапно ожила. Сияя от радости, она потребовала, чтобы вся Россия ликовала в связи с рождением этого ниспосланного Небом младенца. Привыкшие, с одной стороны, к тому, что велениям императрицы следует беспрекословно повиноваться, а с другой – к постоянному притворству, подданные неустанно благословляли дитя, рассыпаясь в добрых пожеланиях. Но находившиеся среди них умные люди задавались вопросом: а по какому же праву станет править Россией этот отпрыск Брауншвейгской фамилии, ребенок чисто немецких кровей? Действительно, новорожденный Иоанн Антонович был по отцу из Бевернской ветви Брауншвейгского дома, а по матери – из мекленбургско-штеттинского рода. С династией Романовых его связывала только двоюродная бабка, Екатерина I, супруга Петра Великого, но ведь и она сама была не русского, а польско-ливонского происхождения… Так с какой стати этот мальчик с колыбели (какое там – еще до рождения!) возведен в ранг истинного наследника короны Российской империи? По какому закону, с оглядкой на какую национальную традицию царица Анна Иоанновна присваивает власть назначать себе преемника на престоле? Как получилось, что рядом с императрицей не оказалось сведущего и почтительного в отношении истории России советника, способного удержать Анну Иоанновну от такой святотатственной инициативы? Однако, в полном соответствии с тем, как это происходило обычно, обличительные комментарии затихли, резко оборванные крутыми решениями Бирона, который, пусть и был немцем, утверждал, что ему лучше известны потребности России. Разумеется, кому же, как не ему, знать, что годится, а что нет для этой империи! Совсем еще недавно он смутно грезил о женитьбе собственного сына Петра на Анне Леопольдовне, но мечта не осуществилась из-за брака великой княгини с Антоном-Ульрихом, и когда этот проект провалился, фаворит озаботился тем, чтобы сохранить свое высокое положение во главе государства иным манером. И

ему казалось тем более срочным делом продвинуть свои пешки в ферзи, что болезнь Ее Величества с каждым днем становилась все тяжелее. Врачи опасались, что задеты почки, а заболевание почек, в свою очередь, осложнено «критическим возрастом», поговаривали о «каменной болезни».

Несмотря на переносимые царицей тяжкие страдания, сознание ее временами оказывалось достаточно ясным. Бирон воспользовался одним из таких моментов, чтобы испросить последнюю милость: назначить его регентом империи, пока не достигнет совершеннолетия ребенок, которого только что специальным манифестом провозгласили наследником престола. Но едва он успел заявить о своих притязаниях, другие советники умирающей императрицы пришли в негодование и вознамерились помешать осуществлению этих планов. К Лёвенвольде, Остерману и Миниху в попытке заговора присоединились вскоре Черкасский и Бестужев. Тайные совещания длились часами, и в конце концов заговорщики пришли к выводу о том, что… вовсе не их соотечественник Бирон воплощает в себе самую страшную опасность, а клика русских аристократов, которые по-прежнему не желают держаться от трона в стороне, более того, не прекращают попыток перехватить власть и отдать ее кому-то из «своих». Если разобраться по существу, решили они, перед лицом бедствия, каким мог бы стать захват власти одним из приверженцев старой российской знати, для немецкого клана предпочтительнее поддержать предложение милого их сердцам старого друга и сообщника Бирона. И, в общем-то, не так уж много времени понадобилось пятерым «доверенным лицам» Анны Иоанновны, трое из которых были немцами по происхождению, а двое связаны с иностранными дворами, на решение вверить судьбу огромной империи человеку, который всегда проявлял полное безразличие к национальным традициям и не потрудился даже выучить язык страны, властителем которой вознамерился стать. Приняв это решение, заговорщики довели его до сведения Бирона – впрочем, у него и не было никаких сомнений в исходе споров. Теперь вроде бы все пришли к согласию, и оставалось только убедить императрицу. Она уже не поднималась с постели и из последних сил боролась за жизнь, измученная чередующимися приступами боли и горячки с бредом. И не понять, услышала ли она Бирона, когда тот попытался объяснить, что всего-то от нее и требуется – поставить подпись под уже заготовленным документом. Поскольку Анна Иоанновна была слишком утомлена, чтобы ответить сразу, фаворит сунул бумагу ей под подушку. Удивленная его поступком, она еле слышно выдохнула: «Тебе это нужно?» Потом

отвернулась и больше говорить не стала.

Несколько дней спустя Бестужевым было составлено новое прошение – теперь от имени Сената и генералитета, которые умоляли Ее Величество доверить регентство Бирону, ибо он наверняка обеспечит империи мир и покой «при любых обстоятельствах». И снова больная оставила документ под подушкой, не только не прочитав и не подписав, но не удостоив даже взглядом. Бирон и «его люди» были потрясены, подавлены таким безразличием, которое могло быть для них решающим. А вдруг на этом все и кончится? Неужели снова нужно ставить под завещанием фальшивую подпись, чтобы выбраться из затруднительного положения? Январский, 1730 года, опыт, полученный, когда скончался Петр II, вовсе не казался им убедительным: дворянство столь недоброжелательно, что было бы опасным повторять одну и ту же игру при каждой смене правителя.

Но внезапно ситуация изменилась: 16 октября 1740 года императрице стало лучше, она позвала к себе старого фаворита и дрожащей рукой протянула ему подписанную бумагу. Бирон вздохнул с облегчением, а вместе с ним – все те из их маленькой компании, кто способствовал этой победе, свершившейся в последний момент. Приверженцы нового регента надеялись, что он, не откладывая дела в долгий ящик, отблагодарит их за помощь, которую они – кто искренне, а кто и нет – ему оказывали. Пока Ее Величество умирала, каждый из них, подсчитывая, сколько ей еще осталось, одновременно прикидывал и будущие свои прибыли. А Анна Иоанновна уже попросила пригласить священника. Он отпустил грехи умирающей. Успокоенная исповедью, она обвела комнату печальным затуманенным взглядом, узнала среди обступивших ее придворных высокую фигуру Миниха, улыбнулась ему, словно прося защиты и покровительства для того, кто однажды заменит ее на престоле, и прошептала: «Прощай, фельдмаршал!» Чуть позже сказала: «Прощайте, все!» – и это были ее последние слова.

28 октября 1740 года Анна Иоанновна потеряла сознание и уже больше не приходила в себя.

Узнав о ее смерти, Россия пробудилась от кошмара, но, как считали близкие ко двору люди, лишь для того, чтобы погрузиться в другой кошмар, куда более черный. По единодушному мнению, с девятимесячным царем, еще в пеленках и свивальниках, и регентом-немцем, который неохотно объясняется по-русски и чья главная забота – уничтожение самых благородных семейств страны, империи грозила неминуемая катастрофа.

На следующий день после кончины Анны Иоанновны, благодаря милости покойной императрицы, Бирон стал регентом.

Ребенок для него был живым символом и гарантией его прав. Но, как считал новоявленный регент, первым делом следовало отправить куда-нибудь, желательно подальше, мать и отца маленького Ивана – Анну Леопольдовну и Антона-Ульриха.

Если держать их на порядочном расстоянии от столицы (а почему бы и не за границей?), думал Бирон, руки у него будут развязаны вплоть до совершеннолетия императора-младенца. Изучив новую политическую ситуацию в России, барон Аксель де Мардефельд, прусский министр в Санкт-Петербурге, в депеше, отправленной им своему государю Фридриху II, так выразил свое мнение о будущем государства: «Семнадцать лет деспотизма и девятимесячный ребенок, который может умереть кстати, чтобы уступить престол регенту!»[44]

Письмо Мардефельда было написано 29 октября, на следующий день после кончины царицы. Не прошло и недели, и события стали развиваться в направлении, которого дипломат не предвидел. Хотя будущего царя Иоанна VI, еще не вышедшего из колыбельки, перевезли в Зимний дворец весьма торжественно: «Шествие открывал эскадрон гвардии; за ним регент шел пешком впереди кресла, на котором несли кормилицу с ребенком на руках. Царевна-мать ехала в парадной карете с Юлией Менгден, фрейлиной, сделавшейся скоро ее фавориткой», – хотя все придворные должны были принести присягу новому государю, но при этом почести отдавались в основном регенту, хотя самому Мардефельду пришлось написать: «Все русские отправились в Зимний дворец и поздравляли регента, целуя у него руку или полу мантии. Он заливался слезами и не мог произнести ни слова… Спокойствие полное: так сказать, ни одна кошка не шелохнется»,[45] а новый английский министр в Санкт-Петербурге Эдвард Финч объявил, что смена караула в Гайд-парке возбуждает больше шума, чем эта перемена правительства, – несмотря на все это, враги Бирона отнюдь не сложили оружия. Фельдмаршал Миних известил Анну Леопольдовну и Антона-Ульриха о ловких интригах Бирона, нацеленных на то, чтобы окончательно оттеснить их от престола и править самовластно.

Он говорил, что, хотя и был связан с регентом в совсем недавнем прошлом, сейчас – так подсказывает ему совесть! – чувствует себя обязанным помешать тому действовать в ущерб законным правам царской семьи. По словам фельдмаршала, бывший фаворит новопреставленной императрицы рассчитывал преуспеть в организации государственного переворота, опираясь на Измайловский полк и конную гвардию: первым командовал его

брат Густав, второй – его сын. Однако Преображенский полк весь целиком предан ему, фельдмаршалу, и это отборное войско позволит в нужный момент обрушиться на честолюбца Бирона. «Если бы Вашему Высочеству было угодно, я бы мигом избавил ее от этого зловредного человека».

Но Анна Леопольдовна не была авантюристкой по природе. Сама мысль о том, что придется атаковать такого могущественного, хитрого и изворотливого человека, как Бирон, ее пугала, и поначалу она решила остаться в стороне. Однако, посоветовавшись с мужем, передумала и осмелилась, дрожа с ног до головы, пойти ва-банк. В ночь с 8 на 9 ноября 1740 года сотня гренадеров и три офицера Преображенского полка, посланные Минихом, ворвались в комнату, где спал Бирон, вытащили его из постели, несмотря на его призывы на помощь, избили ружейными прикладами, вынесли в полуобморочном состоянии на улицу и бросили в крытую повозку. На рассвете Бирона привезли в Шлиссельбургскую крепость на Ладожском озере, где принялись бить кнутом. Поскольку для того, чтобы заключение регента было законным, требовалась обстоятельно изложенная жалоба, его обвинили в том, что он ускорил кончину императрицы Анны Иоанновны, заставляя ее ездить верхом в плохую погоду. Это и другие вменяемые Бирону государственные преступления позволили приговорить его 8 апреля 1741 года к смертной казни через четвертование. Впрочем, почти сразу же смертная казнь была заменена пожизненной ссылкой в глухое сибирское село Пелым, находившееся в трех тысячах верст от Санкт-Петербурга. И тут же враги Бирона провозгласили регентшей Анну Леопольдовну. А она, чтобы отметить счастливое окончание эпохи интриг, узурпаторства и предательств, первым делом отменила приказ прежнего регента о запрете солдатам и унтер-офицерам посещать кабаки. Первая либеральная «реформа» вызвала ликование в армии, крепкие напитки полились рекой. Всем хотелось видеть в этом признак грядущего послабления во всем, признак милосердия Анны Леопольдовны по отношению к своему народу. Везде звучали здравицы в честь новоиспеченной регентши, а рикошетом – и в честь человека, приведшего ее к власти. И только политически неблагонадежные лица отмечали, что после царствования Бирона наступило царствование Миниха: один немец прогнал другого, даже не подумав о московских традициях.[46] Сколько же еще времени Российская империя будет искать себе государей за границей? И почему трон все время занимают особы женского пола? Разве нет для России другого выхода, чем отдать бразды правления императрице, за спиной которой стоит немец, нашептывая ей свою волю? Если

страна страдает, задыхаясь под юбками бабы, что сказать, зная: эта баба безгранично предана иноземцу? Самые большие пессимисты предрекали, что Россию будут преследовать бедствия и катастрофы до тех пор, пока настоящие мужчины и истинно русские люди не восстанут против влюбчивых правительниц и их германских фаворитов. Этим мрачным пророкам матриархат и порабощение казались двумя главными аспектами проклятия, обрушившегося на их родину после кончины Петра Великого.

VI. Одна Анна после другой

Анна Леопольдовна была совершенно ошеломлена внезапностью своего вступления во власть, но ее куда меньше радовала эта политическая победа, чем возвращение в Санкт-Петербург последнего любовника молодой женщины – того самого, которого покойная ныне царица ловко отправила восвояси, чтобы заставить племянницу выйти замуж за скучного и противного Антона-Ульриха. Едва наметился просвет в российских делах, граф де Линар был тут как тут, конечно же, готовый к самым что ни на есть волнующим приключениям. И стоило Анне его увидеть, она сразу же снова поддалась чарам неисчерпаемого обаяния прекрасного саксонца. Он ничуть не переменился за несколько месяцев отсутствия: в свои сорок выглядел самое большее на тридцать. Высокий, стройный, с гибким станом, яснолицый, глаза сверкают, одежда всегда нежных – небесно-голубого, абрикосового или сиреневого – тонов, поливает себя в изобилии французскими духами и пользуется специальными кремами, чтобы кожа рук оставалась мягкой…[47] Можно было сойти с ума, только взглянув на этого Адониса в расцвете лет, этого забывшего постареть Нарцисса! Скорее всего, Анна Леопольдовна распахнула ему объятия и пустила в свою постель сразу же по приезде. Вполне вероятно также, что Антон-Ульрих принял эту ситуацию, не поведя бровью, и не отказался делить жену с графом. При дворе тоже никто не удивился этому любовному треугольнику, потому что заранее было ясно: все именно так и произойдет. Кроме того, русские и иностранные наблюдатели отмечали, что вновь вспыхнувшая страсть регентши к Линару совершенно не исключала ее увлечения лучшей подругой – Юлией Менгден, и тут – все как было, так и осталось. Причем то, что Анна Леопольдовна была способна в равной мере оценить классические, так сказать, наслаждения, которые приносят женщине любовные отношения с мужчиной, и сомнительную сладость таких же отношений с партнершей своего пола, делает ей честь, утверждали вольнодумцы, – ведь подобное разнообразие вкусов свидетельствует как о широте ее взглядов, так и о щедрости ее темперамента.

Ленивая и мечтательная, Анна Леопольдовна проводила долгие часы в постели, вставала поздно, куда охотнее, чем в парадных помещениях, пребывала в своих покоях, не одеваясь и не причесываясь, читала романы, которые, впрочем, бросала не дочитав, по двадцать раз осеняла себя крестом перед многочисленными иконами – с истовостью новообращенной она

увешала ими все стены – и упорствовала в убеждении, что любовь и развлечения составляют единственный смысл жизни женщины ее возраста.

Подобные непринужденность и беззастенчивость более чем устраивали окружение Анны Леопольдовны, одинаково – и мужа, и министров двора. Все они принимали как должное регентшу, больше занятую тем, что происходит в ее спальне, чем устроением в ее государстве. Конечно, время от времени Антон-Ульрих вдруг принимался играть роль супруга, ущемленного в своем тщеславии самца, но приступы гнева у него оказывались столь неестественны и кратки, что жена только смеялась. По слухам, такие притворные семейные сцены даже подвигали ее на то, чтобы назло мужу вести еще более беспутную жизнь, если только это было возможно.

Тем не менее, как бы прилежно ни отдавал Линар свои любовные долги регентше, он не оставался безразличен к упрекам и внушениям маркиза де Ботта, австрийского посланника в Санкт-Петербурге. А по мнению этого дипломата, отменного специалиста как в сердечных делах, так и в дворцовых интригах, любовник Анны Леопольдовны совершенно напрасно афишировал адюльтер, способный вызвать неодобрение кое-каких лиц, занимающих высокие посты в России, да и его собственного, саксонского, правительства. Цинично и очень кстати Ботта предложил решение вопроса, которое удовлетворило бы всех. Поскольку Линар – вдовец, совершенно свободный и неотразимый физически, – отчего бы ему не попросить руки фаворитки Анны Леопольдовны Юлии Менгден? Удовлетворяя их обеих – одну законно, другую тайно, – он мог бы сделать двух женщин счастливыми, и при этом никто не упрекнул бы его в том, что-де красавчик вынуждает регентшу грешить. Линару предложение понравилось, более того – показалось соблазнительным, он обещал подумать, сильно опасаясь того, как примет известие о подобном обороте событий царственная любовница. Но совершенно неожиданно, когда он робко попросил совета, та обрадовалась и заявила, что не видит ничего предосудительного в таком прелестном «сплаве», Анна полагала даже, что, став супругой Линара, Юлия Менгден только укрепит тем самым любовный союз трех существ, которых Господь в своем тонком предвидении захотел видеть нераздельными. Все это придало Линару решимости принять предложение, поначалу показавшееся ему слишком уж дерзким.

Однако практическое осуществление столь удачно задуманной операции пришлось отложить, разрешив Линару съездить в Германию, где, как он говорил, ему нужно было

безотлагательно уладить кое-какие семейные дела. В действительности граф вез в своем багаже груду драгоценных камней, которые он собирался продать, чтобы иметь «военную казну» на случай, если регентша возмечтает сделаться императрицей. Пока длилась разлука, Анна Леопольдовна обменивалась с любовником зашифрованными письмами, в которых были и заверения во взаимной любви и попытки четко определить роль будущей графини де Линар в их терцете. Каждая строчка этих писем, перебеленных секретарем регентши, имеет второй, тайный смысл. Обозначим его здесь курсивом в скобках, чтобы понять истинный смысл одного из посланий: «Поздравляю вас с приездом в Лейпциг, но я буду довольна только, когда узнаю, что вы возвращаетесь… Что касается до Юлии, как вы можете сомневаться в ее *(моей)* любви и в ее *(моей)* нежности после всех доказательств, данных вам ею *(мной)*. Если вы ее *(меня)* любите и дорожите ее *(моим)* здоровьем, то не упрекайте ее *(меня)*… У нас будет 19-го или 20-го маскарад, но не знаю, буду ли я в состоянии *(без вас, мое сердце)* участвовать в нем; предчувствую также, что и Юлия не будет веселиться, так как и сердце и душа ее заняты иным. Песня хорошо выражается: „Не нахожу ничего похожего на вас, но все заставляет меня вспоминать о вас“. Назначьте время вашего возвращения и будьте уверены в моей благосклонности.

(Целую вас и остаюсь вся ваша.) Анна».

Разлученная с возлюбленным Анна Леопольдовна все с большим и большим трудом выносила упреки мужа. Тем не менее, поскольку ей было необходимо чем-то согреваться, пока длилось одиночество, время от времени она соглашалась принять Антона-Ульриха в своей постели. Хотя он, конечно, понимал, что служит лишь временным заместителем и должен этим довольствоваться, пока не явится вновь истинный обладатель прелестей его жены. Прусский министр Аксель де Мардефельд, блюститель нравов российского двора, написал 17 октября 1741 года своему государю, рассказывая об одной ссоре между супругами, ссоре, причиной которой было показавшееся герцогу очень обидным назначение без его ведома нескольких сенаторов: «Так как этот разговор начался случайно и герцог не имел времени предварительно поговорить со своим ментором Остерманом, то великая княгиня взяла верх. Герцог подчинился. С тех пор он мягок, как перчатка… Это было его счастье, что она, вследствие лени, предоставила ему дела, чтобы самой заниматься удовольствиями, и что таким образом он стал необходим. Увидим, продолжится ли это, когда у нее будет фаворит. Она его не любит, он получил разрешение ночевать с ней только после

отъезда Нарцисса (Линара)».

Пока Анна Леопольдовна распутывала весь этот клубок сентиментальных противоречий, окружающие ее люди думали только о политике. Когда пал Бирон, Миних получил пост первого министра и сто семьдесят тысяч рублей в качестве вознаграждения за оказанные при государственном перевороте услуги. Теперь он стал вторым лицом мужского пола в империи – после отца императора-младенца Антона-Ульриха. Однако самого герцога, в конце концов, стал раздражать этот поток благодеяний по отношению к Миниху, ему показалось, что супруга несколько перегибает палку, благодаря всего лишь государственного служащего, да, довольно активного и действенного, но уж слишком низкого происхождения. Герцог был единодушен в критике Миниха с другими господами, чье самолюбие было ранено распределением доходных местечек. Среди тех, кто считал себя обойденными и обиженными властью, были Лёвенвольде, Остерман, Михаил Головкин. Они жаловались на то, что им досталась роль подчиненных, в то время как регентша и ее супруг столь многим им обязаны, и возлагали ответственность за эту несправедливость и ущемление своих прав, естественно, на всемогущего Миниха. Но надо же такому произойти: фельдмаршал, жертва внезапно свалившегося на него недомогания, вынужден некоторое время оставаться дома, в постели. Как было не воспользоваться столь нежданной улыбкой фортуны? Остерман и пользуется, не дожидаясь другого, такого же удобного случая: он торопится, без всякого предупреждения, занять место своего главного врага, завладевает его бумагами, отдает приказы от имени первого министра. Едва поднявшись, Миних хотел было снова взять в свои руки бразды правления, но оказалось – слишком поздно! Остерман уже заменил его везде, он не упускает из рук добычу, и вот уже Анна Леопольдовна, с помощью неизменной советницы Юлии Менгден, приходит к выводу, что наступил вожделенный момент потребовать назад все свои права, ведь у нее в качестве надежного тыла, ангела-хранителя и защитника есть Остерман! Для поддержки внушенного им Анне Леопольдовне намерения «оздоровить монархию» этот последний предлагает искать опору и даже субсидии за границами империи.

Начинаются запутанные переговоры между Санкт-Петербургом и Англией, Австрией, Саксонией – делаются попытки заключить союзы, не имеющие завтрашнего дня. И в конце концов приходится признать очевидное: никто в европейских государственных канцеляриях больше не верит в эту Россию, которую несет неведомо куда. Она – как корабль без руля

и без ветрил, корабль, у которого нет на борту капитана. Даже из Константинополя исходит угроза: Франция, вступив с Турцией в тайный сговор, заставляет опасаться нападения.

Оставленные в стороне от хода внешней политики с ее бесчисленными интригами, высшие армейские чины были все-таки сильно огорчены и даже чувствовали себя униженными тем, что родина держит их в отдалении от международных «разборок». Дерзкие выходки и капризы Линара, возомнившего себя всемогущим после женитьбы на Юлии Менгден, женитьбы, состряпанной в дворцовых прихожих, мало-помалу прикончили и ту небольшую симпатию, которую еще испытывали по отношению к регентше простой народ и средней руки дворянство. *Гвардейцы (солдаты императорской гвардии) упрекали ее в пренебрежении к военному сословию, и даже самые скромные из ее подданных удивлялись тому, что Анна Леопольдовна, в отличие от других цариц, никогда не прогуливается свободно по улицам города. Говорили, что она одинаково презирает как улицы, так и казармы, и что она чувствует себя в своей тарелке, только находясь в салонах. А еще говорили: регентша так охоча до удовольствий, что носит везде, кроме официальных приемов, одежду без пуговиц – чтобы побыстрее скинуть эту одежду, когда любовник придет к ней в спальню. Зато ее тетка, Елизавета Петровна – вот та, хотя и находится большую часть времени в наполовину желанном, наполовину вынужденном изгнании, далеко от столиц, – она склонна к прямым и простым человеческим отношениям, она даже ищет контактов с толпой. И действительно, пользуясь каждым удобным случаем, эта истинная дочь Петра Великого во время своих редких посещений Санкт-Петербурга с удовольствием показывалась на людях, ездила по городу в открытом экипаже или верхом, отвечала на приветствия зевак ангельской улыбкой и изящным жестом затянутой в перчатку руки. Ее поведение было таким естественным, таким непосредственным, что каждому, мимо кого она проезжала, казалось, будто она разрешает ему поделиться с ней своими радостями и горестями. Рассказывают, что находившиеся по увольнительной в городе солдаты, ни минуты не колеблясь, прыгали на полозья ее саней, чтобы прошептать на ушко комплимент…* Между собой они называли ее *матушкой*. Она знала об этом и гордилась таким званием так, будто оно было еще одним высоким титулом.

Одним из первых, кто оценил по достоинству авторитет *царевны* у простонародья и не самой знатной аристократии, был французский посланник маркиз де Ла Шетарди. Он очень быстро понял, какие выгоды сможет извлечь для своей страны и для себя лично, завоевав расположение, а то и дружбу Елизаветы

Петровны, и тут же приступил к делу. Так сказать, дипломатическое обольщение… Операция была проведена блестяще, а помог Шетарди ее провести постоянный врач великой княгини (впоследствии лейб-медик императрицы) Арман Лесток – француз по происхождению, приехавший в Россию из Ганновера: предки его обосновались в Германии после отмены Нантского эдикта. Этот пятидесятилетний человек, равно известный профессиональным мастерством в медицине и полнейшей безнравственностью в частной жизни, знал Елизавету Петровну еще с тех пор, когда она была никому не известной чувственной, восприимчивой и кокетливой девочкой.

Маркиз де Ла Шетарди нередко обращался к Лестоку, желая проникнуть в тайны перемен настроения *царевны* или разобраться в оттенках и изгибах российского общественного мнения. И вот что получалось из сообщений врача: в отличие от тех женщин, которые до сих пор владели российским престолом, Елизавета Петровна просто обожает Францию! В детстве она учила французский язык и даже танцевала менуэт. Пусть она мало читает, зато по-настоящему ценит дух нации, которую называют разом и мужественной, и фрондерской, и легкомысленно-фривольной… Наверное, *царевна* не может забыть, что еще совсем девочкой была просватана за Людовика XV, прежде чем побывать – с небольшим, надо сказать, успехом – сначала невестой принца-епископа Любекского, а потом Петра II, – оба они слишком рано умерли… Вероятно, ослепительный Версаль продолжал царить в ее воображении, несмотря на все любовные разочарования. Те, кто восхищался ее грацией и изумительной живостью на пороге и за порогом тридцатилетия, утверждали, что, несмотря на ее полноту, «она возбуждает всех мужчин», что она «легка на подъем» и что – стоит ей появиться, сразу как будто французская музыка заиграет…

Саксонский дипломатический представитель Лефорт писал о ней, мешая раздражение с почтением: «Казалось, что она рождена для Франции, раз любит только фальшивый блеск».

Английский посланник Финч, со своей стороны, отдавая должное живости *царевны* и ее боевому задору, находил, что она «слишком дородна, чтобы состоять в заговоре».

Тем не менее склонность Елизаветы Петровны к изыскам моды и французской культуры в целом не мешала ей обнаруживать вкус и к чисто русской неотесанности, когда речь заходила о ночных увеселениях. Еще даже и не получив официального статуса при дворе племянницы, она взяла в любовники малороссийского простолюдина, приписанного в качестве певчего к дворцовой домовой церкви, – Алексея

Разумовского. Прекрасный глубокий голос, атлетическое сложение и грубость требований этого спутника жизни тем больше ценились ею в спальне, оттого что сменяли царившие в салонах любезности и жеманство. Жаждущая одновременно и простых плотских наслаждений и модного в те времена притворства, великая княгиня повиновалась своей природе, смиряясь с ее противоречивостью. Простодушный и чистосердечный Алексей Разумовский любил выпить, с удовольствием это делал, а когда сильно перебирал, начинал орать во весь голос, выбирая самые грубые выражения, и расшвыривать мебель, а его царственная любовница, хотя и наблюдала за всем этим не без страха, скорее, все-таки сильно забавлялась вульгарностью своего друга сердечного. Придирчивые советники *царевны*, признавая за ней право в интимной жизни делать все, что она хочет, рекомендовали тем не менее быть поосторожнее или, по крайней мере, чуть-чуть сдержаннее, чтобы не разразился скандал, способный очернить ее. Однако и оба Шуваловых – Александр и Иван, и камергер Михаил Воронцов, и большинство приверженцев Елизаветы Петровны – все вынуждены были признать, что как в казармах, так и на улицах отголоски этой связи дочери Петра Великого с человеком из народа обсуждались не просто снисходительно, но даже и с доброжелательством. Так, словно люди «низов общества» были ей благодарны за то, что она не пренебрегла одним из них.

В то же самое время во дворце вокруг Елизаветы стали объединяться франкофилы. Этого было достаточно, чтобы она показалась подозрительной Остерману, известному в России своей страстью ко всему немецкому. Остерман, естественно, не мог вынести никаких помех своей политике, и, когда английский посланник Эдвард Финч спросил его, что он думает насчет явных предпочтений великой княгини во внешней политике, в раздражении ответил, что, если она станет и дальше «вести себя так двусмысленно», ее «придется заточить в монастырь». Доложив своему министру об этой беседе в очередной депеше, англичанин заметил иронически: «Это была бы опасная затея, поскольку в Елизавете Петровне напрочь отсутствуют качества, нужные монашке, и она крайне популярна в народе».[48]

Финч не ошибался. В гвардейских полках с каждым днем усиливалось недовольство. Солдаты потихоньку обсуждали, чего еще ждут во дворце, чтобы прогнать всех этих немцев, которые командуют русскими людьми. От самого последнего гвардейца до самого титулованного из них – каждый обличал несправедливость, допущенную по отношению к дочери Петра Великого, единственной наследницы Романовых по крови и по

духу. Как это так, говорили между собой гвардейцы, как это можно: лишить ее короны?! Кое-кто решался даже намекнуть, что регентша, ее муженек Антон-Ульрих и даже царь-младенец – узурпаторы. Им противопоставляли изумительную доброту *матушки* Елизаветы Петровны, которую называли «искрой Петра Великого».

Несмотря на большое число таких непосредственных проявлений любви к Елизавете, маркиз де Ла Шетарди все-таки еще медлил с решением вопроса о моральной поддержке Францией государственного переворота. Но Лесток, при содействии Шварца, бывшего немецкого капитана, перешедшего на службу России, решил, что настало время подключить к заговору армию. И в то же самое время шведский министр Нолькен сообщает Ла Шетарди, что правительство Швеции готово предоставить в его распоряжение кредит в сто тысяч экю, чтобы либо посодействовать укреплению власти Анны Леопольдовны, либо поддержать намерения *царевны* Елизаветы Петровны – «в зависимости от обстоятельств». Ему предоставили свободу выбора. Нолькен был поставлен в затруднительное положение: принять такое решение он не мог – оно было вне его компетенции. И он обратился за советом к французскому коллеге. Осторожного Ла Шетарди просто привела в ужас подобная ответственность, и, не способный, в свою очередь, действовать решительно, он удовольствовался тем, что дал уклончивый ответ, после чего Париж стал заставлять его содействовать осуществлению намерений Швеции и таким образом исподтишка помочь Елизавете Петровне в ее деле.

Однако на этот раз, узнав о такой неожиданной поддержке, заколебалась сама Елизавета Петровна. Она уже было решилась, но в ту же минуту представила себе, как ее изобличают, как бросают в тюрьму, как ей там бреют голову и как она до самой смерти находится в одиночестве, которое хуже смерти. Ла Шетарди испытывал такое же беспокойство за себя самого и признавался, что по ночам не смыкает глаз, а при малейшем необычном шорохе «быстро подбегал к окну и воображал, что погиб». Впрочем, он действительно в эти последние дни навлек на себя гнев Остермана – в результате, как считал тот, неверного дипломатического хода, – и его попросили не появляться при дворе, пока не поступит иное распоряжение. «Сосланный» за город, где у въезда в столицу он купил себе виллу, француз и там вовсе не чувствовал себя в безопасности и потому принимал посланников от Елизаветы только после наступления сумерек и так, чтобы никто не знал о приезде людей от нее. Ла Шетарди уже окончательно пришел к выводу о том, что его судьба – судьба

политического изгнанника, когда по истечении некоторого времени, сочтя наказание достаточным, Остерман наконец разрешил ему представить свои верительные грамоты при условии, что француз вложит их в собственные ручки царя-младенца. Ему было снова разрешено бывать при дворе, и французский посланник воспользовался этим, чтобы, встретившись там с Елизаветой Петровной, шепнуть ей на ушко во время какого-то приема, что во Франции на ее счет имеются грандиозные проекты. Спокойная и улыбающаяся *царевна* ответила ему: «Будучи дочерью Петра Великого, я намерена остаться верной его памяти, испытывая такое же, как он, доверие к Франции и прося ее поддержки, чтобы осуществить принадлежащие мне по справедливости и закону права».

Ла Шетарди поостерегся распространять эти разрушавшие основы существующего строя слова, но слушок о заговоре, тем не менее, распространился в окружении регентши. И сразу приверженцы Анны Леопольдовны воспылали жаждой мести. Муж, Антон-Ульрих, и любовник, граф Линар, сочли своим долгом предупредить ее, каждый со своей стороны, о грозящей опасности. Они настаивали на том, чтобы регентша усилила охрану императорского жилища и приказала немедленно арестовать французского посланника. Бесстрашная Анна Леопольдовна сочла все слухи вздором и наотрез отказалась ответить на них слишком крутыми мерами. В то время как племянница весьма недоверчиво выслушивала доклады своих информаторов, тетка, Елизавета Петровна, зная о подозрениях, связанных с намеченным ею предприятием, принялась умолять Ла Шетарди удвоить предосторожности. Пока он сжигал документы, способные скомпрометировать заговорщиков, Елизавета сочла разумным оставить столицу и встретиться с несколькими из сообщников в домах друзей близ Петергофа. 13 августа 1741 года Россия вступила в войну со Швецией, и, если дипломатам были известны темные делишки, приведшие к этому военному конфликту, то простой народ ничего не знал о его причинах. Все, что знали эти люди, живущие в деревнях, было: теперь, из-за каких-то весьма запутанных проблем, связанных с национальным престижем, границами, престолонаследованием, тысячи мужчин падут на поле боя под ударами врага, далеко от родины, далеко от семьи. Но пока еще императорская гвардия не была втянута в кампанию, и это было весьма существенным, если не главным.

В конце ноября 1741 года Елизавета с глубоким сожалением поняла, что столь рискованный заговор, как у нее, не способен обойтись без солидной финансовой поддержки. Снова был

призван на помощь Ла Шетарди, он выгреб все до последней монетки из собственных карманов, после чего обратился к французскому двору за дополнительным авансом размером в пятнадцать тысяч дукатов. Поскольку правительство Франции продолжало делать вид, что не слышит его просьб, Лесток стал понуждать посланника действовать независимо от обстоятельств и, не дожидаясь разрешения Парижа или Версаля, любой ценой получить желаемое. Лесток старался подбодрить, Лесток подгонял, и вот уже воодушевленный или, скорее, вынужденный внять его призывам, французский посланник снова начинает свою игру. Он отправляется к *царевне* и, специально накаляя обстановку, сообщает ей, что, согласно последней полученной им информации, регентша собирается заточить Елизавету Петровну в монастырь. Лесток, который явился вместе с ним, глазом не моргнув, подтверждает, что похищение и заточение могут последовать со дня на день. Надо сказать, удар этот был нанесен в самую что ни на есть болевую точку: монастырь был постоянно преследующим Елизавету кошмаром. Чтобы окончательно убедить ее, Лесток, который отличался художественными талантами, схватил лист бумаги и нарисовал на нем две картинки: на одной была изображена государыня, восходящая на престол под ликующие крики толпы, на другом – та же самая женщина, но принявшая постриг и направляющаяся с поникшей головой к монастырю. Положив свои рисунки перед Елизаветой Петровной, Лесток приказал – разом требовательно и лукаво:

– Выбирайте, мадам!

– Отлично, – ответила *царевна.* – Решайте, когда![49]

А то, о чем она не сказала, но что ясно читалось в ее глазах, был овладевший ею ужас. Не обращая внимания ни на бледность Елизаветы Петровны, ни на ее нервозность, Лесток и Ла Шетарди принялись уже составлять подробный список своих противников, которых следовало арестовать и объявить вне закона сразу после победы. Во главе этого «черного списка» стоял, естественно, Остерман. Но были там и Эрнест Миних, сын фельдмаршала, и барон Менгден, отец столь милой сердцу регентши Юлии, и граф Головкин, и Лёвенвольде с несколькими сообщниками. Однако пока еще было неизвестно, какую судьбу, когда все будет закончено, готовят для самой регентши, ее мужа, ее любовника и ее ребенка. Всему свое время! Чтобы побудить к более решительным действиям слишком сдержанную, на его взгляд, *царевну*, Лесток заявил, что солдаты Гвардии готовы к борьбе, что они рвутся на защиту в лице Елизаветы Петровны «крови Петра Великого». При этих словах лекаря-заговорщика она внезапно обрела уверенность в себе и, воодушевленная, воскликнула: «Я не

предам этой крови!»

Это окончательное обсуждение планов имело место 22 ноября 1741 года и проходило в глубочайшей тайне. На следующий день, 23 ноября, в императорском дворце был прием. Скрывая свою тревогу, Елизавета Петровна явилась во дворец в парадном платье – с намерением привести в ярость всех своих соперниц и обезоружить сияющей улыбкой самых злобных недоброжелателей. Подходя для приветствия к регентше, она опасалась, что та либо публично оскорбит, унизит ее, либо намекнет на ее связи с некоторыми неблагонадежными дворянами, однако Анна Леопольдовна проявила еще большую любезность, чем обычно. Вероятно, она была слишком занята своей любовью к графу Линару, в это время отсутствовавшему в столице, своей нежностью к Юлии Менгден, для которой готовила приданое, и своей материнской заботой о здоровье сына, с которого она «как настоящая немецкая мамаша» сдувала пылинки, чтобы на нее могли хоть как-то воздействовать слухи о некоем неведомом заговоре. Тем не менее, увидев свою тетушку-*царевну* такой ослепительной и безмятежной, Анна Леопольдовна припомнила, что Линар в последнем письме предупредил, чтобы она была очень осторожна в связи с двойной игрой Ла Шетарди и Лестока, которые, с поощрения Франции и, может быть, даже Швеции, мечтают о том, чтобы свергнуть ее с престола и отдать этот престол Елизавете Петровне. Внезапно помрачнев, Анна Леопольдовна решила прибегнуть к хирургическим методам и вскрыть нарыв. Понаблюдав за теткой, которая в эту минуту уже играла в карты с несколькими придворными, Анна Леопольдовна подошла и, прервав игру, попросила Елизавету проследовать за ней в соседнюю комнату. Оставшись наедине с предполагаемой заговорщицей, регентша бросила ей в лицо обвинения, дословно повторив все, что было написано Линаром. Елизавету словно гром поразил: она побледнела и стала растерянно бормотать слова оправдания, заверять Анну Леопольдовну в своей невиновности, клясться, что ту ввели в заблуждение, говорить, что ей дают плохие советы, гнусно обманывают… Рыдая, Елизавета бросилась к ногам регентши… Последняя была сильно взволнована: девушка явно была искренней, вроде бы от души каялась, – и Анна Леопольдовна, в свою очередь, разрыдалась. Вместо того чтобы поссориться, женщины обнялись и, мешая вздохи и слезы с клятвами в вечной любви, что-то лепетали, успокаивая одну другую. В общем, расстались они к концу вечера, как сестры, которым удалось избежать опасности, равно грозившей им обеим.

Иначе отнеслись к донесшимся до них слухам об этом

свидании приверженцы той и другой. Они восприняли сведения как сигнал к безотлагательным действиям. Несколько часов спустя, ужиная в знаменитом ресторане, где можно было приобрести не только голландские устрицы, но и парижские парики, а кроме того, известном как место встречи лучших информаторов столицы, Лесток от некоторых хорошо осведомленных доносчиков узнал, что Остерман отдал приказ удалить из Санкт-Петербурга преданный *царевне* Преображенский полк. Предлогом для такой внезапной передислокации армии стало неожиданное развитие военных действий в русско-шведской войне. На самом же деле это был один из многих способов лишить Елизавету Петровну надежнейшего крыла при подготовке государственного переворота.

На этот раз был брошен прямой вызов, и следовало опередить противника. Наплевав на протокол, заговорщики тайно собрались прямо в императорском дворце, в покоях *царевны.* Здесь присутствовали самые главные из них – они окружали Елизавету Петровну, которая была ни жива ни мертва. Рядом с ней находился и Алексей Разумовский, решившийся, наконец, высказать свое мнение. Подытоживая обсуждение проблемы, он заявил своим прекрасным зычным голосом церковного певчего: «Промедление приведет к большому несчастью! Душа моя чует в таком случае великие возмущения, разрушения, а может быть, и гибель родины!» Ла Шетарди и Лесток громкими криками поддержали Разумовского. Отступать было некуда. Прислонившись к стене, Елизавета Петровна вздохнула и произнесла нехотя: «Ну, хорошо, раз уж меня так приневоливают…» Не закончив фразы, она жестом показала, что покоряется судьбе. Не теряя ни минуты, Лесток с Ла Шетарди принялись распределять роли: надо, чтобы Ее Высочество лично показалась у *гвардейцев*, чтобы вернее заставить их идти за собой. Как раз в это время депутация гренадеров Гвардии во главе с сержантом Грюнштейном явилась в Летний дворец и попросила *царевну* принять их. Эти люди подтвердили, что ими тоже получен приказ отправиться на российско-финляндскую границу. В таких условиях заговорщики просто обязаны были победить, и с каждой потерянной минутой у них оставалось все меньше шансов. Поставленная перед необходимостью принять самое важное в своей жизни решение, Елизавета удалилась в спальню.

Прежде чем шагнуть в неизвестность, она встала на колени перед иконами и дала обет в случае успеха отменить во всей России смертную казнь. В соседней комнате ее сторонники, собравшись вокруг Алексея Разумовского, негодовали из-за этой задержки. Не пожелает ли Елизавета снова переменить мнение?

Не в силах больше терпеть, Ла Шетарди отправился в свое посольство. А когда на пороге спальни показалась смертельно бледная, но прямая и надменная *царевна*, Арман Лесток вложил ей в руки серебряный крест, произнес несколько ободряющих слов и надел ей на шею ленту ордена Святой Екатерины. Затем – подтолкнул Елизавету к выходу. Сани уже ждали у подъезда. Елизавета уселась в них рядом с Лестоком; Алексей Разумовский и Салтыков устроились в других санях, а Воронцов и Шувалов поехали верхом. За ними двигался Грюнштейн во главе десятка гренадеров. Вся компания глубокой ночью приблизилась к казармам Преображенского полка. Воспользовавшись короткой передышкой у французского посольства, Елизавета хотела найти своего «сообщника» Ла Шетарди, чтобы предупредить его о том, что близится развязка. Но секретарь сообщил, что Его Светлости нет на месте. Догадавшись, что это дипломатическое отсутствие, чья цель – обелить посланника в случае провала, *царевна* не стала настаивать и удовольствовалась тем, что попросила атташе посольства передать Ла Шетарди: она-де «идет за славой под эгидой Франции». И тем больше ее заслуга высказать это громко и ясно, что французское правительство недавно отказалось дать ей две тысячи рублей, которые она просила при посредничестве Ла Шетарди.

Когда заговорщики прибыли к казармам, у них произошла стычка с часовым: его не успели предупредить, и он из лучших побуждений поднял тревогу. Быстрый как молния Лесток одним взмахом кинжала пропорол барабан, а гвардейцы Грюнштейна кинулись в казарму – известить товарищей о патриотическом действии, которого от них ждут. Офицеры, расквартированные в городе, неподалеку от казарм, были также подняты по тревоге. В течение нескольких минут образовалось воинское соединение из многих сотен человек, и вот уже – «Оружие – к ноге!» – все они выстроились во дворе казармы. Собравшись с духом, Елизавета вылезла из саней и обратилась к солдатам ласково-повелительным тоном. Речь она подготовила заранее.

– Узнаете ли вы меня? Знаете ли, чья я дочь?

– Да, *матушка*, – ответили хором солдаты, встав по стойке «смирно».

– Меня хотят заточить в монастырь. Хотите ли вы следовать за мной, чтобы помешать этому?

– Мы готовы, *матушка*! Мы их всех поубиваем!

– Если вы еще раз заговорите об убийстве, я уйду! Я не хочу ничьей смерти!

Этот благородный ответ привел гвардейцев в растерянность.

Как можно требовать от них, чтобы они дрались и при этом

щадили врага? Может быть, *царевна* не так уж и уверена в своем праве, может быть, они насчет нее выдумали лишнего? Елизавета, поняв, что терпимостью может разочаровать солдат, подняла серебряный крест, полученный от Лестока, и воскликнула: «Клянусь умереть за вас! Поклянитесь и вы, что сделаете это ради меня, но – не проливая крови понапрасну!» Вот это обещание *гвардейцы* дать могли, ничего не опасаясь. Они громовыми голосами принесли присягу и стали по очереди подходить целовать крест, который Елизавета протягивала каждому, как священник в церкви. Уверенная, что теперь все складывается в ее пользу, *царевна* окинула взглядом выстроившийся перед нею полк, глубоко вздохнула и произнесла голосом пророчицы: «Так пойдемте же с мыслью о том, что делаем нашу родину счастливой!» Затем она снова уселась в сани, и лошади тронулись с места.

Три сотни примолкших солдат следили взглядами за тем, как их *матушка* удаляется по пустынному в этот час Невскому проспекту в направлении Зимнего дворца. На Адмиралтейской площади Елизавету охватил страх: а вдруг такое большое движение на дороге и ржание лошадей привлекут внимание часового или тех горожан, которые страдают бессонницей? Выйдя из саней, она решила продолжить путь пешком, но ботинки ее тонули в глубоком снегу. Она пошатнулась. Два гренадера поспешили ей на помощь, подняли ее на руки и донесли до дворца. Прибыв на место, восемь человек из эскорта, откомандированные Лестоком, с решительным видом приблизились, назвали пароль, который им заранее открыл сообщник, и разоружили четверых часовых, стоявших у входа. Офицер, командовавший отрядом охраны, прокричал: «*На караул!*»[50] («К оружию!»). Гренадер наставил на него штык, показывая, что при малейшем признаке сопротивления распорет ему грудь. Но Елизавета отвела оружие тыльной стороной ладони, и этот жест милосердия еще увеличил симпатию к ней всего подразделения, которому было поручено обеспечивать безопасность дворца.

Между тем часть заговорщиков уже проникла в «собственные покои» Анны Леопольдовны. Войдя к регентше в спальню, Елизавета застала ее в постели: в отсутствие все еще не вернувшегося любовника Анна Леопольдовна спала с мужем. Открыв глаза, перепуганная регентша увидела, что *царевна* смотрит на нее с ужасающей лаской во взоре, и услышала, как та говорит тихонько: «Сестрица, пора вставать!» Онемевшая от изумления регентша не шевельнулась. Но Антон-Ульрих, тоже разбуженный происходящим, стал громко звать на помощь

гвардию. Однако никто не спешил во дворец. В то время как муж все еще продолжал орать дурным голосом, Анна Леопольдовна уже поняла, что плохо ее дело, пропала она, с покорностью лунатика встала и попросила только, чтобы ее не разлучали с Юлией Менгден.

Пока супружеская чета сконфуженно натягивала на себя одежды под цепкими взглядами заговорщиков, Елизавета направилась к детской, где царевич-младенец почивал, весь в кружевах, под кисейным пологом. Его потревожили шум и суматоха, он открыл глазки и стал жалобно плакать. Склонившаяся к нему Елизавета сыграла нежность и растроганность, впрочем, может быть, она была и впрямь взволнованна? Как бы там ни было, она взяла грудного ребенка на руки, отнесла в помещение кордегардии, где было тепло, и сказала громко и отчетливо – так, чтобы слышали все: «Бедное дитя! Ты не виновен, виновны только твои родители!»

Прирожденная актриса, Елизавета не нуждалась в аплодисментах, чтобы понять: она поднялась еще на одну ступеньку в глазах подданных, завоевала еще одну вершину. Произнеся эту фразу, которую считала – да так именно и было! – исторической, она схватила мальчугана прямо с пеленками, словно похитительница, отнесла в сани и, все еще прижимая к себе Иоанна VI, двинулась в рассветных лучах по городу. Было очень холодно. Небо отяжелело от снега и тумана. Редкие прохожие, «ранние пташки», узнавшие о том, что случилось минувшей ночью, бежали за санями *царевны* и кричали «ура!». В городе, благодаря соучастию Гвардии, произошел пятый за пятнадцать лет государственный переворот, и они уже настолько привыкли к таким внезапным переменам в политике, что даже и не задавались вопросом о том, кто же правит страной из всех тех высоких лиц, чьи имена, сегодня прославляемые, назавтра вызывают одни лишь проклятья.

Узнав по пробуждении о последнем перевороте, ареной которого стал императорский дворец, шотландский генерал Лесси, уже давно находившийся на службе в России, не выказал никакого удивления. Когда собеседник, жаждавший узнать его предпочтения, прямо спросил: «А вы – за кого?», Лесси ответил без колебаний: «За ту, кто царствует!».

Утром 25 ноября 1741 года такой философский ответ мог бы дать любой из русских, за исключением тех, кто потерял в связи со случившимся свое положение или свое состояние.

VII. Триумф Елизаветы

Государственные перевороты стали традиционными для политической жизни Российской империи, и Елизавета чувствовала себя обязанной – как морально, так и исторически – повиноваться правилам поведения в таких экстремальных обстоятельствах. Прежде всего она должна торжественно заявить о своих правах на трон, затем арестовать побольше людей, не согласных с тем, что она предъявляет такие права, и излить дождь благодеяний на своих приверженцев. В эту ночь новоявленная императрица смогла сомкнуть веки хорошо если на пару часов, но ведь эйфория от победы, возбуждение, ею вызванное, придают душе новые силы вернее, чем простой отдых. Едва занялся день, она была уже на ногах – причесанная, усыпанная драгоценностями, нарядная, улыбающаяся, словом, такая, как будто только что вышла из объятий целителя Морфея. В прихожей ее покоев уже собрались два десятка придворных, жаждавших первыми воздать почести своей царице. Быстро окинув их взглядом, она нашла среди ранних посетителей как тех, кто искренне радовался ее победе, так и тех, кто сейчас распластался перед нею только ради того, чтобы избежать заслуженного наказания. Отложив на время «сортировку», она улыбнулась всем с равной любезностью и, жестом приказав гостям удалиться, вышла на балкон.

Внизу выстроились полки, прибывшие принести присягу Елизавете Петровне. Солдаты в парадных мундирах, не нарушая строя, кричали от радости. Глаза их сверкали столь же грозно, как штыки. Елизавета внимала раскатам «урррa!», особенно звучного в морозном рассветном воздухе, и слышала за ними потрясающее многоголосое объяснение в любви *матушке*. За шеренгами людей в военной форме колыхалась серая толпа: жители Санкт-Петербурга, такие же нетерпеливые, как армейцы, торопились выразить свои удивление и одобрение. Столь единодушная радость породила у нее, женщины восприимчивой и чувствительной, довольно сильное желание простить тех, кто обманулся в своей приверженности другому лагерю, кто придерживался иной политической позиции. Но искушение длилось недолго: Елизавета воспротивилась собственной снисходительности, о которой потом непременно пришлось бы пожалеть, древний инстинкт, равно как и накопленный жизненный опыт, подсказывал ей, что власть исключает милосердие. И выбор был продиктован ледяной мудростью – наслаждаться счастьем, не отказываясь от мщения.

Чтобы как можно быстрее известить своих иностранных союзников о случившемся, она отправила князя Никиту Трубецкого к посланникам разных государств с одной и той же вестью: на трон взошла Ее Величество Елизавета I. Однако почти все иностранные министры уже и так знали о ночных событиях. Из дипломатов более всех был взволнован, конечно же, его светлость Жак-Иоахим Тротти де Ла Шетарди, для которого эта битва за трон была делом глубоко личным, и он надеялся, что его отблагодарят и главная виновница торжества, и французское правительство.

Когда Ла Шетарди ехал в коляске к Зимнему дворцу, чтобы поприветствовать новую царицу, гренадеры, участвовавшие накануне в героических беспорядках и до сих пор слонявшиеся без дела по улицам города, узнали проезжающего мимо французского посланника и встретили его восторженными криками, называя *батюшкой французом* и «защитником дочери Петра Великого». У Шетарди выступили на глаза слезы. Он сразу же решил, что русские куда сердечнее французов, и, не желая оставаться у них в долгу, тут же и пригласил всех этих бравых воинов зайти в посольство и выпить там по стаканчику во здравие Франции и России. Однако, когда он пересказал эту трогательную историю своему министру, Амло де Шайу, тот упрекнул маркиза в излишнем простодушии. «Комплименты, которые сделали вам гренадеры и которых вы, к несчастью, не сумели избежать, разоблачают ваше участие в революции», – написал французский министр своему посланнику 15 января 1741 года. Тем временем Елизавета приказала отслужить благодарственный молебен, за которым последовала и особая церковная служба, целью которой было официальное признание присяги, принятой армией. Позаботилась она также о том, чтобы опубликовать манифест, узаконивший ее приход к власти: «Божиею милостию мы, Елисавета Первая, императрица и самодержица всероссийская, объявляем во всенародное известие: как то всем уже чрез выданный в прошлом, 1740 году в октябре месяце 5 числа манифест известно есть, что блаж. памяти от великие государыни императрицы Анны Иоанновны при кончине ее наследником всероссийского престола учинен внук ее величества, которому тогда еще от рождения несколько месяцев только было, и для такого его младенчества правление государственное чрез разные персоны и разными образы происходило, от чего уже как внешние, так и внутрь государства беспокойства, и непорядки, и, следовательно, немалое же разорение всему государству последовало б, того ради все наши как духовного, так и светского чинов верные подданные, а особливо лейб-гвардии нашей полки,

всеподданнейше и единогласно нас просили, дабы мы для пресечения всех тех происшедших и впредь опасаемых беспокойств и непорядков, яко по крови ближняя, отеческий наш престол всемилостивейше восприять соизволили и по тому нашему законному праву по близости крови к самодержавным нашим вседражайшим родителям, государю императору Петру Великому и государыне императрице Екатерине Алексеевне, и по их всеподданнейшему наших верных единогласному прошению тот наш отеческий всероссийский престол всемилостивейше восприять соизволили, о чем всем впредь со обстоятельством и с довольным изъяснением манифест выдан будет, ныне же по всеусердному всех наших верноподданных желанию всемилостивейше соизволяем в том учинить нам торжественную присягу».

Контрапунктом ко всем этим приятным событиям, контрапунктом к всеобщей эйфории звучали жестокие репрессии. К главным «подстрекателям» (Миниху, Лёвенвольде, Остерману и Головкину) в казематах Петропавловской крепости присоединили и заговорщиков, исполнивших второстепенные роли. Князь Никита Трубецкой, которому было поручено судить виновных, не затруднил себя бесполезной, по его мнению, процедурой. Импровизированные магистраты послушно утверждали его решения, апелляции не принимались. Толпы людей, всегда готовых поаплодировать несчастью ближнего, следили за этими «судебными разбирательствами» час за часом. В числе обвиняемых было много иностранцев, и это радовало «настоящих, хороших русских». Некоторые из тех, кто видел в подобной серии наказаний реванш за прошлое, веселились, подчеркивая, что сейчас идет следствие, где подозреваемый – Германия, а прокурор – Россия. Можно найти сведения о том, что сама Елизавета Петровна, спрятавшись за драпировкой, старалась не упустить ни единого слова в этих разбирательствах. Во всяком случае, точно известно, что приговоры были не просто вдохновлены, а даже и продиктованы ею. Большей частью подсудимых приговаривали к смертной казни. Но, конечно же, императрица, которая накануне государственного переворота поклялась отменить высшую меру наказания, получала невинное удовольствие от того, что могла помиловать, отменить в последнюю минуту казнь. Этот прикрываемый маской благодушия садизм, как она думала, соответствовал духу ее великого предка, потому что Петр I никогда не колебался, если нужно было добавить жестокости к прозорливости или ужаса к забаве.

Всякий раз, когда трибунал под руководством Никиты Трубецкого выносил смертный приговор, нужно было уточнить

способ наказания. Чаще всего заседатели суда довольствовались отсечением головы виновного, но когда речь зашла о судьбе Остермана, в зале раздались голоса, осуждающие такую гуманность в случае, который требовал применения куда более суровой меры. По требованию Василия Долгорукого, только что вернувшегося из ссылки и жаждавшего мщения, Остермана приговорили к колесованию, прежде чем ему отсекут голову, а Миниху предпочли назначить четвертование перед ударом топора, который добьет его. При таких условиях одни лишь преступники, отнесенные к последней категории, имели бы шанс положить голову на плаху, так сказать, нетронутыми, не пережив до этого страшных мук. Однако в финале осужденным был обеспечен приятный сюрприз: когда в назначенный день и час, на глазах толпы зевак, жаждущих крови «предателей», их подведут к эшафоту, на площади должен был появиться гонец из Зимнего с сообщением, что Ее Величество в своей бесконечной доброте удостоила преступника заменой смертной казни на пожизненную ссылку. Толпа, разочарованная тем, что ее лишили увлекательного зрелища, всегда поначалу хотела разорвать в клочья человека, пожалованного монаршей милостью, но затем, словно вдруг озаренная божественным сиянием, принималась благословлять *матушку*, которая снова проявила высшее христианское милосердие и доказала, что она лучше следует заповедям Господним, чем они сами, требовавшие отнять жизнь у «подлых негодяев». Многие зрители несостоявшейся казни, потрясенные таким необычайным великодушием, неустанно повторяли: это исключительное милосердие продиктовано глубоко женственной натурой Ее Величества, а вот мужчина-царь на ее месте показал бы себя куда более суровым в проявлениях праведного гнева. И даже молились о том, чтобы и дальше в России властвовали только женщины. По их мнению, несчастный, обездоленный народ больше нуждался в матери, чем в отце. И в то самое время, когда они вот так вот курили фимиам царице, помешавшей этим ужасным политическим преступникам вредить России в будущем, Миниха отправили в глухое сибирское село Пелым, находившееся в трех тысячах верст от Санкт-Петербурга, Лёвенвольде очутился в Соликамске, Остерман – в Березове, за тысячу верст от Тобольска, место же ссылки Головкина в дорожном листе было написано неразборчиво, и потому его оставили в первом сибирском селе, какое попалось на пути.

К членам Брауншвейгского семейства с бывшей регентшей Анной Леопольдовной во главе отнеслись, учитывая их знатное происхождение, чуть помягче. Им определили местом изгнания Ригу, но потом сослали-таки в Холмогоры на Крайнем Севере.

И вот теперь, отправив куда подальше противников своего дела, Елизавета занялась тем, чтобы заменить на ключевых постах государства опытных людей, которыми она пожертвовала, расчищая для себя территорию. Набор «рекрутов» на эти высокие должности был поручен Лестоку и Воронцову. Место Остермана было отдано ими Алексею Петровичу Бестужеву, а брату его отвели пост, принадлежавший раньше Лёвенвольде, – обер-егермейстера. Самую блестящую компенсацию за примененные к ним в период прежнего царствования карательные меры получили среди военных возвращенные из изгнания Долгорукие. Даже добросовестные мелкие офицеры и служащие, пострадавшие от несправедливости при Анне Леопольдовне, не были забыты. Те, на кого распространилась монаршая милость, принялись делить между собой вещи изгнанников. Описывая этот вальс на костях, прусский посланник Мардефельд сообщит своему суверену Фридриху II: «Наряды, одежда, чулки и тонкое белье графа Лёвенвольда были розданы камергерам императрицы, которым нечем прикрыть свою наготу… Из четырех камер-юнкеров, только что получивших это назначение, двое были прежде лакеями, а третий служил конюхом».[51]

Что касается главных подстрекателей к заговору, то они благодаря Елизавете получили благ еще больше, чем видели в самых сладких снах. Лесток стал графом, личным советником Ее Величества, первым придворным медиком, директором «медицинской коллегии» и обладателем пожизненной пенсии: семь тысяч рублей в год.

Михаил Воронцов, Александр Шувалов и Алексей Разумовский проснулись в одно прекрасное утро великими камергерами и кавалерами Ордена Святого Андрея.

В то же самое время вся компания гренадеров, которая поспособствовала завоеванию Елизаветой Петровной успеха в ночь на 25 ноября 1741 года, была преобразована в отряд личных телохранителей Ее Величества, названный по-немецки «Leib-Kompania». Каждый унтер-офицер, каждый офицер этого элитного подразделения поднялся таким образом на одну ступеньку по служебной лестнице. У каждого на мундире появилась нашивка с девизом: «Верность и рвение».

Некоторым даже было пожаловано звание потомственных дворян с землями и вознаграждением в две тысячи рублей. Алексей Разумовский и Михаил Воронцов, хотя и не понимали ничего в военном деле, были неожиданно произведены в генерал-лейтенанты и получили вместе с воинским званием деньги и поместья.

Несмотря на неоднократные проявления Елизаветой

Петровной щедрости в их адрес, «споспешники переворота» требовали все новых и новых тому подтверждений. Мотовство императрицы, доказанное пролившимся на «лейб-компанию» дождем благодеяний, далеко не удовлетворило их аппетитов, напротив, вскружило им головы. Поскольку им было «все дано», они решили, что отныне им «все позволено». Их восхищение *матушкой* переросло в фамильярность, если не самодовольную наглость. В окружении Елизаветы «лейб-компанцев» называли «гренадерами-творцами», потому что они «сотворили» новую императрицу, или «взрослыми детьми Елизаветы», потому что она относилась к ним с почти материнской снисходительностью. Раздраженный наглостью этих простонародных выскочек, Мардефельд жалуется в очередном донесении королю прусскому Фридриху II: «Они из дворца не выходят; получая в нем хорошее помещение и хорошую пищу… разгуливают по галереям, во время приемов Ее Величества расхаживают между высокопоставленными лицами… играют в фараон за тем же столом, где сидит императрица, и ее снисходительность к ним настолько велика, что она даже подписала указ о чеканке фигуры гренадера на обратной стороне рублевой монеты… Я знаю случай, когда один гренадер пожелал купить глиняный горшок за три копейки; продавец же не соглашался отдать его дешевле шести копеек, тогда тот прицелился из своего ружья и убил его на месте».

Казимир Валишевский в книге «Дочь Петра Великого» пишет о том, что в том же месяце того же года «английский министр Финч рассказывал, в свою очередь, что, когда один из этих солдат был наказан принцем Гессен-Гомбургским за особо безобразную выходку, все его товарищи решили не появляться больше при дворе. Елизавета взволновалась:

– Где же мои дети?

Узнав, в чем дело, она отменила наказание; можно себе представить, какое это произвело действие. Всеми способами она старалась укрепить в лейб-компанцах мысль, что новый режим, созданный при их помощи насильственным путем, нуждался в них и в дальнейших насильственных действиях, чтобы удержаться у власти».

В выборе своих ближайших сотрудников императрица старалась отдавать предпочтение русским, но, как бы ни хотелось ей без этого обойтись, все-таки порой обстоятельства вынуждали ее прибегать к помощи иностранцев в тех областях, где нужен был хоть минимум компетентности. Вот потому-то и появились вновь на российском горизонте, точнее – в Санкт-Петербурге, одна за другой, бывшие жертвы Миниха, чтобы украсить собою

министерства и канцелярии, где наблюдалась явная нехватка профессиональных кадров. Девьеры и Бреверны, снова оказавшись в седле, привели за собой других немцев – таких, как, например, Сиверс и Флюк… Чтобы оправдать эти неизбежные отклонения от славянского национализма, Елизавета всякий раз вспоминала свой эталон, неизменный пример для подражания – Петра Великого, который, по его собственному выражению, стремился «прорубить окно в Европу». Ведь в самом сердце этой идеализировавшейся ею Европы была, конечно, не только Франция с ее достоинствами: легкостью духа, культурой, философской иронией, – но и Германия, такая вдумчивая, серьезная, такая дисциплинированная, изобретательная и богатая, такой профессионал в войнах и в торговле… И сколько там – ну, просто изобилие! – принцев и принцесс, пригодных для брака… Неужели она должна отказаться, даже если придет нужда, зачерпнуть в том или другом из этих двух живорыбных садков? Разве хорошо, если она, под предлогом русификации всего и вся в стране, запретит использовать на благо России опытных людей, приехавших из-за рубежа? Ее мечта – примирить и согласовать обычаи родины с иноземной образованностью, обогатить поклоняющегося только своему, так сильно влюбленного в прошлое русофила кое-чем, позаимствованным у Запада, сотворить онемеченную ли, офранцуженную ли Россию, не предав собственных традиций…

Положение Елизаветы было сложным. С одной стороны, она не могла окончательно определиться и понять, как же лучше вести себя под натиском маркиза Ла Шетарди, борющегося за интересы Франции, и Мардефельда, с точно таким же рвением отстаивающего немецкие интересы, чтобы примирить все это со стратегическими и тактическими задачами, на исполнении которых постоянно настаивал Бестужев, старавшийся быть прежде всего русским и ставить на первое место интересы России, с другой – внутренняя жизнь империи требовала, как ей самой казалось, решений, ничуть не менее безотлагательных. Думая о завтрашнем дне, она попутно реорганизовала устаревший Сенат, который отныне держал в своих руках и законодательные инициативы, и юридическую власть; она заменила бездействующий Кабинет личной Канцелярией Ее Величества; увеличила всевозможные пошлины, в том числе и городскую ввозную пошлину на продукты питания и некоторые товары; приказала усилить приток иностранных «колонистов», чтобы обеспечить прирост населения в безлюдных доселе южных областях России. Но все эти меры чисто административного порядка не излечивали подтачивавшего царицу глубокого

беспокойства, не дававшего ей спать по ночам.

Каково будущее династии? Эта мысль не отступала от Елизаветы Петровны ни на минуту. Что станет со страной, если по той или иной причине ей придется уступить свое место? Не имея детей, она всегда опасалась, что, не дай-то Бог, в случае ее смерти или – как знать? – очередного заговора престол перейдет к бывшему царю-младенцу, Иоанну VI, которого она лишила трона, но который пока остается единственным ее законным наследником. Конечно, сейчас ребенок вместе с родителями находится в Риге, но ведь они способны вернуться в результате какой-нибудь очередной политической перестановки, которые стали такими привычными в России. Чтобы предохранить себя от подобной возможности, Елизавета видела только одно средство: назначить и заставить всех признать прямо с сегодняшнего дня единственного неоспоримого ее наследника. Собственно, выбирать было не из кого, и Елизавета не колебалась: по ее мнению, никто, кроме сына ее покойной сестры Анны Петровны, юного принца Карла-Петра-Ульриха Голштин-Готторпского, не достоин был столь высокого назначения. Отец мальчика, Карл-Фридрих Голштин-Готторпский, умер еще в 1739 году, он сам был сиротой, помещенным в четырнадцать лет под опеку своего дяди, Адольфа-Фридриха Голштинского, епископа Любекского. Растрогавшись печальной судьбой младенца, лишившегося матери несколько дней спустя после крестин, Елизавета, тем не менее, никогда всерьез о нем не заботилась и судьбой до тех пор его не занималась. А теперь внезапно сочла себя обязанной пожертвовать всем ради сохранения духа семьи и наверстать упущенное. Со стороны дядюшки-епископа не ожидалось никаких затруднений, но – что скажут русские люди? Ба! Разве в первый раз ими будет править на три четверти иностранец по крови? Стоило Елизавете выстроить в уме этот касающийся всей страны проект достаточно ясно, как начались связанные с ним переговоры между Россией и Германией.

Несмотря на то, что были приняты все обычные меры надлежащей секретности, слухи об этих переговорах быстро разнеслись по Европе и достигли ушей европейских министров иностранных дел. Ла Шетарди, естественно, заволновался и стал ломать голову, решая вопрос о том, что же, какие надежные препоны поставить перед началом нового немецкого вторжения в Россию. Догадавшись, что частично общественное мнение будет против ее планов, Елизавета Петровна поспешила сжечь за собою мосты. Даже не предупредив об этом ни Сенат, ни Бестужева, она отправила барона Николая Корфа в Киль, чтобы он привез оттуда «наследника престола». Она даже не потрудилась собрать заранее

информацию о том, что же он собою представляет: раз этот мальчик – сын любимой сестры императрицы и ее, Елизаветы, собственный племянник, значит, он не может быть наделен свыше никакими другими чертами внешности и характера, кроме самых что ни на есть отменных! Она ожидала встречи с ним и волновалась так, как, наверное, способна волноваться лишь беременная женщина, которой не терпится увидеть лицо сына, подаренного ей Небом после долгого периода *вызревания* его в утробе.

Путешествие барона Николая Корфа в Киль совершалось в такой тайне, что приезд Петра-Ульриха в Санкт-Петербург 5 февраля 1742 года остался почти не замеченным при дворе. Впервые увидев племянника, Елизавета, которая готовилась к бурному пробуждению в ней с первого же взгляда материнской любви, окаменела от удивления. Вместо прелестного Элиасена[52] перед ней оказался тощий косоглазый верзила, который исподтишка усмехался, говорил только по-немецки, хотя и тут не способен был двух слов связать, и глядел на тетку взглядом затравленного лисенка. Ничего себе подарочек она уготовила России! Подавляя разочарование, императрица приветливо улыбнулась новоприбывшему, «тотчас же, – как пишет К.Валишевский, – возложила на своего племянника андреевскую ленту, поручила Симону Теодорскому приготовить его к принятию православия, торжественно отпраздновала день его рождения – ему минуло четырнадцать лет – и увезла его в Москву», где приказала специально нанятым педагогам обучить подростка русскому языку.

Естественной была реакция на все это российских франкофилов: они сильно обеспокоились тем, как бы вторжение во дворец принца-наследника не благоприятствовало усилению роли Германии в имперской политике, ведь до сих пор именно немцы во всем противостояли Франции. А русофилы пошли в своей ксенофобии еще дальше. То тут, то там, тихо и громогласно, выражались сожаления о том, что царица сохранила в своей армии некоторых командующих высоких чинов иностранного происхождения, среди которых были, к примеру, принц Гессен-Гомбургский, английские генералы Петер де Ласси и Джеймс Кейт.

Однако среди этих эмигрантов высокого полета те, кто в прошлом доказал свою лояльность, были и теперь вне всяческих подозрений, и вроде бы можно было надеяться, что рано или поздно в России, как и в других государствах, поборники здравого смысла восторжествуют над приверженцами экстремизма. Но – увы! Этой перспективы для того, чтобы успокоить как мелочных и

придирчивых, так и робких, малодушных, было явно недостаточно. Желая обнадежить своего министра Амло де Шайу, который настаивал на том, что Россия вот-вот «ускользнет» от Франции, Ла Шетарди утверждал, что, наоборот, несмотря на внешние проявления, «Россия Франции сейчас благоволит».[53] Но у Амло не было таких же, как у его посланника, причин подпадать под чары Елизаветы. Он считал, что Россия теперь уже не настолько могущественна, чтобы с нею можно было поддерживать отношения на равных, и что было бы опасно полагаться на обещания столь неустойчивой и постоянно колеблющейся власти, какой представлялась ему власть русской императрицы. Связанный былыми договорами с Швецией, он не желал выбирать между двумя странами и предпочитал оставаться в сторонке при выяснении ими своих разногласий, дабы не скомпрометировать себя на будущее ни в Санкт-Петербурге, ни в Стокгольме. Надеясь на то, что ситуация каким-то образом разрешится сама собой, Франция то пылала к России нежными чувствами, то обдавала ее холодом. Людовик XV планировал помощь Швеции, вооружая турок, и поддерживал татар, борющихся с Украиной, а Елизавету заверял при всем при этом через своего посланника, что испытывает к «дочери Петра Великого» братски-благожелательные чувства.

Несмотря на все разочарования и обиды, нанесенные ей в прошлом отношениями с Парижем и Версалем, царица и на этот раз сдалась, уступила неотразимому обаянию странной нации, язык и дух которой не знали границ. Не в силах забыть, что чуть было не стала невестой того, с кем сейчас хотела бы подписать в правильной и надлежащей форме договор о союзничестве, Елизавета отказывалась верить в то, что этот вечный ее партнер, такой скорый на улыбку и такой ловкий, когда надо уклониться, может вести двойную игру. Однако полное доверие по отношению к посулам французов не мешало ей, впрочем, заявлять при каждом удобном случае, что никакая угроза, откуда бы она ни исходила, не заставит ее уступить хотя бы пядь русской земли, потому что, говорила Елизавета Петровна, завоевания отца ей «дороже собственной жизни». Она торопилась убедить в этом соседние государства точно так же, как убедила собственный народ. Ей казалось, будто коронация в Москве укрепит ее международный авторитет куда серьезнее, чем болтовня дипломатов. Назавтра после торжественной церковной службы в Кремле никто уже не осмелится ни оспаривать законность ее воцарения, ни пренебрегать ее властью. Чтобы придать церемонии еще больший вес, она решила привести туда племянника, который будет присутствовать при коронации в

качестве законного наследника императрицы Елизаветы I.

Петру-Ульриху только что исполнилось четырнадцать лет, следовательно, он уже в том возрасте, когда ребенок может понять огромное значение события, которое при нем так лихорадочно готовится.

Больше чем за месяц до начала московских празднеств по случаю коронации дворцы и посольства Санкт-Петербурга опустели. Точно так же, как это делалось всегда, все отправились в древнюю царскую столицу. Целая армия разнообразных экипажей двинулась по дорогам, которые вот-вот могло развезти: наступала весна. Говорили, что «армию» эту составляют, самое меньшее, тридцать тысяч пассажиров на двадцати тысячах лошадей, кроме которых в Москву двигались целые обозы из интендантских повозок, перевозивших с Севера в Центр посуду, постельные принадлежности, мебель, зеркала, продукты и одежду – как мужскую, так и женскую. Нужно было обеспечить гостей всем необходимым, в том числе и соответствующим гардеробом, на долгие недели бесконечных приемов, парадов, балов, спектаклей и прочих торжеств и увеселений.

11 марта Елизавета выехала из своей резиденции в Царском Селе, где решила отдохнуть, ведь впереди ее ждет множество треволнений, связанных с ее триумфальным восшествием на престол. Императрице приготовили специальную карету, оборудованную всеми мыслимыми удобствами, необходимыми для того, чтобы она наслаждалась путешествием, которое, как предполагалось, продлится около месяца, включая остановки. Свет в обитую зеленой тканью карету проникал через широкие застекленные окна по бокам. Экипаж был настолько просторным, что внутри можно было поставить и ломберный столик с сиденьями вокруг него, и диван, и печку, чтобы отапливать помещение. Везли этот дом на колесах двенадцать лошадей, еще дюжина бежала сзади: нужно было обеспечить скорую смену упряжки на остановках. По ночам путь царице освещало пламя, полыхавшее над сотнями бочек со смолой, равномерно расставленных вдоль дороги. При въезде в каждое село, даже самое маленькое, были воздвигнуты украшенные зеленью арки. Стоило приблизиться императорской карете, все население, выстроенное в соответствии с полом – с одной стороны мужчины, с другой женщины – и одетое в праздничные наряды, падало ниц и благословляло появившуюся царицу-матушку крестным знамением, криками во здравие и пожеланиями «многая лета». А когда карета проезжала мимо какого-либо монастыря, оттуда несся торжественный перезвон колоколов, а священники и монахи покидали свои кельи, чтобы вынести навстречу дщери

Петра Великого чудотворные иконы.

Повторения таких почестей со стороны народа уже не утомляли Елизавету: она видела в них теперь не более чем стандартную, но все-таки приятную поздравительную программу. Однако ей захотелось на несколько дней остановиться во Всесвятском, прежде чем продолжить путь, и ее торжественный въезд в Москву состоялся только на рассвете 17 апреля 1741 года. Над всем городом и над царским кортежем разносился колокольный звон. 23 апреля глашатаи на всех перекрестках города объявили о предстоящем короновании. Два дня спустя, под звуки артиллерийских залпов, по указаниям распорядителя торжества была образована процессия. Изо всех сил заигрывая с Францией, с которой, впрочем, никакой прочной связи никогда установить не удавалось, Елизавета Петровна решила, что заботу о том, чтобы придать празднеству по поводу ее коронации полный блеск и особенную элегантность, должен взять на себя француз по фамилии Рошамбо. Все и было сделано по его сценарию.

Елизавета появлялась на знаменитой кремлевской «Красной лестнице», которая вела от ее дворца к Успенскому собору – он находился по другую сторону площади, и медленно шла – величественная, торжественная, статная. Над нею несли балдахин. Двадцать пажей в белых, шитых золотом ливреях держали ее шлейф. Все губернии империи прислали на коронацию своих представителей. Они образовали многоцветный молчаливый эскорт, идущий за императрицей. Во главе процессии были князья церкви. Митрополит Амвросий, которому сослужил епископ псковский – Стефан, осеняли вошедшую в храм процессию крестными знамениями. Елизавету окропили святой водой, и, в облаке дымка, исходящего от кадил, она смиренно и достойно приняла священные атрибуты власти. Это был апофеоз всего действа – дальше литургия продолжалась согласно церковным обычаям. В точности такой же она была при коронации Петра Великого и Екатерины I, а в последний раз – одиннадцать лет назад – когда короновали печальной памяти Анну Иоанновну, виновницу отстранения от престола той единственной женщины, которая имела на российский престол все права, потому и заняла его сегодня.

После пышной церковной службы начались традиционные празднества. В течение восьми дней продолжались иллюминации, веселые застолья и раздача вина толпе, а знать в это время выбивалась из сил, бегая с бала на спектакль и с обеда на маскарад. Опьяненная атмосферой искренней сердечности по отношению к себе, Елизавета воздала еще кое-какие почести тем,

кто так верно ей служил. Александр Бутурлин, например, получил генеральский чин и должность губернатора Малороссии. Елизавета не обошла благодеяниями и родню, напомнив подданным, что, кроме племянника, у нее есть еще близкие по крови люди. Состоявших с нею в родстве по материнской линии простых крестьян Скавронских, Гендриковых, Ефимовских она превратила в графов и камергеров. Можно было подумать, будто императрица ищет оправдания своим увеселениям и потому старается сделать так, чтобы каждый в ее стране стал таким же счастливым, какой была она сама в этот великий день.

Однако надо сказать, что в Москве праздники с иллюминацией грозили пожарами, и вот в один прекрасный день Головинский дворец, где по приезде в Москву поселилась Ее Величество, был охвачен языками пламени. По счастью, сгорели только стены и мебель. Но не стоит думать, что эта нелепая случайность омрачила настроение Елизаветы или помешала продолжать праздники. Русские, если нужно сделать доброе дело, работают быстро, решила Елизавета. И действительно, спустя недолгое время новые стены встали на месте обгоревших. А пока спешно возводилось и обставлялось это здание, Елизавета перебралась в другое, сохраненное ею за собой на берегу Яузы, а потом и в третье свое владение – в село Покровское в пяти верстах от Москвы, принадлежавшее когда-то дяде Петра Великого. Здесь она принимала каждый день до девятисот гостей, которые пировали, танцевали и веселились чуть не до рассвета.

Театры тоже не пустели. Однако, пока придворные аплодировали опере «Милосердие Тита» немецкого композитора Иоганна-Адольфа Хассе или аллегорическому балету, иллюстрировавшему возвращение «Золотого века» в Россию, Ла Шетарди не мог принимать участие в общих развлечениях. Он только что с ужасом узнал, что одно из писем, адресованных министром иностранных дел его родины Амло де Шайу своему французскому посланнику в Турции, было перехвачено австрийской секретной службой. А там содержалась не только оскорбительная и несправедливая критика русской царицы, но и пророчества, гласившие, что Российской империи скоро придет конец, ибо она «не преминет впасть при первом же случае в полное ничтожество». Удрученный этой дипломатической оплошностью, Шетарди все-таки надеялся, что сумеет при помощи ловких ухищрений смягчить гнев и обиду императрицы. Но не тут-то было: Елизавету глубоко ранил поступок министра. Несмотря на вмешательство Лестока, который пытался защитить Францию, приводя в качестве аргумента преданность как Ла Шетарди, так и главного «виновника» – Амло, идее российско-

французского альянса, она отказалась участвовать в навязываемых ей предприятиях, видевшихся ей отныне чистой авантюрой, и отказала в доверии разом и послу, и государству, которое он представлял в России. Когда вконец расстроенный Ла Шетарди явился во дворец заявить о своей непричастности к недоразумению, которое он сам «с прискорбием осуждает» так же, как сама Елизавета, она заставила его два часа прождать в прихожей среди фрейлин, а потом объявила, выйдя из своих покоев, что не может принять его ни завтра, ни в последующие дни, и пусть он обращается отныне к ее министру иностранных дел, иными словами, к Алексею Бестужеву, потому что в переговорах с какими-либо странами «Россия, месье, не нуждается ни в каких иных посредниках!»

Отчитанный по всем правилам Ла Шетарди, тем не менее, сохранил надежду на примирение и принялся протестовать, писать своему правительству, умолять Лестока еще разок посодействовать. Разве Ее Величество больше не прислушивается к своему лейб-медику как к врачу и как к советнику? Разве он лишился ее доверия? Как бы там ни было, но если лекарства, прописанные Лестоком, порой казались Елизавете Петровне эффективными при легких недомоганиях, от политических его выступлений толку не было никакого. Словно ослепнув и оглохнув от обиды, Елизавета замкнулась и не желала ничего знать. И все, чего Ла Шетарди удалось от нее добиться после долгих хлопот и многочисленных прошений, это согласие на частную аудиенцию. Он явился к Елизавете с желанием все искупить словами и улыбками, но натолкнулся на ледяную статую, облившую его презрением. Елизавета объявила маркизу, что подтверждает свое намерение порвать все связи с Версалем, сохраняя, естественно, уважение и дружеское расположение к стране, не сумевшей воспользоваться ее любовью к французской культуре. Ла Шетарди удалился с пустыми руками и тяжелым сердцем.

Тяжелую личную ситуацию посла усугубила происшедшая в это же самое время резкая и внезапная перемена взглядов Фридриха II: он внезапно отвернулся от Франции и сблизился с Австрией. В новой обстановке Шетарди больше не мог рассчитывать на прусского посланника Мардефельда как на своего союзника в главном деле: теперь, справедливо полагал француз, он не получит поддержки в новой попытке заключить франко-русский пакт.

Ла Шетарди пришел в отчаяние. Но тут ему пришла в голову идея: а что, если отдать курляндский трон, освободившийся в прошлом году в связи с немилостью к Бирону и его ссылкой,

лицу, близкому Франции, ну, например, Морицу Саксонскому? Можно даже попробовать – тут, на берегах Невы, в стране безумцев и поэтов, чудеса всегда возможны! – предложить этому последнему попросить руки Елизаветы… Если благодаря вмешательству французского посланника русская императрица выйдет замуж за самого блестящего из военачальников, находящихся на службе у Франции, вчерашние мелкие унижения можно было бы и позабыть… Все проблемы исчезнут… Политический союз между двумя странами дополнится союзом двух сердец и станет практически неуязвимым. Кроме того, подобный брак предоставит возможность для беспрецедентного триумфа дипломата, ускорит его карьеру, обеспечит мир во всем мире.

Твердо решив поставить все на эту карту, Ла Шетарди обратился к Морицу Саксонскому, который несколько месяцев тому назад во главе одной из французских армий победителем вошел в Прагу, и, не раскрывая перед ним всех планов, стал настаивать на том, чтобы граф как можно скорее отправился в Москву, где – Шетарди это точно знает! – царица будет счастлива принять его.

Польщенный столь заманчивым, да и почетным приглашением Мориц Саксонский, естественно, не стал отказываться. Чуть позже он прибыл в Москву, еще лучащийся счастьем от своих воинских достижений. Елизавета, которая уже давно догадалась об истинном смысле столь неожиданного визита, забавлялась этим наполовину галантным, наполовину политическим свиданием, придуманным неисправимым французским посланником. Мориц Саксонский был красивым мужчиной и отличным собеседником, да и вообще ее просто очаровывал этот запоздалый претендент на ее руку и сердце, этот козырь, в последнюю секунду вынутый Шетарди из-за обшлага. Она танцевала с графом, часами болтала с ним наедине, она – в мужской одежде – гарцевала бок о бок с ним на улицах города, любовалась, стоя рядом с ним, фейерверками, томно вздыхала, глядя на луну из окон дворца, но как тот, так и другая ни в малейшей степени не намеревались выразить чувства, которые могли бы навеки объединить их. Просто – раз уж в потоке повседневности выпал им такой случай отдохнуть, предаться приятной игре во флирт, прекрасно сознавая, что эти вздохи, эти улыбки, эти взгляды и эти комплименты ни к чему не приведут в будущем, – как было не воспользоваться таким случаем? Ла Шетарди попусту дул на угасшие угольях – пламя из искр не вспыхивало. Несколько недель любовного поединка – и вот уже Мориц Саксонский возвращается к своей армии, о которой

говорят, что она, дезорганизованная и изнуренная, готова вот-вот покинуть Прагу.

С дороги, куда повлекла его судьба воина на службе у Франции, он писал Елизавете любовные письма, воспевая ее красоту, ее величие и ее очарование, припоминая «особенно удавшийся вечер», некое «белое муаровое платье», некий ужин, когда он хмелел не от вина, ночные верховые прогулки вокруг Кремля… Она читала, она была растрогана и немножко сожалела о том, что осталась одна: одна – после восторгов этого как бы обручения! Бестужеву, который советовал Елизавете подписать союзный договор с Англией, страной, на взгляд императрицы, повинной в том, что слишком часто проявляла враждебность к политике Версаля, императрица отвечала, что никогда не станет врагом Франции, «ибо слишком многим ей обязана!». О ком думала она, произнося эту разоблачавшую ее тайные мысли и чувства фразу? О Людовике XV, которого никогда не видела, невестой которого была по чистой и несчастной случайности, Людовике, который так часто обманывал ее доверие? Или – об интригане Ла Шетарди, готовом – и он тоже! – вот-вот ее оставить? Или о своей безвестной канувшей в Лету гувернантке мадам Латур, которая обучала юную цесаревну Елизавету тонкостям французского языка? Или о Морице Саксонском, который писал ей такие нежные письма, хотя… известно ведь: «на языке – мед, на сердце – лед»?..

Ла Шетарди, отозванный правительством Франции, готовился к прощальной аудиенции, но Елизавета внезапно пригласила его сопровождать ее в паломничестве в Троице-Сергиеву Лавру, что неподалеку от Москвы. Обрадованный и польщенный возвратом милости к себе, французский посланник отправился во дворец, чтобы оттуда вместе с Елизаветой двинуться к этой святыне Православия. А потом, со всеми удобствами расположившись среди свиты, ни на шаг не отходил от царицы в течение недели. На самом деле Елизавета была в восторге от такого скромного «компаньона». Она таскала его за собой как по церквям, так и по гостиным. И придворные уже начали перешептываться о том, что «французик», дескать, похоже, становится преемником Морица Саксонского в постели императрицы.

Однако по возвращении Елизаветы и ее маленькой свиты в Санкт-Петербург Ла Шетарди должен был признать, что и эта игра им проиграна. Рано радовался! Собравшись с духом после того, как дала волю своим чисто женским заблуждениям, Елизавета снова заговорила с французским посланником сдержанно, если не холодно, словно бы забыв о недавних событиях. Она – раз за разом – назначала ему свидания, но не

являлась на них, а однажды, когда Шетарди имел неосторожность пожаловаться ей на Бестужева, чья ненависть к Франции, как казалось дипломату, стала уже у него навязчивой идеей, несколькими резкими словами мгновенно поставила нахала на место: «У нас не обвиняют людей, не доказав их преступления!» Тем не менее, накануне отъезда Ла Шетарди Елизавета пожаловала ему табакерку, усыпанную бриллиантами, со своим миниатюрным портретом на крышке.

Назавтра после вынужденного расставания с этим человеком, который то очаровывал, то раздражал ее, императрица почувствовала такую грусть, словно потеряла лучшего друга. И, едва француз – в первый раз на долгом пути на родину – сделал остановку, к нему явился гонец от Елизаветы. Этот человек протянул ему письмо от царицы, где было всего несколько слов: «Францию никогда не вырвать из моего сердца!»

Правда, похоже на крик брошенной любовницы? Но – к кому обращенный? К послу? К королю? К самой Франции? Нет, она и сама не способна была разобраться в своих чувствах. В отличие от своих подданных, которым дано было право предаваться грезам, Елизавета была лишена такого права, более того – на него был наложен запрет. В очередной раз покинутая человеком, чью важную роль в своей жизни она всегда отрицала, Елизавета должна была отказывать себе в печали, чтобы вернуться к реальности и вернуться к роли императрицы, забыв о том, что она – женщина.

7 ноября 1742 года Елизавета обнародует манифест, торжественно объявлявший о том, что Карлу-Петру-Ульриху Голштин-Готторпскому присвоен титул великого князя и теперь он является официальным наследником престола, Его Императорским Высочеством с русским именем Петр Федорович. По тому же случаю царица подтвердила свое намерение не выходить замуж. Нет, одинокая жизнь не была ее призванием, как бы Елизавета ни убеждала себя в этом! На самом деле она опасалась, выйдя замуж за человека ниже ее по званию или за чужеземца, даже если он будет иностранным принцем, разочаровать не только своих *лейбкомпанцев*, но и весь русский народ, верный памяти ее отца, Петра Великого. Потому, чтобы остаться достойной той роли, которую она согласилась играть, нужно отказаться от всякого официального, благословленного Церковью союза и по-прежнему соответствовать образу «царь-девицы», «царственной девственницы», уже вошедшему в российские предания.

Было у Елизаветы и еще одно опасение, уже впрямую с ней не связанное. А вдруг подросток, которого она избрала

престолонаследником и окрестила православным именем Петр Федорович, вдруг этот мальчик, у которого в жилах совсем немного русской крови, так и не сможет или не захочет забыть свою настоящую родину? Ведь действительно – несмотря на все усилия учителя Симона Тодорского – инстинкт постоянно возвращал великого князя к его корням. И неудивительно: все, что он видел вокруг, только побуждало подростка сохранять в душе культ его родной Германии. Его поддерживало в этом само состояние и вид общества, улиц, лавок Санкт-Петербурга… Ему достаточно было оглядеться – и он замечал, что большинство людей на площадях города, во дворцах и в министерствах куда свободнее говорит по-немецки, чем по-русски. Многие лавки роскошного Невского проспекта были немецкими, с написанными по-немецки вывесками. В столице было несколько лютеранских храмов. Когда Петр Федорович оказался во время прогулки у караульного поста одной из казарм, дежурный офицер, которого он стал расспрашивать, часто отвечал ему по-немецки. Услышав звуки родной речи, Петр сразу же пожалел о том, что его спровадили в этот город, который – пусть и красив! – все же куда меньше дорог ему, чем самый захудалый поселок Шлезвиг-Голштейна. Реакцией на принуждение акклиматизироваться в России у мальчика стало отвращение к русским словам, к русской грамматике, к русским обычаям. Еще немного – и он просто стал бы страшно злиться на Россию за то, что она недостаточно онемечена. Не случайно же он говорил всякому, кто пожелал это услышать: «Я рожден не для русских, я их не устраиваю!» Заводя друзей среди заядлых германофилов, Петр Федорович постепенно выстроил вокруг себя собственную маленькую «родину» – она утешала его посреди этой большой страны, этой чужой родины. Окруженный узким кругом симпатизировавших ему людей, подросток претендовал на то, чтобы жить с ними в России так, будто их миссия – колонизировать эту отсталую и непросвещенную страну.

Елизавета же, с ощущением полной беспомощности наблюдавшая за проявлениями подобной навязчивой идеи у этого мальчика, которого она решила, как вырванное с корнями растение, пересадить в другую, совершенно чужую и чуждую ему почву, с тоской думала о том, что и абсолютная в принципе власть государя обретает пределы, стоит встать вопросу о формировании мятежной души. Уверенная, что делает все только для всеобщего блага, она с тревогой спрашивала себя, не сотворила ли самой большой в жизни ошибки, доверив будущее империи Петра Великого князю, который столь явно ненавидит Россию и русских.

VIII. Труды и радости самодержицы

Самой большой проблемой для Елизаветы было жить в свое удовольствие, не слишком пренебрегая при этом интересами России. Так трудно оказалось поддерживать это хрупкое равновесие в мире, где обмен чувствами происходит по тем же правилам, что и обмен товарами, где то и другое взвешивают на одних весах. Иногда она задумывалась, не должна ли была, столкнувшись с упрямством Людовика XV, не желавшего протянуть ей руку, последовать примеру племянника и искать дружбы Пруссии, которая, кажется, способна лучше ее понять. Хотя «приемному сыну» еще не исполнилось и пятнадцати лет, императрица возмечтала найти ему невесту – если не полностью немку, то хотя бы родившуюся и воспитанную на землях Фридриха II. Впрочем, в то же самое время она не потеряла надежды на возобновление добрых отношений с Версалем и, отправляя туда своего посланника Кантемира, просила того сказать королю по секрету, что она сожалеет об отъезде маркиза де Ла Шетарди и была бы счастлива снова увидеть его при дворе. Ла Шетарди в России тогда уже сменил полномочный министр господин д'Юссон д'Аллион, чопорный и педантично точный человек, к которому императрица не испытывала ни симпатии, ни почтения.

Французы продолжали разочаровывать Елизавету, и она утешалась тем, что, на свой лад, подражала моде той страны, которой восхищалась, несмотря на то, как себя проявляли ее официальные представители. Увлечение Францией выражалось в бурной страсти к нарядам, драгоценностям, безделушкам, манере говорить, носившим отпечаток «парижского». В посвященной дочери Петра Великого книге Казимира Валишевского так рассказывается об этом:

«Всяким модам свойственно подвергаться преувеличению, переступая через границы. У Елизаветы страсть к нарядам и к уходу за своей красотой граничила с безумием. Долгое время вынужденная стеснять себя в этом отношении по экономическим соображениям, она со дня восшествия своего на престол не надела два раза одно и то же платье. Танцуя до упаду и подвергаясь сильной испарине, вследствие преждевременной полноты, она иногда три раза меняла платье во время одного бала. В 1753 году, при пожаре одного из ее московских дворцов, сгорело четыре тысячи платьев; однако после ее смерти осталось их еще пятнадцать тысяч в ее гардеробах и два сундука, наполненных шелковыми чулками, тысячами пар туфель и более

чем сотней кусков французских материй. Она поджидала прибытия французских кораблей в С. -Петербургский порт и приказывала немедленно покупать новинки, прежде чем другие их увидели. Английский посланник лорд Гилфорд сам хлопотал о доставке императрице ценных тканей. Она любила белые и светлые материи, затканные золотыми или серебряными цветами. Бехтвен, посланный в 1760 г. в Париж для возобновления дипломатических сношений между обоими дворами, вместе с тем добросовестно тратил свое время на выбор шелковых чулок нового образца…

Гардероб императрицы вмещал и собрание мужских костюмов. Она унаследовала от отца его любовь к переодеваниям. Через три месяца после своего прибытия в Москву на коронацию она успела, по свидетельству Ботта, надеть костюмы всех стран в мире».

Мужской костюм ей нравилось надевать, потому что она считала, что в нем легче удивить окружающих округлостью икр и изяществом лодыжек. У нее были красивые ноги: ее уверяли в этом и – уверили.

Два раза в неделю во дворце устраивались маскарады. Ее Величество участвовала в них, перерядившись то в казачьего гетмана, то в мушкетера времен Людовика XIII, то в голландского моряка. Считая, что в мужском наряде она неотразима, а ее соперницам из тех, кого она приглашала обычно, такой костюм не к лицу и не по фигуре, Елизавета учредила костюмированные балы, на которые, по ее приказу, женщины являлись во фраках и штанах на французский манер, а мужчины в платьях с фижмами.

Ревностно следившая за тем, чтобы ни одна из представительниц прекрасного пола не могла превзойти ее в красоте, императрица совершенно не выносила конкуренции ни в нарядах, ни в обилии и качестве украшений. «Никто не смел носить платьев и прически нового фасона, пока она их не оставляла; но ввиду того, что она меняла их ежедневно, а иногда и ежечасно, придворные дамы не слишком отставали от моды».

Как-то Елизавета решила появиться на балу с розой в волосах. И надо же случиться, что Наталья Лопухина, и без того славившаяся красотой и имевшая в связи с этим большой успех в свете, тоже воткнула в прическу розу, да еще на самой вершине башни из роскошных волос. Елизавета была, мало сказать, возмущена. Такое совпадение не может быть случайным! Нет, это попытка оскорбить, унизить Ее Императорское Величество! Это пощечина царской чести! Остановив оркестр в разгаре бала, взбешенная царица заставила Лопухину встать на колени, велела подать ножницы, собственной рукой срезала злополучный цветок

вместе с прядью волос гостьи – да так рванула эту прядь, что тщательно уложенные волосы рассыпались по плечам. Покончив с розой, царица наградила несчастную увесистыми оплеухами, ударив ту по обеим щекам, и только после этого дала знак музыкантам продолжать танец и вернулась к прерванному ради экзекуции менуэту.

Когда танец закончился, кто-то шепнул Елизавете на ушко, что мадам Лопухина упала в обморок, не в силах снести стыда. Пожав плечами, царица в ответ процедила сквозь зубы: «Ништо ей, дуре! Сама заслужила!», – и, совершив свою мелкую женскую месть, снова стала, как всегда, веселой и безмятежной. Теперь в ней просто не узнать было ту, что несколько минут назад бесновалась посреди зала, можно было подумать, что все это делал кто-то другой…

«С того дня, – пишет К. Валишевский, – Лопухина была намечена Елизаветой для руки палача, которой и не избежала».

И еще на эту тему. Интересные подробности о характере Елизаветы Петровны приводит в своих воспоминаниях о ней Екатерина Великая, которая оставила нам рассказ о том, «…как в Софьине, в окрестностях Москвы, куда Елизавета поехала на охоту в 1750 году, она стала журить своего управляющего за малочисленность зайцев. После того как управляющий получил от нее нахлобучку, она обрушилась на другие жертвы…» И тут ее гневные взоры упали на Екатерину, сопровождавшую ее. «Она постепенно к тому подходила, и слова ее лились потоком». Она «никогда бы не вздумала надеть дорогое и тонкое платье на охоту». И она сердитым взглядом окидывала лиловое платье, вышитое серебром, в котором та, что его надела, охотно убежала бы вместе с зайцами.

Думая положить конец этой сцене, придворный шут, Аксаков, – последний, если не ошибаюсь, при русском дворе – вздумал показать Елизавете в своей шапке только что пойманного им дикобраза. Она пронзительно вскрикнула, увидя в нем сходство с мышью, убежала в свою палатку, где в сердцах обедала одна; а на следующий день (о чем Екатерина не упомянула, рассказывая эту сцену) Аксаков был взят в тайную канцелярию, т. е. его пытали за то, что он «напугал ее величество».

Бранясь, Елизавета ориентировалась на Лестока, который, как говорили, «исчерпывал самый грубый словарь как немецкого конюха, так и русского мужика».

Склонность к неуместным и несвоевременным (не говоря уж о беспричинности их!) наказаниям уживалась в императрице со спонтанными приливами набожности. Каяться она начинала столь же внезапно, как выходить из себя. Выстаивала целыми

часами на церковных службах, скрупулезно соблюдала дни постов, иногда даже падая в обморок после того, как вставала из-за стола, не взяв в рот и маковой росинки. Зато наутро она старалась «наверстать упущенное» – и это заканчивалось несварением желудка. Все, абсолютно все в ее поведении поражало излишествами и неожиданностями. Ей в одинаковой степени нравилось заставать врасплох других и обнаруживать что-то новенькое в себе самой. Необузданная, неряшливая, своенравная, если и образованная – то едва наполовину, пренебрегающая расписанием трудов и досуга, которое сама же и составила, столь же быстрая в наказании, сколь и в прощении, фамильярная с низшими и надменная с высшими, без колебаний отправляющаяся на кухню только ради того, чтобы вдохнуть аромат готовящихся там блюд, то гомерически хохочущая, то – практически тут же! – плачущая навзрыд, она производила на ближних впечатление хозяйки дома при старом режиме, в которой любовь к французским побрякушкам не заглушила святой простоты славянской души.

В эпоху Петра Великого приближенные ко двору страдали от необходимости посещать «ассамблеи», задуманные Петром, как он полагал, для того, чтобы приучить подданных соблюдать западные обычаи, а на деле превратившиеся в скучные собрания неотесанных аристократов, приговоренных Реформатором к повиновению, раболепствию, сокрытию своих истинных мыслей и чувств. При Анне Иоанновне эти ассамблеи стали источником беспорядков и интриг. Под маской куртуазности здесь царил глухой ужас. Тень демонического Бирона витала за придворной сценой. А вот теперь правительница, помешанная на нарядах, танцах и играх, призывала посещать ее салон, чтобы там забавляться. Конечно, время от времени и тут царственная хозяйка обрушивалась на гостей в приступе внезапного гнева или вынуждала их к каким-нибудь странным, на их взгляд, новациям. Но все приглашенные сходились в одном: в признательности императрице за то, что впервые смогли ощутить во дворце атмосферу, в которой смешались русское хлебосольство и парижская элегантность. Посещения святая святых монархии из протокольных визитов превратились, наконец, в возможность развлекаться в приятном обществе.

Но всего этого Елизавете казалось мало. Она не только устраивала «ассамблеи на новый манер» в своих многочисленных резиденциях, но и заставляла представителей самых знатных фамилий империи давать поочередно костюмированные балы под их собственной кровлей. Обучал весь двор тонкостям менуэта француз-балетмейстер Ланде, в конце концов объявивший, что

нигде не исполняют этот танец так выразительно и так благопристойно, как – под его, конечно же, руководством – на берегах Невы.

Собирались во дворцах и в роскошных особняках в шесть часов вечера. Танцевали и играли в карты до десяти. Затем императрица, окруженная немногими привилегированными особами, отправлялась к столу – ужинать. Они ели сидя, в то время как остальные толпились вокруг, расталкивая друг друга или теснясь как сельди в бочке. Стоило Ее Величеству проглотить последний кусочек, возобновлялись танцы, и длились они до двух часов ночи. Чтобы угодить героине торжества, ужины давали обильные, плотные и утонченные одновременно. Ее Величество была охоча до французской кухни, которая и торжествовала, благодаря придворным поварам – сначала Фурне, затем эльзасцу Фуксу, – когда устраивались эти грандиозные ужины, обходившиеся казне в восемьсот рублей в год.

Восхищение Елизаветы Петровны отцом, Петром Великим, все же не доходило до того, чтобы привести ее к подражанию его чудовищным обжираловкам и его фантастическим пьянкам. Однако именно отцу она обязана пристрастием к грубой отечественной пище. Любимыми блюдами императрицы, помимо тех изысканных, что подавали на званых ужинах, были блины, кулебяки и гречневая каша. На торжественных банкетах *Лейб-компании*, на которых она присутствовала в полковничьем мундире (все та же страсть к переодеванию в мужской костюм!), Елизавета сама подавала знак к началу пиршества, опустошая залпом стакан водки.

Чересчур обильная пища и склонность к алкоголю вызвали у Ее Величества преждевременную полноту и неестественный румянец, а цветом лица императрица дорожила куда больше, чем тонкостью талии. «Красота и здоровье Елизаветы пострадали в особенности от постоянных бессонных ночей, – пишет Казимир Валишевский. – Она редко ложилась спать до рассвета и, даже лежа в постели, старалась отгонять от себя сон, и делала это не только ради своего удовольствия или удобства. Она знала, какие неожиданности готовила иногда властителям ночь, проведенная во сне. И в те часы, когда Бирон и Анна Леопольдовна пережили ужасное пробуждение, Елизавета, окруженная в своем алькове полудюжиной женщин, разговаривавших вполголоса и тихонько чесавших ей пятки, превращалась в восточную императрицу из „Тысячи и одной ночи“ и оставалась в полном сознании и начеку до самого рассвета.

Эти чесальщицы составляли целый штат, и многие женщины стремились к нему принадлежать; при этих ночных беседах

нередко удавалось шепнуть в державное ухо словцо, даром не пропадавшее, и тем оказывать щедро оплачиваемые услуги. Так, в конце царствования среди чесальщиц числилась родная сестра фаворита, Елизавета Ивановна Шувалова. И влияние ее было настолько сильно, что один современник называет ее „настоящим министром иностранных дел“. В 1760 году маркиз Лопиталь обеспокоился ролью, которую стала играть другая чесальщица, по слухам, любившая деньги и принимавшая их от Кейта, английского посланника. Дипломатическому корпусу приходилось поочередно опасаться враждебности или добиваться благожелательности жены Петра Шувалова, Мавры Егоровны, рожденной Шепелевой, женщины „с тонким и злобным умом“, как характеризует ее Мардефельд, или считаться „с корыстными наклонностями“ Марии Богдановны Головиной, вдовы адмирала Ивана Михайловича, которую сама Елизавета прозвала за ее злобу *Хлоп-бабой.*

Но и те и другие встречали среди своих пересудов и интриг строгого контролера в лице бывшего истопника, Василия Ивановича Чулкова, произведенного в камергеры и исполнявшего особо интимные обязанности. Будучи непоколебимо верен Елизавете, он считался присяжным стражем императорского алькова. Каждый вечер он появлялся с матрацем и двумя подушками и проводил ночь на полу у постели Елизаветы. К концу царствования он был награжден орденом Св. Александра Невского, стал генерал-лейтенантом и женился на княжне Мещерской, не оставив, однако, своей должности. Будучи положительно неподкупным, он часто останавливал сплетниц, говоря: „Врете! Это подло!“ На рассвете чесальщицы удалялись, уступая место Разумовскому, Шувалову или иному временному избраннику, но Чулков оставался. В двенадцать часов дня Елизавета вставала, и нередко сторож ее еще крепко спал. Она тогда будила его, вытаскивая у него подушки из-под головы или щекоча под мышками, а он, приподнимаясь, фамильярно целовал плечо государыни, называя ее „своей дорогой белой лебедушкой“. Так, по крайней мере, рассказывает предание, за достоверность которого я не ручаюсь».

Легкий в общении, покладистый и неистребимый Алексей Разумовский – наиболее усердный и удостоенный наибольших почестей – получил у приближенных к императрице лиц прозвище «ночного императора». Постоянно его обманывая, Елизавета, тем не менее, не могла с ним расстаться. Только в его объятиях она чувствовала себя сразу и служанкой, и госпожой. Когда она слышала отзвуки низкого голоса этого бывшего певчего императорской капеллы, ей чудилось, что это призывает ее из

своих глубин сама Россия. У Разумовского был сильный украинский акцент, он говорил только о самых простых вещах и, что большая редкость в царском окружении, никогда ничего не просил для себя самого, хотя и согласился на то, чтобы его мать, Наталья Демьяновна, разделила с сыном те блага, которые были предназначены ему самому. Благодаря щедрости сына Наталья Демьяновна, овдовев, смогла открыть корчму и жить отныне в довольстве. Он опасался контакта двора с простой, привыкшей к бедности и скромному поведению женщиной, и был прав. Когда Наталья Демьяновна должна была первый раз явиться в царский дворец, ее визит восприняли как событие. Бедняжке было приказано заранее, чтобы наряд соответствовал ее положению и обстоятельствам.

«Она (Елизавета. – *Прим. перев.*) пожелала, чтобы родные фаворита разделили с ним его почести и великолепие, и Наталья Демьяновна была приглашена в Москву, – пишет Казимир Валишевский. – Можно себе представить переполох, поднявшийся в Лемешах, когда у двери скромной Разумихи появился блестящий экипаж. Старушка разложила на полу присланную ей соболью шубу, выпила по стаканчику водки с соседками, чтоб „погладить дорожку, чтоб ровна была“, и села в карету с дочерьми. Она не признала сына в блестящем вельможе, вышедшем ей навстречу, и Алексей Григорьевич показал ей для большей убедительности знакомую ей отметину на теле.

Разодетая по последней моде, напудренная, причесанная, нарумяненная для своего представления при дворе, она упала на колени перед первым попавшимся зеркалом: увидев свое отражение в нем, она подумала, что видит самое императрицу. Елизавета встретила ее самым нежным образом. „Благословенно чрево твое!“ – воскликнула она в порыве чувства. Но, будучи назначена статс-дамой и получив помещение во дворце, Разумиха вернулась к своей простой одежде и заскучала по Лемешам».

Алексей Разумовский прекрасно понимал, как Разумиха, женщина совсем простая, напугана таким быстрым возвышением при дворе. Более того, разделял чувства матери. Что касается Натальи Демьяновны, то он настаивал, чтобы ей не воздавали тех почестей, до которых окружавшие ее люди были так охочи, а сам – несмотря на высокое положение и богатство – отказывался верить, что достоин свалившегося на него счастья. Чем больше росло его влияние на Елизавету, тем реже он хотел вмешиваться в политику. Но это не только не вредило ему, а, наоборот, усиливало доверие, которое питала к Разумовскому его царственная любовница. Она повсюду брала его с собой, она гордилась этим спутником, у которого не было иных титулов и

званий, способных вызвать почтение к нему у народа, кроме тех, какими наградила фаворита сама же Елизавета Петровна. Выставляя Разумовского напоказ, она выставляла тем самым *свое собственное* творение, отдавала на суд современников *свою собственную* Россию. И он был бы ей просто жизнью обязан, если бы Елизавета не мечтала о дальнейших успехах своего фаворита в суетном светском обществе. Но в то время как он казался равнодушным, если не с пренебрежением относился к любым официальным наградам, она радовалась – столько же за него, сколько и за себя, – когда в 1744 году сделавшим его потомком княжеского рода указом Карла V Алексей был пожалован в графы Священной Империи. А он «первым обратил в шутку эту фантастическую генеалогию», ибо сам «не забывал своего скромного происхождения и не старался, чтобы о нем забыли и другие… Произведенный в фельдмаршалы в 1757 году, он благодарил государыню, говоря: „Лиза, ты можешь сделать из меня что хочешь, но ты никогда не заставишь других считаться со мной серьезно, хотя бы как с простым поручиком“».

Всякий раз, когда в минуты близости Разумовский называл императрицу Лизой, она благодарила и еще в большей степени чувствовала себя самодержавной государыней. Вскоре он стал для всех придворных не просто «ночным императором», а принцем-консортом, таким же законным, как если бы его союз с Елизаветой был освящен Церковью. Впрочем, тогда уже в течение нескольких месяцев ходили слухи, что царица в великой тайне сочеталась браком в маленькой церкви села Перово, что поблизости от Москвы. Новобрачных соединил отец Дубянский, духовник Елизаветы, естественно, посвященный в ее секреты и тайные мысли. Никто из придворных не присутствовал на этом тайном обряде. Ничего не переменилось в отношениях императрицы и ее фаворита. Если Елизавета хотела выйти замуж тайком от всех, то просто-напросто потому, что она была намерена как бы *подружиться* с Богом, стать с Ним на короткой ноге, заручившись таким образом Его поддержкой. Распутная, жестокая, необузданная, вспыльчивая, она больше других нуждалась в присутствии Высших Сил как в повседневной жизни, так и при исполнении царских обязанностей. Такая иллюзия согласия со сверхъестественным помогала поддерживать в равновесии свойственные ей многочисленные противоречия, которые, с одной стороны, возбуждали Елизавету, но с другой – надламывали.

Отныне Разумовский являлся к супруге днем и ночью: раз получено благословение Церкви – какая тут вина и какие могут быть церемонии! Новая ситуация должна была побудить их обоих

к обмену мнениями по поводу политической жизни с такими же доверием и непосредственностью, как они обменивались ласками. Но Разумовский все-таки еще медлил с тем, чтобы оставить позицию нейтралитета в этом вопросе. Но если он никогда не навязывал своей воли Елизавете в важных решениях, которые ей предстояло принять, то она была очень внимательна к любым его истинным пристрастиям. Ведомый крестьянским инстинктом, Алексей Григорьевич в целом поддерживал националистические идеи канцлера Бестужева. Впрочем, из-за того, что в ту эпоху государственные интересы менялись с такой скоростью – те воевали, эти готовились к войне, а поиски союзников были главным занятием для канцлеров всех стран, – было крайне трудно разобраться в европейской политической головоломке. Единственное, что было ясно: война между Россией и Швецией, опрометчиво развязанная во времена регентства Анны Леопольдовны в 1741 году, подходила к концу. После одержанных под руководством генералов Ласси и Кейта многочисленных побед над шведами можно было подписать мирное соглашение между двумя государствами. И оно было подписано 8 августа 1743 года в городе Або. По условиям Абоского договора, Россия вернула несколько завоеванных ею раньше территорий, сохранив за собой большую часть Финляндии. Покончив с разногласиями, отделавшись окончательно от стокгольмских поджигателей войны, Елизавета могла надеяться, что Франция покажет себя теперь менее враждебной по отношению к союзу с ней. Но в интервале Санкт-Петербург заключил пакт о дружбе с Берлином, что сильно не понравилось Версалю. И потому нынче пришлось снова использовать любые средства, чтобы умерить подозрительность, и по-прежнему раздавать обещания.

Именно в этот момент разразилась беда, к которой ни Бестужев, ни Елизавета готовы не были: в середине лета в Санкт-Петербурге заговорили о заговоре, в который, по наущению австрийского посланника Ботта д'Адорно, верхушка дворянства мечтала вовлечь многих своих представителей. Целью заговора было свергнуть Елизавету Первую с престола. Эта не имевшая ни стыда, ни совести компания вознамерилась – не более, но и не менее – предложить российский трон Брауншвейгской фамилии, объединившейся вокруг маленького Иоанна VI. Едва эти слухи достигли ушей Елизаветы Петровны, она отдала приказ арестовать бесстыдного наглеца Ботта д'Адорно. Но дипломат, почуяв опасность, успел сбежать из России, и говорили, что он движется по дороге на Берлин в направлении Австрии. Он-то смог улизнуть, зато ведь его русские союзники на месте. Все, наиболее

себя из них скомпрометировавшие, связаны – кто более близким, кто отдаленным – родством с кланом Лопухиных. Елизавета еще не забыла, как в разгар танцев отхлестала по щекам Наталью Лопухину за то, что та посмела явиться на бал с розой в прическе, точь-в-точь, как у нее самой. Кроме того, эта женщина была любовницей гофмаршала Левенвольде, ранее сосланного в ссылку. Две причины для того, чтобы Ее Величество не жаловала соперницу. Но некоторые заговорщики были ей еще более ненавистны. В первых рядах обвиняемых императрица поставила жену Михаила Бестужева, урожденную Головкину, сестру бывшего вице-канцлера, невестку ныне действующего канцлера Алексея Бестужева и вдову одного из ближайших сотрудников Петра Великого – Ягужинского.

Ожидая, пока закончатся аресты и судебный процесс по делу заговорщиков, Елизавета не теряла надежды на то, что Австрия сурово накажет своего посланника. Но если король Фридрих II прогнал Ботта, едва тот ступил на землю столицы Пруссии, то императрица Мария-Терезия, встретившая дипломата в Вене, ограничилась порицанием Ботта. Разочарованная сдержанным поведением двух иностранных монархов, которых русская императрица считала более твердыми в монархических убеждениях, она отомстила, приказав заключить царственную чету герцогов Брауншвейгских и их сына, маленького Иоанна VI, в приморской крепости Дунамунде, что на реке Дуне, где за ними было удобнее следить из Риги. Она мечтала также отделаться от Алексея Бестужева, семья которого так себя скомпрометировала. Позже, вероятно, убежденная советами Разумовского – сторонника умеренности в улаживании общественных дел, она оставила канцлера на своем посту.

Тем не менее, вспыхнувший снова гнев надо было утолить, значит, нужны были жертвы. Поэтому государыня перенесла всю тяжесть обвинений на госпожу Лопухину, ее сына Ивана и некоторых ее близких. Теперь императрица требовала для Натальи Лопухиной в качестве наказания не пощечину, даже не две, а чудовищные пытки. Та же судьба ожидала ее сообщников. Под кнутом, зажатые в колодки, обожженные накаленным добела железом, корчась от боли, Наталья Лопухина, ее сын Иван и госпожа Бестужева повторяли измышления Ботта. И, несмотря на вещественные улики, чрезвычайный трибунал, состоявший из нескольких сенаторов и трех представителей духовенства, приговорил всех обвиняемых к колесованию, четвертованию и обезглавливанию. Такой беспримерно жестокий приговор дарил Елизавете возможность – во время одного из балов – принять решение: она сохранит жизнь несчастным, которые решились

организовать заговор, направленный против нее, и ограничится публичным им «уроком». Когда было объявлено о таком из ряда вон выходящем милосердии, вся ассамблея хором стала превозносить ангельскую доброту Ее Величества.

31 августа 1743 года перед зданием двенадцати коллегий был сооружен эшафот. При огромном стечении глазевших на представление зевак палач грубо сдернул с госпожи Бестужевой одежду. Поскольку перед началом пытки у нее хватило времени на то, чтобы незаметно сунуть ему драгоценность в виде креста, он довольствовался тем, что лишь прикасался кнутом к ее спине и только проводил острием ножа по кончику языка, не сдирая кожи. Она переносила обманные удары и якобы нанесенные раны с достоинством героини. Наталья Лопухина, у которой была не такая крепкая нервная система, когда с нее попытались сорвать одежду, стала отчаянно сопротивляться. Толпа онемела от изумления, увидев внезапно открывшуюся ей наготу этой женщины, которую унижение делало еще прекраснее. Затем некоторые из любопытных, желая продолжения зрелища, прямо-таки заревели от нетерпения. Объятая паникой перед лицом, как ей казалось, все возраставшей к ней ненависти, несчастная попыталась вырваться из рук мучителей, стала браниться и укусила руку палача. Тот просто взбесился: сдавил ей шею, силой заставив разомкнуть челюсти, взмахнул острым ножом и – через минуту уже показывал развеселившейся толпе кусок окровавленного мяса, крича: «А вот кому язык прекрасной госпожи Лопухиной! Кусок отличный и продам задешево! Кому за рубль язык красавицы Лопухиной!»

Подобные насмешливые предложения со стороны исполнителя столь грязных дел были расхожими в те времена. Но на этот раз публика отнеслась более внимательно к происходящему, потому что Наталья Лопухина тут же и потеряла сознание от боли и стыда. Палач вернул ее к жизни сильными ударами кнута, а когда несчастная пришла в себя, ее бросили в телегу и отправили в Сибирь! Супруг присоединился к ней в Селенгинске, тоже не без того, чтобы быть перед тем жестоко высеченным. Несколько лет спустя он умер в полном забвении. Госпожа Бестужева некоторое время еще вела нищенскую жизнь в Якутске, страдая от голода, холода и безразличия окружающих, которые боялись себя скомпрометировать, встречаясь с отверженной обществом грешницей. Муж ее, Михаил Бестужев, брат канцлера Алексея Бестужева, тем временем продолжал в Санкт-Петербурге успешную дипломатическую карьеру, а дочь блистала при дворе Ее Величества.

Разбираясь в деле Ботта, Елизавета думала, что наводит

порядок, настоятельно необходимый в ее империи. Алексей Бестужев сохранил все свои министерские обязанности и привилегии, вопреки немилости, в которую впало большинство его родственников, он бы мог даже сказать себе, что его авторитет укрепился, благодаря испытаниям и тому, что он избежал правосудия. Однако в Версале Людовик XV упорствовал в намерении отправить к царице Шетарди, возложив на него миссию признательности Елизавете, которая, согласно поступившей к королю информации, отнюдь не возражала бы возобновить обмен уколами рапирами, на которые надеты предохранительные наконечники, с галантным французом, чья любезность совсем еще недавно так ее забавляла. Но ведь она настолько непостоянна, что – согласно уверениям тех же «знатоков славянской души» – способна сотворить из мухи слона и разозлиться из-за пустяка. Чтобы не раздражать императрицу со столь переменчивым нравом, король вручил Ла Шетарди два варианта рекомендательного письма к Ее Величеству. В одном эмиссар из Версаля был представлен просто как частное лицо, интересующееся всем, что делается в России, в другом – как полномочный представитель, посланный королем к его «драгоценной сестре и самому лучшему другу Елизавете, императрице и самодержице всей Руси».

С такой двойной рекомендацией в кармане – черта с два кто-то сможет помешать ему в его намерениях! Не задерживаясь ни на минуту, Ла Шетарди мчался в Санкт-Петербург и прибыл туда в тот самый день, когда императрица праздновала десятую годовщину организованного ею государственного переворота. Посмеявшись над тем, как Шетарди торопился ее поздравить, Елизавета во время торжества согласилась принять его, и встреча была наполовину дружеской, наполовину протокольной. Шетарди показалось, что у императрицы усталый вид, что она разжирела, но исключительно мила и ласкова на словах, – можно подумать, будто изменила все свои убеждения, – а значит, уже позабыла обо всех своих последних претензиях к Франции. Однако, в то время как Шетарди уже готов был пустить в ход обаяние и предоставить в распоряжение Елизаветы все соблазны, на какие только был способен, он столкнулся с законным посланником Франции, господином д'Аллионом. Тот, разобиженный конкуренцией, возникшей с появлением соперника, которого считал незаконным, принялся вставлять ему палки в колеса, изощряясь в изобретательности. После серии недоразумений и размолвок, два представителя Людовика XV обменялись взаимными оскорблениями, пощечинами и, наконец, вытащили шпаги из ножен. Но и будучи раненным в руку, Ла Шетарди не потерял ни

капли своего достоинства. Затем, осознав нежелательность ссоры между двумя французами на иностранной территории, противники с грехом пополам помирились.

Это случилось накануне Рождества.

И ведь именно в это время, в конце 1743 года, Елизавета получила из Берлина долгожданную весть! Прусский король, побуждаемый настойчивыми требованиями разных эмиссаров найти невесту для наследника российского трона, наконец, выбрал драгоценную жемчужину. Принцессу достаточно знатную по происхождению, приятной наружности, с хорошим образованием – в общем, способную сделать честь своему супругу, не рискуя затмить его.

И это оказалась именно такая девушка, о которой мечтала императрица как о своей невестке. Кандидатку в русские царицы звали София-Августа-Фредерика Ангальт-Цербстская (Anhalt-Zerbst), родные и близкие называли ее Фигхен (Figchen), мать писала имя дочки иначе: «Фиххен» (Fichchen) – видимо, от «Софихен» (Sophiechen).

Девочке еще не исполнилось и пятнадцати лет, родилась она в Штеттине. Отец Софии, Христиан-Август Ангальт-Цербстский, не был даже царствующим принцем, а довольствовался тем, что управлял своим маленьким наследственным владением под благосклонным и снисходительным покровительством Фридриха II. Мать Софии, Иоганна-Елизавета Голштин-Готторпская, была двоюродной сестрой покойного Карла-Фридриха, отца великого князя Петра, которого Елизавета назначила своим наследником.

Иоганна была на двадцать семь лет моложе своего супруга и честолюбивых намерений в отношении дочери у нее более чем хватало. Как все это было чудесно, в глазах императрицы, как по-семейному, в германском духе и многообещающе! Изучив же веточку за веточкой, росток за ростком генеалогическое древо, Елизавета Петровна окончательно уверилась в том, что права. В какую-то минуту ей даже почудилось, будто в этом случае она сама вступает в брак. Но – с кем? Если к девочке она в высшей степени расположена, то о племяннике этого не скажешь! Уж слишком хорошо она знает претендента на российский престол! И на этот раз Петр опять разочаровал царицу: ей так хотелось, чтобы он проявлял побольше нетерпения, когда обсуждаются вопросы его брака, чтобы он хотя бы поинтересовался тем, как происходят матримониальные переговоры, продолжавшиеся вдали от него. Ничего подобного. Впрочем, и главное заинтересованное лицо, принцесса София-Августа, держалась в сторонке от всех этих переговоров, предметом которых была она сама. Переговоры велись путем обмена конфиденциальными

письмами между Цербстом, где находилась резиденция родителей Софии, Берлином, местопребыванием короля Пруссии Фридриха, и Санкт-Петербургом – тут царица просто сгорала от нетерпения, ожидая новых вестей из Пруссии. Все, что она до сих пор успела узнать о молоденькой девушке, отлично согласовалось одно с другим: буквально все, кто встречался с нею (правда, такие люди были редки), говорили о том, как София-Августа миловидна, грациозна, благовоспитанна, образованна, о том, что по-французски она говорит так же свободно, как и на родном немецком, наконец, о том, что, несмотря на свой нежный возраст, она при любых обстоятельствах бывает спокойной и уравновешенной. Не слишком ли все это хорошо, чтобы оказаться правдой? – задумывалась Елизавета. Портрет Фигхен, присланный императрице Фридрихом II, убедил, что – правда! Маленькая принцесса и впрямь оказалась прехорошенькой с ее свеженьким личиком и простодушным взглядом! Прелесть какая!

Однако из опасения, что в последнюю минуту ее ждет разочарование, царица скрывала от своего ближайшего окружения, какое великое, способное привести Россию к счастью событие она готовит. И Алексей Бестужев так ничего и не знал… Знали, но вынуждены были помалкивать приближенные прусские дипломаты. Зато Мардефельд день за днем информировал Ла Шетарди и Лестока о том, как продвигаются переговоры. И поползли слухи. Франкофильский клан пришел в восторг, хотя до поры до времени и проявлял некоторую осторожность в выражении этого восторга от возможности приезда в Санкт-Петербург принцессы, выращенной, как они слыхали, гувернанткой-француженкой. И пусть она по крови пруссачка – все равно ведь не сможет, раз получила воспитание у такой гувернантки, действовать во вред Франции, наоборот, постарается принести ей пользу. Даже если свадьба вдруг не состоится!

Получая депешу за депешей, Елизавета следила за тем, как мать и дочь приближаются к Санкт-Петербургу, к ней. Вот они прибыли в Берлин, вот получили благословение от Фридриха II, вот приступили к разорительным покупкам: надо же позаботиться о приданом… Отец Софии остается в Цербсте. Почему? Из соображений экономии или просто из гордости Христиан-Август д'Ангальт-Цербст отказался сопровождать дочь, которую все стремятся так удачно выдать замуж? Елизавета решила забыть об этом второстепенном вопросе: в конце концов, чем меньше будет вертеться вокруг девочки прусских родственников, тем лучше. Заботясь о том, чтобы путешествие матери и дочери было комфортабельным, российская императрица послала им денег и

посоветовала сохранять инкогнито хотя бы до того дня, как они пересекут границу России. А после этого – сообщить, что едут в Санкт-Петербург к Ее Величеству с визитом вежливости.

Инструкция Елизаветы Петровны была выполнена: в Риге старшая и младшая принцессы уселись в удобные сани, запряженные шестеркой лошадей, поуютней устроились в этом первом для них русском «транспортном средстве», завернулись в соболя, любезно присланные будущей родственницей для того, чтобы гостьи меньше чувствовали тяготы пути…

Однако, приехав в Санкт-Петербург, мать и дочь испытали недоумение и разочарование: выяснилось, что императрица вместе со всем двором отправилась в Москву, праздновать там шестнадцатилетие великого князя Петра, поручив маркизу Ла Шетарди и прусскому послу Мардефельду принять дам и показать им российскую столицу. Дипломаты справились с задачей только наполовину. Потому что пока малышка София восхищалась красотой выстроенного на болотах огромного города, пока любовалась сменой караула, пока хлопала в ладоши при виде четырнадцати слонов, подаренных когда-то Петру Великому персидским шахом, Иоганна, которая всегда держала нос по ветру, бесилась оттого, что до сих пор не представлена Ее Величеству. Беспокоилась она и о том, что канцлер Бестужев явно не расположен к планируемому союзу. Старшая принцесса знала, что этот человек, русский до мозга костей, страшно враждебен по отношению ко всему, что могло бы послужить сближению с Пруссией, ко всякой уступке ее интересам. Кроме того, в Санкт-Петербурге начали шептаться о том, что Бестужев якобы решил добиться от Святейшего Синода воспрепятствования браку между родственниками. Иоганна все больше мрачнела от этих слухов, Елизавете было горя мало. Она-то была уверена, что стоит ей пальцем пошевелить, стоит чуть-чуть нахмуриться, и Бестужев будет готов под землю провалиться от одного только страха, что его семью снова постигнет суровая немилость, а священнослужители самых высших санов, почуяв угрозу, удовольствуются тем, что поворчат в бороду, а потом и благословят молодых.

Иоганна заторопилась в Москву. Она прекратила прогулки дочери по городу, оборвала ее развлечения и, по совету Мардефельда, в конце января отправилась в путь вместе с Софией-Августой и Ла Шетарди. Елизавета назначила им аудиенцию во дворце Анненгоф восточного квартала второй столицы – 9 февраля в восемь часов вечера. Гостьи приехали. Заставив их некоторое время подождать, императрица отдала приказ распахнуть обе створки двери, ведущей в зал приемов, и

появилась на пороге. Путешественницы при виде Елизаветы Петровны склонились в глубоком реверансе. Царица быстро окинула взглядом ту, кого предназначила в невесты племяннику. Оценила девушку: совсем юная, тощенькая, бледненькая, платье без фижм, но довольно красивое – розовое с серебром… Нет, в общем-то, туалет посредственный, хотя сама девчоночка славная и приветливая… Рядом с этим очаровательным ребенком ее Петр, явившийся поприсутствовать при доставке «товара», будущей невесты, казался еще более уродливым и еще менее симпатичным, чем всегда. В последнее время он часто навлекал на себя раздражение и даже гнев тетки тем, что сблизился с голштинским министром Брюммером и еще несколькими интриганами германских корней. Кроме того, ничуть не обрадовавшись тому, что произведен Ее Величеством в полковники Преображенского полка, он требовал теперь, чтобы к нему явился голштинский полк: вот это будет образец дисциплины и эффективности, двух качеств, в которых, по его мнению, больше всего нуждалась русская армия.

Замечая у престолонаследника многочисленные проявления такой германофилии, Елизавета Петровна, часто жалевшая, что не сумела подарить родной стране настоящего наследника, ловила себя на том, что радовалась: как хорошо, что это не ее ребенок! Этот несчастный, жалкий наследничек ни с какой стороны ей не родной, у них просто нет ничего общего – ни по уму, ни по духу, ни по вкусам. Разве что по титулу, который она же сама ему и подарила. Внезапно Елизавета почувствовала угрызения совести, почувствовала, как ей грустно из-за того, что своими руками отдает эту милую бедную овечку в руки человека, который настолько ее не заслуживает. И поклялась себе тайком, что удвоит усилия, направленные на то, чтобы сделать хоть немного более привлекательным, чтобы выдрессировать как следует ограниченного маньяка, которому предстоит в один прекрасный день – или один не слишком прекрасный день – стать российским самодержцем. Если бы бедняжке Софии-Августе можно было рассчитывать на нежное утешение в неудаче, на мудрые советы матери! Но нет. Наблюдая за тем, как жеманится, кривляется и стрекочет, подобно сороке, Иоганна, царица поняла, что старшая гостья столь же раздражает ее своей угодливостью, пресмыкательством и притворством, сколь чарует душевным и физическим здоровьем, искренностью и веселостью младшая.

Неприязнь порой обнаруживает себя в каких-то нечаянных словечках, в каких-то мимолетных взглядах, даже в молчании. После первой же встречи Елизавета Петровна уже знала, что между матерью и дочерью нет ни любви, ни нежности. Их

взаимная привязанность диктовалась только обстоятельствами и условностями. От их пары «дочки-матери» веяло холодом нежилого дома. Вдохновленная великодушной мечтой, Елизавета уже воображала себя, а не Иоганну, на месте опекунши этой чудесной девочки. Если ей не удалось сформировать характер великого князя таким, каким хотелось его видеть, то оставалось лишь поверить, что уж расцвету Софии-то она помочь сможет, что сумеет сделать ее счастливой, свободной, независимой женщиной, не покушаясь при этом на законный, традиционный авторитет мужа. Начать серию благодеяний государыня решила с награждения: приказала Разумовскому принести орденские знаки Святой Екатерины. Две придворные дамы Ее Величества прикрепили орден к корсажу Софии-Августы. Елизавета чуть отступила, окинула взглядом свое «творение» – как художник осматривает только что законченное им полотно – и, довольная результатом, послала заговорщическую улыбку Разумовскому. Тот сразу догадался о том, что именно думает императрица по поводу этого никуда не годного, но такого необходимого союза, и его молчаливое одобрение, как это бывало всегда в минуты сомнений, поддержало Елизавету. И она пожелала про себя, чтобы в отношениях девушки с Петром все всегда было так же просто и естественно, как у нее с Алексеем, чтобы их любовь стала такой же сильной, как ее собственная, превратившая фаворита в тайного супруга.

Следующие дни царица сама посвятила наблюдениям за этими чересчур благоразумными детьми, повелела шпионить за ними придворным дамам. В то время как София, казалось, ждала хоть каких-то шагов навстречу со стороны будущего мужа, нелепый наследник престола бубнил не умолкая похвалы прусской армии, что на парадах, что в войнах, заодно принижая Россию: ее обычаи, ее прошлое, даже – ее веру. Все уши бедняжке прожужжал! Может быть, в этом постоянном навязчивом желании бранить все русское выражалась у престолонаследника потребность в самоутверждении? Как бы там ни было, но, словно желая создать противовес хуле, которой осыпал Россию ее будущий супруг, София-Августа вроде бы все больше и больше увлекалась нравами и историей открывающейся ей страны. Два приглашенных для обучения девушки русскому языку и основам православной веры наставника – Василий Ададуров и Симон Тодорский – наперебой восхищались усидчивостью, прилежанием, стараниями своей ученицы. Увлеченная умственным трудом, девочка не откладывала учебников чуть ли не до ночи, да и ночью могла вернуться к книгам, с азартом продвигаясь вперед в изучении самых сложных словарных,

грамматических, теологических проблем. И вдруг – заболела.

Ходила босиком по холодному полу, чтобы не заснуть, а учиться, простудилась, и ее уложили в постель. Воспаление легких. Иоганна тут же напустилась на дочь с упреками: дескать, лентяйка, дескать, предпочитает валяться вместо того, чтобы усердно исполнять свой долг «принцессы на выданье». Как моральная, так и физическая слабость Софии-Августы легко может провалить все дело, ныла мать, а потом принималась умолять Фигхен взять себя в руки и встать. Встревоженная тяжелой болезнью и душевным одиночеством девочки-подростка, Елизавета пришла навестить ее, села у изголовья постели. Малышка дрожала, металась, то горела, то стучала зубами в ознобе, и антифранцузский клан подумывал уже – себе на радость – о возможности рокового исхода. Если София умрет, ее можно будет заменить, выбрав на этот раз кандидатку, более подходящую для целей австро-английского союза. Но Елизавета рассердилась и заявила, что – как бы дело ни кончилось – она не хочет саксонскую принцессу. Врачи предложили кровопускание. Иоганна воспротивилась. Елизавета приказала вызвать своего личного врача – Лестока. Тот взялся за лечение. За семь недель, которые продолжалась лихорадка, бедняжке было сделано шестнадцать кровопусканий, порой по четыре раза в сутки! Но этот жестокий метод лечения ее спас! Едва встав на ноги, еще совсем слабая, девушка стала наверстывать упущенное.

21 апреля 1744 года София-Августа готовилась праздновать свое пятнадцатилетие во время одного из приемов. Однако она была еще так бледна и худа, что ужасно боялась разочаровать не только придворных, но, может быть, даже и жениха. Царица, проявляя истинно материнскую заботу, приказала принести девочке румяна и посоветовала той накрасить щечки, чтобы выглядеть получше. Взволнованная мужеством милого ребенка, Елизавета все яснее ощущала, что материнский долг ведет ее к этой девочке, которая ей никто, но так хочет стать по-настоящему русской, а вовсе не к племяннику, которого сделала приемным сыном, но который мечтает оставаться немцем.

Пока императрица решала эти тонкие и сложные семейные проблемы, Иоганна, наоборот, пустилась в высокую политику. Тайная дипломатия всегда была ее пристрастием и коньком. Она принимала в своих апартаментах ожесточенных противников этого неисправимого Бестужева. Ла Шетарди, Лесток, Мардефельд, Брюммер являлись к ней на тайные совещания. Заговорщики-подмастерья надеялись, что под воздействием матери юная София-Августа использует свое влияние на великого князя Петра или даже на саму императрицу, которая явно любит

и уважает девочку, чтобы добиться падения главы русской дипломатии. Но ведь и Алексей Бестужев не сидел без дела, пока на него пытались ставить силки. Благодаря своим личным шпионам, он сумел не только раздобыть, но и прочесть зашифрованные депеши Ла Шетарди, разосланные им в канцелярии разных стран. И, едва у него появились полные тексты этих компрометирующих маркиза материалов, представил их государыне. Царица в ужасе перебирала стопку листков, исписанных дерзостями и гнусностями. Перевернув страницу, она натыкалась то на такие слова: «Нельзя ожидать никакой благодарности и никакого внимания от правительницы [императрицы] столь беспутной». Или еще: «Ее тщеславие, ее легкомыслие, ее достойное сожаления поведение, ее слабость, ее забывчивость, ее оплошности не дают места серьезным переговорам». В других письмах Шетарди критиковал Елизавету Петровну за излишнюю склонность «к нарядам» и «к любовным похождениям», подчеркивал, что она совершенно невежественна в важных на сегодняшний день государственных делах, которые ее скорее пугают, чем интересуют. В поддержку этой клеветы Ла Шетарди цитировал недоброжелательные высказывания Иоганны-Елизаветы, которую он, впрочем, представлял шпионкой на жалованье Фридриха II.

Потрясенная гнусными излияниями императрица уже не могла понять, кто у нее друзья, кто враги. Она отвернулась от Марии-Терезии из-за бесстыдства австрийского посланника Ботта, которого называла «разбойником от дипломатии», так что же – теперь ей рассориться с Людовиком XV из-за того, что его посол, Ла Шетарди, оказался всего лишь мерзким сплетником? По-настоящему-то надо было бы его выкинуть из России в двадцать четыре часа! Но не обидится ли Франция на такую резкую меру, пусть даже мера эта направлена не на государство, а на человека?

Прежде чем начать наказывать Шетарди, Елизавета вызвала к себе Иоганну и прямо в лицо бросила гостье все, что теперь о ней думала. Облила гневом и презрением. Валявшиеся на столе письма недвусмысленно обличали мать Софии-Августы. Рухнули все мечты, принцесса была в ужасе, ожидала, что ее немедленно выгонят из России. Но судьба неожиданно улыбнулась интриганке: Елизавета, ясно сознававшая, что невеста ее племянника ни в чем не виновата, решила оставить на месте и ее мать, по крайней мере, до свадьбы. Подобная снисходительность царице далась легко, она даже видела в своем поступке пример терпимости и милосердия, который может оказаться выгодным. Но на самом деле государыня попросту жалела свою будущую невестку: надо же иметь такую жестокую, такую бесчеловечную

мать! Пристрастие Елизаветы Петровны к Софии-Августе было столь сильным и живым, что она надеялась великодушием завоевать не только признательность девочки, но, может быть, даже и ее любовь.

Устав от долгой непогоды, императрица, повинуясь тому благочестивому порыву, какие время от времени ее посещали, – надумала совершить паломничество в Троице-Сергиеву Лавру. Взяла с собой племянника, Софию-Августу, Иоганну и Лестока. Прежде чем отправиться в путь, велела сказать Бестужеву, чтобы тот решил судьбу негодяя Шетарди, предоставив тому полную свободу действий: любое придуманное им для этого лжедруга наказание, подчеркнула царица, будет ею одобрено.

И – вот так вот умыв руки, словно бы смыв с них городскую нечистоту, – Елизавета с легким сердцем устремилась к Господу…

В первые же дни своего пребывания в Троице-Сергиевой Лавре императрица заметила, что в то время как Иоганна, София-Августа и Лесток сильно взволнованы нарушением приличий в переписке маркиза Ла Шетарди, великого князя Петра все это ничуть не тревожит. Он что – позабыл, что прибыл сюда вместе с невестой, с той, кто завтра станет его женой, забыл, что происходящее и его касается, а следовательно – должно и его беспокоить, да еще как сильно!

Пока в Лавре обсуждали частично религиозные, а частично мирские проблемы будущей царственной семьи, в Санкт-Петербурге офицеры, которых с флангов охраняли вооруженные гвардейцы, появились в доме Ла Шетарди и объявили ему, что – поскольку доказана его вина как клеветника в адрес Ее Величества, поскольку он нанес таким образом оскорбление Ее Величеству – ему предписано оставить Россию в двадцать четыре часа. Выгнанный, словно проворовавшийся лакей, маркиз стал протестовать… бушевать… кричать, что его зарезали, убили… что он пожалуется своему правительству… А потом внезапно успокоился, опустил голову и принял наказание.

На первой же остановке француза нагнал посланник императрицы. Он потребовал вернуть орден Святого Андрея Первозванного и табакерку, украшенную портретом Ее Величества, подаренную Шетарди Елизаветой несколько лет назад, в те времена, когда маркиз был еще мил ее сердцу. Поскольку Шетарди отказался отдать эти дорогие ему реликвии, Алексей Бестужев послал ему вдогонку другого вестника – с угрожающей запиской царицы: «Маркиз де Ла Шетарди недостоин получения личных подарков от Ее Величества».

Маркиз, находившийся на грани безумия, принялся упрекать

Версаль: вмешавшись в дело, писал Шетарди, и лишая уважения меня, вы лишаете уважения Францию. Но и тут – сразу после урока, полученного от Елизаветы I, – он был снова поставлен на место. На этот раз – Людовиком XV. Бышему послу было велено отправляться на свои земли в Лимузене и ждать там новых приказаний.

Что же до Елизаветы и ее спутников по богомолью, то после короткого пребывания в Троице-Сергиевой Лавре они отправились в Москву, где принцессы Ангальт-Цербстские изо всех сил старались казаться естественными, несмотря на испытываемые ими стыд и разочарование. Зная, что ее теперь в России только терпят до поры до времени и что если не в день свадьбы, то уже точно на следующий ее попросят отсюда, Иоганна кипела не переставая. София, со своей стороны, пыталась забыть о длинной цепи поражений, готовясь к обращению в православие ревностно, с усердием неофитки. А пока она внимательно слушала речи священника, которому было поручено посвятить девушку в веру ее новых соотечественников, Петр ездил по лесам и полям, весело резвился на охоте, забываясь в пьянстве вместе со своими обычными компаньонами по таким делам. Они все были голштинцами, говорили между собой только по-немецки и призывали великого князя наплевать на русские традиции, отстаивая и постоянно доказывая свое германское происхождение.

28 июня 1744 года София, наконец, вступила в лоно православной церкви. Она произнесла чистым голоском и ни разу не запнувшись Символ своей новой веры и приняла в крещении новое имя: стала Екатериной Алексеевной. Необходимость сменить святую покровительницу, которая была у нее от рождения на календарную русскую святую Софию-Августу ничуть не смутила: она давно уже знала, что нужно через это пройти, если хочешь выйти замуж за представителя русской знати.

Назавтра, 29 июня, состоялось обручение в домовой церкви. Впереди медленно-медленно шла императрица в сопровождении небольшой свиты. Восемь генералов несли над процессией серебряный балдахин. Сразу за теткой, бросая направо-налево глупые улыбки, двигался великий князь Петр Федорович, бок о бок с ним – великая княжна Екатерина Алексеевна, прямая и невозмутимая. Елизавета Петровна была очень довольна будущей невесткой: «У нее есть голова на плечах, она далеко пойдет!» Во время бала, завершавшего церемонию обручения, императрица смогла лишний раз увидеть контраст между элегантностью и простотой невесты и спесью ее матери, которая постоянно трещала, как сорока, и стремилась вылезти вперед. Чуть позже

весь двор с большой помпой выехал в Киев. Обрученные и старшая принцесса Цербстская отправились вместе со всеми. Опять – приемы, балы, парады, речи, снова к концу дня даже у царицы, привыкшей к светской суматохе, появлялось смутное ощущение потерянного зря времени. В течение этой малороссийской поездки, которая продолжалась три месяца, Елизавета притворялась, будто не замечает, в какое движение пришел мир вокруг, куда, в какую сторону он движется. Англия вроде бы готовится напасть на Нидерланды, тогда как Франция намерена пойти врукопашную с Германией, а австрийцы, в свою очередь, присматриваются к возможности атаки на французскую армию… Версальский и Венский кабинеты министров соревновались в ловкости, стремясь обеспечить себе поддержку России, а Бестужев вилял, прибегал к уловкам, когда успешнее, когда менее успешно, затягивал ответы на прямо поставленные вопросы, ожидая точных указаний Ее Величества. Но вот императрица, вероятно, все-таки растревоженная докладами своего великого канцлера, решается вернуться в Москву. Дает сигнал – и все придворные кланы и клаки пускаются длинным, медленным караваном в обратный путь. В Москву, в Москву!

По дороге в свой древний священный город Елизавета, скорее всего, надеялась, что сможет по приезде отдохнуть, сможет позволить себе хотя бы несколько дней заслуженного «отпуска»: она ведь так умаялась от киевской суеты! Но едва вдохнув московский воздух, она ощутила привычно неистребимую жажду развлечений и сюрпризов. По ее инициативе немедленно возобновились балы, ужины, маскарады, оперы… Они следовали друг за другом в таком бешеном ритме, что даже молодые люди, бывало, просили пощады.

Однако, поскольку приближался день торжественной церемонии бракосочетания, Елизавета была вынуждена покинуть старую столицу, чтобы – пока без молодых – отправиться в новую: свадьба должна была состояться в Санкт-Петербурге. Иоганна и жених с невестой выехали туда же несколько дней спустя. Так и следовали – поезд за поездом, пока на одной из остановок, в селе Хотилово, великий князь Петр внезапно не заболел. У него начался озноб, на лице выступили розоватые пятна. Диагноз – оспа! В ту пору редко кому удавалось исцелиться от этой страшной болезни. Отправили курьера к императрице. Когда Елизавета Петровна узнала об угрозе, нависшей над приемным сыном, ее охватило дурное предчувствие, граничащее с ужасом. Как она могла забыть, что меньше пятнадцати лет назад юный царь Петр II подцепил именно эту болезнь и вот так же – накануне женитьбы! И – по странному совпадению – невесту

Петра в том, почти уже далеком 1730 году, маленькую княжну Долгорукову, тоже величали Екатериной! Может быть, это имя приносит несчастье династии Романовых?! Нет, в это невозможно поверить! Так же, как невозможно поверить в фатальность заражения при одинаковых обстоятельствах…

Решив отправиться к престолонаследнику, чтобы лечить его и ухаживать за ним, Елизавета велела запрягать. Повернули обратно к Москве. Между тем растерянная и почти обезумевшая Екатерина тоже двинулась в путь: наоборот, в столицу, к царице! На дороге ее сани встретились с императорскими. Общий страх, общая тревога, опасения тетки за племянника – а вдруг худшее, а невесты за жениха – а вдруг потеряю его, даже не успев стать женой, – бросили женщин в объятия друг друга. Смешались слезы. И теперь уже Елизавета окончательно убедилась, что сам Господь внушил ей согласие на брак наследника престола с этой пятнадцатилетней принцессочкой: Екатерина, вне всяких сомнений, оказалась той супругой, какая нужна этому дурачку Петру, и той невесткой, какая нужна ей самой, для полного счастья и возможности уйти с миром, когда придет время.

Они вместе добрались до Хотилова. Прибыв в деревню, увидели на убогом ложе трясущегося в ознобе великого князя. Глядя на то, как он мечется по постели, обливается потом, бредит, Елизавета Петровна с ужасом думала: неужели династия Петра Великого должна оборваться со смертью этого хилого мальчишки? А великая княжна Екатерина уже видела себя возвращающейся в Цербст с жалким багажом воспоминаний о вдруг прервавшемся празднике. Но отправиться, причем вместе с матерью, ей пришлось в Санкт-Петербург: царица распорядилась, чтобы девушка уехала побыстрее – пока не успела заразиться. А сама принялась ухаживать за больным.

Несколько недель, обитая в жалкой деревенской избе, темной и плохо натопленной, российская императрица была сиделкой у мальчика, избранного ею своим наследником, мальчика, сыгравшего с нею такую злую шутку и, кажется, решившего выйти из игры в тот момент, когда Елизавета уверенно вела партию к выигрышу. Почему царица оказалась тогда так верна существу, которое совсем не любила? Было ли это христианское милосердие или забота о выгоде для монархии? В то время Елизавета об этом не задумывалась и не пыталась анализировать, какие именно чувства привязывают ее сейчас к этому тупому и неблагодарному парнишке. Ее вела сама судьба, она подчинялась Богу, чувствовала себя исполнительницей Господней воли. И победила: болезнь в конце концов отступила, лихорадка спала, Петр Федорович начал приходить в себя.

В конце января 1745 года императрица оставила Хотилово, чтобы отвезти племянника в Санкт-Петербург. Бедняга так переменился за время болезни, что Елизавета Петровна опасалась, как бы невеста не слишком разочаровалась, увидев, какой ужас, какую мерзость и жалость ей привезли вместо жениха. Вздувшееся лицо обезображено рябинками, оставшимися от оспы. Бритая голова. Глаза, налитые кровью. Потрескавшиеся губы. Чистая карикатура на молодого человека, каким был великий князь совсем еще недавно, несколько месяцев назад. Что делать? Думая не столько о племяннике, превратившемся в подобное чудовище, сколько о милой девочке, которой предстоит заполучить это чудовище в мужья, Елизавета решила малость Петра приукрасить. Нацепила на «привидение» огромный завитой парик. Но оказалось, что с напудренными фальшивыми локонами мальчишка выглядит еще страшнее и противнее, чем в натуральном виде. Положение было безвыходное, жребий брошен, и царица решила в очередной раз положиться на удачу: чему быть, того не миновать! Когда императрица с племянником прибыли наконец в свою резиденцию, Зимний дворец, Екатерина Алексеевна выбежала навстречу жениху, радуясь его чудесному выздоровлению. И – остановилась окаменевшая от ужаса, увидев этот призрак. Постояла минутку с полуоткрытым ртом и выпученными глазами, невнятно поздравила с исцелением, присела в реверансе и убежала так, будто ее спугнул выходец с того света.

10 февраля, в день рождения великого князя, растерянная императрица даже отсоветовала племяннику показываться на людях. Но все-таки она еще надеялась, что со временем физические недостатки Петра станут не такими наглядными, чуть смягчатся. И вообще на данный момент ее стало куда больше пугать почти полное отсутствие у него интереса к невесте. В окружении Екатерины поговаривали, будто он хвастается перед нею успехами у любовниц. Но так ли было на самом деле? Способен ли он удовлетворить женщину в любовной игре? Нормально ли он сложен – «вон там»? А красотка Екатерина – покажет ли она себя достаточно кокетливой и изобретательной в постели? Способной пробудить желание у дубины-мужа? Подарит ли она детей, наследников стране, которая так давно их ждет? Можно ли какими-то лекарствами, какими-то снадобьями излечить половую слабость мужчины, если его куда больше возбуждает полк на марше, чем обнаженная женщина на простынях в полумраке его алькова? Мучающаяся сомнениями царица советовалась с лекарями. После нескольких серьезных совещаний они решили, что если бы великий князь меньше пил,

его бы больше привлекали дамы. Впрочем, по их мнению, слабость эта преходящая, вскоре наметится «улучшение». Таково же было мнение Лестока. Но ни «специалистам», ни лейб-медику было не успокоить тревог и опасений императрицы. Ко всему еще, ей чудилось, будто со свадьбой теперь не спешат уже оба: и Петр, и Екатерина. Может быть, боятся ночных радостей?

Нынче, как бы легко ни соглашались молодые люди со всякими отсрочками и предлогами, могущими оттянуть свадьбу, Елизавета Петровна горела нетерпением за них обоих. После долгих обсуждений была неотвратимо назначена дата бракосочетания. Ее Величество решила объявить днем самой грандиозной из всех свадебных церемоний века – 21 августа 1745 года.

IX. Елизаветинская россия

Когда заходила речь о подготовке к празднику, для Елизаветы Петровны переставала существовать поговорка «будь что будет»: она ничего не оставляла на волю случая. Наступил день торжественной церемонии венчания, и у императрицы не оставалось сомнений в том, что ей следует самой принять участие в приготовлениях невесты. Государыня осмотрела стоявшую нагишом девушку с головы до ног, потом стала руководить служанками, надевавшими на нее белье и платье, не упуская ни единой мелочи. Наступила очередь прически – с куафером был обсужден каждый завиток волос…

В качестве подвенечного платья царица выбрала для Екатерины – никакие возражения не принимались! – наряд из серебряной парчи. За платьем с широченной юбкой и короткими рукавами тянулся вышитый шлейф – по всему полю ткани были словно рассыпаны цветы роз… Не скупясь, Елизавета доставала из собственной шкатулки ожерелья, браслеты, перстни, броши, сережки – и украшала всеми этими драгоценностями будущую новобрачную. Наряд бедняжки стал таким тяжелым, что в нем было трудно двигаться, и девушке приходилось держаться так прямо и в такой застывшей позе, будто она аршин проглотила.

Тем не менее, принаряженная подобным образом великая княгиня явилась всем поистине небесным видением. Иное дело – жених! Он выглядел просто смехотворно: ни дать ни взять переодетая царевичем обезьяна. Даже шуты Анны Иоанновны, умевшие корчить немыслимые рожи, не могли бы вызвать приступов такого гомерического хохота, к какому способен был побудить любого великий князь Петр Федорович, делая попытки произвести впечатление серьезного человека.

Свадебная процессия двинулась по Санкт-Петербургу посреди гудящей толпы. При виде кортежа люди бросались на колени, падали ниц, торопливо крестились, выкрикивали благословения молодым и здравицы матушке-царице. Никогда и никто не видел в Казанском соборе такого огромного количества зажженных свечей. В течение всей литургии Елизавета чувствовала себя словно на раскаленных углях: все время ждала, что племянник совершит неловкость из тех, на какие он столь горазд в самых что ни на есть неподходящих обстоятельствах. Но служба продолжалась без сучка без задоринки,[54] вот уже и обмен кольцами состоялся. Услышав последний возглас священника, царица вздохнула с облегчением. Разминая затекшее за время долгого стояния в храме тело, она радовалась, что скоро можно

будет пуститься в пляс на балу, по обычаю, замыкавшему празднества. Однако, несмотря на наслаждение, с каким Елизавета Петровна танцевала, она никак не могла выкинуть из головы одну мысль: главное сегодня – не благословение, полученное новобрачными, еще менее важны менуэты и полонезы, главное на сегодняшний день – брачный союз юной четы, короче, их совокупление. А первая брачная ночь скоро должна была начаться…

К девяти часам вечера терпение императрицы лопнуло. Прекратив танцы, она приняла решение: молодым пора удалиться – и, подобно добросовестной дуэнье, отправилась сама провожать новобрачных в супружескую спальню. Возбужденные, хихикающие придворные дамы составили эскорт. Великий князь скромно вышел, чтобы надеть ночную сорочку, и служанки великой княгини, пользуясь его временным отсутствием, раздели Екатерину, облачили ее в более чем соблазнительную кружевную рубашку, прикрыли темноволосую голову кружевным же воздушным чепчиком и уложили девушку в постель под бдительным взором императрицы. Когда Ее Величество решила, что «малютка готова», она вышла – медленной театральной поступью.[55] На самом деле в душе Елизавета оплакивала продиктованный благопристойностью запрет оставаться там, в спальне, ей до смерти хотелось посмотреть, как все будет дальше. Ее страшно тревожили вопросы, на которые негде было найти ответа. Хорошо ли подготовлен племянник к «экзамену», до которого оставалось всего несколько минут? Хватит ли Петру мужской силы, чтобы удовлетворить этого невинного ребенка? Сумеют ли тот и другая справиться без ее советов по части любовных наслаждений?..

Прежде чем покинуть комнату, Елизавета Петровна заметила, что девочка выглядит испуганной и на глазах ее сверкают слезинки. Разумеется, ей было известно, что вот такая повергнутая в трепет девственница нормального мужчину только возбуждает. Ну, а нормален ли в этом качестве великий князь? А вдруг он, существо столь эксцентричное, столь неуправляемое, в постели так слаб, что никакая, даже опытная красотка его от этого не вылечит? Встретившись с Разумовским на исходе совершенно измучившего ее дня, Елизавета поздравила себя с тем, что им с Алексеем не приходилось и не приходится задумываться о таких вопросах.

Несколько дней после свадьбы императрица тщетно пыталась обнаружить во взгляде Екатерины признаки физического удовлетворения и сердечного согласия. Новобрачная становилась все более задумчивой и выглядела все более расстроенной.

Расспросив ее камеристок, Елизавета выяснила, что чаще всего по вечерам, запрыгнув в постель к молодой жене, великий князь Петр Федорович – вместо того, чтобы ласкать ее, – принимается весело играть с расписными деревянными фигурками, расставленными на ночном столике. Впрочем, так же часто, говорили женщины, он вообще бросает великую княгиню под предлогом головной боли и отправляется пьянствовать с друзьями в соседнюю залу, откуда потом то и дело раздаются взрывы хохота. А еще ему нравится выстраивать слуг, как на парад, и командовать ими, будто солдатами. Конечно, пустое ребячество, но ведь как оно обидно и даже тревожно для юной супруги, которой всего-то и надо, чтобы на нее обратили внимание.

В то время как Екатерина маялась, томимая неутоленным голодом рядом с никуда не годным мужем, ее матушка распутничала почем зря, переходя все возможные и невозможные границы. За несколько месяцев, проведенных в Санкт-Петербурге, Иоганна ухитрилась стать любовницей графа Ивана Бецкого. Ходили слухи, что трудами и заботами этого господина она уже беременна, и пока великая княгиня медлит с тем, чтобы произвести на свет наследника имперского престола, она-то не преминет подарить дочке в ближайшем будущем братца или сестрицу. Возмущенная недостойным поведением женщины, которой ради Екатерины следовало бы поумерить свои страсти хотя бы на время пребывания в России, императрица Елизавета пригласила Иоганну к себе и сухо приказала оставить страну, куда она принесла лишь бесчестье и глупость. Последовала патетическая сцена с реками слез и горами оправданий, которые не произвели на царицу никакого впечатления. Облитая ледяным презрением принцесса отправилась укладывать вещи, уложила и, даже не попрощавшись с дочерью, чьих упреков ей не хотелось слышать, вернулась в Цербст.

Отъезд матери-распутницы не стал целительным для великой княгини. Хотя в течение всего этого времени Екатерина была смущена и растеряна, наблюдая за выходками Иоганны, теперь, после ее отъезда, бедняжка почувствовала себя такой одинокой, что меланхолия переросла у нее в безмолвное отчаяние. Невольная свидетельница этого уныния, Елизавета Петровна, тем не менее, не теряла надежды: а вдруг, увидев молодую жену столь несчастной, Петр сблизится с ней, вдруг слезы Екатерины пробудят в нем страсть, которой не смогло пробудить кокетство? Нет… С каждым днем молодые супруги все больше отдалялись друг от друга, отчуждение между ними усиливалось. Осознавая свою несостоятельность, свою неспособность исполнить

супружеский долг по отношению к Екатерине, каждый вечер с милыми ужимками приглашавшей его в постель, Петр Федорович избрал новую тактику. Теперь он стал цинично хвастаться перед женой успехами на стороне, рассказывать о якобы существующей и захватившей его связи, о том, как благосклонны к нему некоторые из ее фрейлин…

Стремясь как можно больнее задеть Екатерину, как можно сильнее унизить ее, благоверный дошел до того, что принялся издеваться над ее приверженностью православной вере, над тем, как она почитает бесстыдницу-императрицу, которая выставляет напоказ свои амуры с этим бывшим мужиком Разумовским: мерзости, вытворяемые Ее Величеством, по его словам, стали притчей во языцех для всех столичных салонов.

Елизавета, наверное, только позабавилась бы такими семейными распрями, если бы невестке между двумя ссорами удалось забеременеть. Но прошло девять месяцев, а живот молодой женщины оставался таким же плоским, как в день свадьбы. Может быть, она вообще осталась девственницей? Столь продолжительное бесплодие супруги престолонаследника показалось императрице прямо-таки вызовом ее личному авторитету. Движимая гневом, государыня, приказав бесплодной невестке явиться немедленно, поставила в вину ей одной отсутствие интимных отношений, обвинила Екатерину в холодности, неумелости, неловкости, более того, как того и хотел великий канцлер Алексей Бестужев, выразила предположение, что невестка разделяет политические взгляды матери и тайком шпионит на короля Пруссии.

Напрасно великая княгиня плакала, напрасно протестовала, напрасно пыталась защититься от внезапно превратившейся в злобную фурию Елизаветы. Та, приняв еще более величественный, чем обычно, вид, став более чем всегда самодержицей, заявила, что отныне великому князю и великой княгине придется вести себя благопристойно и ходить как по струнке, не допуская ни малейшего отклонения; что теперь как интимная их жизнь, так и публичная будут подчинены весьма строгим правилам, изложенным в виде «наставлений», и что соблюдение этих правил будет обеспечиваться «двумя знатными особами», которых Ее Величество собирается назначить гофмейстером и гофмейстериной их императорских высочеств. В сущности, к обоим подросткам – а ведь и великий князь, и великая княгиня не вышли еще из подросткового возраста – были приставлены суровые воспитатели. Как пишет Казимир Валишевский, «их, так сказать, возвращали к школьному возрасту. Под видом указания программы этого добавочного воспитания был составлен

настоящий обвинительный акт против юной супружеской четы, своим поведением вызвавшей эту меру. Автором обвинительного акта, редактором обоих документов был Бестужев».[56]

Гофмейстеру, в соответствии с этой программой, будет поручено привить Петру Федоровичу приличные манеры, научить его правильному русскому языку и вселить в него здравые, соответствующие положению престолонаследника идеи. «Знатная особа должна будет, – читаем мы в „инструкции“, – исправить некоторые непристойные привычки его императорского высочества, как, например, выливать за столом содержимое стакана на головы прислуги, говорить грубости и неприличные шутки лицам, имеющим честь быть приближенными к нему, и даже иностранцам, допущенным ко двору, публично гримасничать и коверкаться всем телом…»[57]

Второй «знатной особе», женского пола, предстояло заняться тем, чтобы обучить Екатерину при любых обстоятельствах подчиняться догматам православной церкви; она должна была следить за тем, чтобы молодая женщина не совалась в политику, и пресекать малейшее на это поползновение; в ее же обязанности входило, удалив от невестки императрицы всех сколько-нибудь подозрительных молодых мужчин, вернуть непослушную в лоно семьи, а предварительно дать ей наставления в области различных женских уловок и хитростей, способных пробудить желание мужа.[58] И все это – ради того, чтобы, как сказано в документе: «смог произойти на свет отпрыск нашей высочайшей семьи».[59]

В дополнение к этому «драконовскому законодательству» Екатерине было запрещено писать кому бы то ни было прямо: все ее письма, включая адресованные родителям и родственникам, теперь должны были просматриваться и изучаться Коллегией иностранных дел.

Одновременно от двора были отлучены несколько молодых дворян, в обществе которых великая княгиня до сих пор могла иногда отвлечься от своих горестей, рассеять одиночество. И мало того, что юноши эти были изгнаны из дворца – их даже и из столицы выслали. Так, например, трое Чернышевых (два брата и их кузен), красивые молодые люди с приятным обхождением, были направлены в оренбургские полки лейтенантами.

Придворная надзирательница, Мария Чоглокова, в чьи обязанности входила слежка за Екатериной, была дальней родственницей императрицы,[60] а придворным надзирателем стал не кто иной, как ее муж, важный господин, который в то время находился с миссией в Вене. Это примерное семейство призвано было служить примером для великокняжеской четы.

Марию Чоглокову можно было назвать образцом добродетели: верная и преданная мужу, как все говорили, чрезвычайно набожная, она смотрела на мир глазами Бестужева. Но главное – в двадцать четыре года она имела уже четверых детей! При необходимости пара придворных надзирателей прибегала к помощи дополнительного наставника молодых людей – князя Репнина. Его долг также состоял в том, чтобы побуждать Екатерину и Петра к благоразумию, благочестию и любви ко всему русскому.

Имея на руках подобные козыри, Елизавета Петровна обрела уверенность: теперь она сможет укротить и объединить недружную чету. Однако довольно скоро ей пришлось с глубоким огорчением убедиться: когда мужчина и женщина не подходят друг другу, вызвать у них взаимную любовь так же трудно, если не невозможно, как примирить между собой две страны с прямо противоположными интересами.

В мире, как и в ее доме, царили между тем взаимонепонимание, соперничество, излишняя требовательность, противостояния… То и дело одни государства рвали отношения с другими. Угрозы войн и местные беспорядки, составленные на скорую руку мирные договоры с сосредоточиванием войск на границах – в результате всего этого после нескольких побед французской армии в Соединенных провинциях Елизавета была вынуждена согласиться с необходимостью послать экспедиционный корпус к рубежам Эльзаса. Не расписываясь в своей враждебности к Франции, императрица, таким образом, побуждала ту стать более сговорчивой на переговорах с противниками. 30 октября 1748 года по договору, подписанному в Экс-ла-Шапель,[61] Людовик XV отказался от завоеваний в Нидерландах, а Фридрих II сохранил за собой Силезию. Русская царица, вышедшая из игры, ничего не проиграв, но ничего и не выиграв, разочаровала всех, и единственным из европейских государей, кто был доволен тем, как уладились все проблемы, оказался король прусский.

Однако к тому времени Елизавета окончательно пришла к убеждению, что у Фридриха II в Санкт-Петербурге – просто-таки в стенах царского дворца! – есть приверженец, причем приверженец из самых активных, успешных, а потому опасных, и что этим приверженцем является великий князь Петр Федорович. Мальчишка, которого ей всегда было трудно переносить, с каждым днем становился, по ее мнению, все более странным, чуждым и противным. Императрица жаловалась Разумовскому: «Племянник раздражает меня донельзя!.. Просто чудовище, черт его побери!..» Желая оздоровить атмосферу в окружении великого

князя и сделать это окружение не таким германофильским, Елизавета Петровна принялась с ожесточением выкидывать из своей свиты голштинских дворян и избавляться от тех, кто пытался заменить их. Вокруг великого князя образовалась пустота: вскоре не осталось никого, вплоть до лакея Петра Федоровича, некоего Ромбаха, кто не побывал бы в застенке из-за какого-нибудь пустяка. Чем было себя утешить публично оскорбленному и униженному молодому человеку? Как обычно – экстравагантными прихотями! Теперь он не расставался со своей скрипкой, часами терзая слух жены. Речи его стали такими бессвязными, что Екатерине казалось порой, что он сходит с ума, и ей нестерпимо хотелось сбежать. Если муж видел, что великая княгиня сидит с томиком в руках, он тут же выхватывал у нее книжку и приказывал играть с ним в деревянных солдатиков: коллекция у него была большая, битвы получались, с его точки зрения, превосходные. Еще немного времени спустя престолонаследник безумно полюбил собак. Это была истинная страсть: он поселил дюжину псов прямо в супружеской спальне, не слушая просьб и протестов Екатерины. А когда она жаловалась на лай и отвратительный запах, принимался оскорблять ее и кричать, что скорее пожертвует ею, чем своей сворой…

Одинокая и несчастная, Екатерина искала если не друга, то хотя бы человека, с которым можно откровенно поговорить. Поиски в конце концов уперлись в лейб-медика государыни, знакомого нам и неизменного Лестока. Тот проявил к молодой женщине интерес, даже симпатию. Она надеялась обрести в докторе союзника как против «прусской клики», так и против Ее Величества, которая продолжала корить невестку за бесплодие, между тем как та была тут совершенно ни при чем. Лишенная возможности свободно переписываться с матерью, Екатерина прибегла к помощи врача: тот мог отыскать обходные и весьма надежные пути, чтобы письма попадали к адресату. И Бестужев, ненавидевший Лестока, в котором видел потенциального противника, радостно потирал руки, узнав, что «лекаришка» оказывает услуги великой княгине, нарушая тем самым строжайшие инструкции Елизаветы. Вооружившись этим разоблачением, великий канцлер отправился к Разумовскому и сообщил тому: во-первых, Лесток – платный шпион иностранных канцелярий, а во-вторых, Лесток стремится дискредитировать фаворита в глазах Ее Величества. Это клеветническое заявление отлично согласовалось с откровениями секретаря придворного врача, некоего Шапюзо, который под пытками признался во всем, что от него требовали. Совокупность этих более или менее убедительных доказательств заставила Елизавету Петровну

насторожиться. Вот уже несколько месяцев она избегала лечения Лестока. Если он стал ненадежен, если ему больше нельзя верить – пусть расплатится!

В ночь с 11 на 12 ноября 1748 года Лестока внезапно и безжалостно разбудили и препроводили в Петропавловскую крепость. Специальная комиссия, членами которой стали генерал Апраксин и граф Шувалов, а председателем Бестужев, обвинила врача в том, что он продался Швеции и Пруссии, что он ведет тайную переписку с скомпрометировавшей себя принцессой Иоганной Ангальт-Цербстской, матерью великой княгини Екатерины Алексеевны, что вступил в заговор против императрицы всея Руси. Лестока подвергли пыткам, после чего – не слушая заверений в невиновности и клятв – выслали в Углич. Имущество лейб-медика было конфисковано, он лишился всего. И тут Елизавета внезапно смягчилась. Императрица согласилась сначала на то, чтобы жена осужденного жила с ним в тюремной камере, потом – чтобы она отправилась вслед за мужем в изгнание. Быть может, государыня сжалилась над тем, кого *должна была* покарать согласно царской прерогативе, а может быть, просто сохранила теплое воспоминание о верном слуге, всегда спешившем услужить ей, вот и смягчила наказание.

Лесток предложил неизвестному 50 рублей, если он откровенно скажет, кто он такой и кто его посылает шпионить. Неизвестный упорствовал и уверял, что ни от кого не получал поручения шпионить. Лесток приказал позвать из своего караула унтер-офицера и гренадера и хотел заставить батогами неизвестного открыть – кто он такой. Тогда неизвестный объявил, что он – человек какого-то гвардейского офицера, который поручил ему наблюдать за каждым шагом Лестока и Шапюзо. Лесток тотчас поехал во дворец, упал к ногам императрицы, уверял в своей всегдашней верности и преданности и просил удовлетворения за оскорбление. Елизавета выслушала его ласково, просила потерпеть и обещала расследовать дело. Успокоенный Лесток отправился от государыни в дом того же прусского купца, где оставил других собеседников, и пробыл там до полуночи. Между тем Елизавета дала приказание арестовать и отвезти в крепость Шапюзо и четырех служителей Лестока, о которых предполагалось, что они могут сообщить сведения о поведении Лестока. Императрица говорила своим приближенным, будто считает преступным уже то, что эти господа взяли на себя роль судей над чужим человеком, и если они совершенно невинны, то нечего им страшиться шпионства над собой. 22 декабря Лесток попытался еще раз явиться к государыне, но его не допустили, а 24 декабря, в 11 часов утра, генерал Апраксин с

солдатами явился в дом Лестока и объявил ему арест в его доме, причем запретили ему «употребление ножей и всякого острого орудия». Жена Лестока была в церкви и в тот день причащалась: по возвращении домой и она получила приказание оставаться в своем доме под арестом. В этот самый день при дворе устраивалась помолвка фрейлины Салтыковой; государыня была отменно весела, а сам Лесток был назначен в числе шаферов невесты, но, разумеется, теперь не явился. Наконец, 26 декабря императрица оставила столицу и перебралась в Царское Село, а Лесток, того же дня вечером, вместе с женою был отвезен в крепость. Александр Шувалов, заменивший недавно умершего Ушакова в начальстве тайною канцелярией, вел допрос над Лестоком и его соучастниками.[62]

Не будучи доброй, Елизавета Петровна была чувствительной, иногда даже – сентиментальной. Ей трудно давались жалость и снисходительность, но она охотно лила слезы над участью жертв эпидемии в отдаленных краях или бедными солдатиками, которые рискуют жизнью на границах ее империи. Поскольку большею частью императрица показывалась на людях приветливой и улыбающейся, подданные, забыв о пытках, грабежах, казнях, которые свершались в ее царствование, называли ее между собой «Милостивая». Даже придворные дамы и фрейлины, которых она часто награждала пощечинами или бранила так, что гренадер бы покраснел, услышав эти слова, – даже они бывали растроганы, когда после несправедливого наказания она принималась просить прощения: «Виновата, матушка!» Но самой нежной и самой внимательной она была к своему морганатическому супругу – Алексею Разумовскому. Если холодало, Елизавета сама застегивала ему шубу, позаботившись о том, чтобы этот типично супружеский жест был замечен всеми окружающими. Если Разумовский не мог подняться с кресла, прикованный к нему приступом подагры (а такое случалось часто), она отменяла самые важные и интересные приемы, чтобы составить ему компанию. И привычная жизнь во дворце начиналась только после выздоровления больного.

И, тем не менее, верной женой Елизавета не была – она обманывала любимого напропалую с молодыми людьми крепкого телосложения, вроде графов Никиты Панина или Сергея Салтыкова. А главным среди этих случайных любовников стал племянник Шувалова, Иван Иванович, которого она предпочитала всем. Почему? Что так привлекало ее в новом избраннике?[63] Конечно, прежде всего – аппетитная свежесть молодого человека, его красота, но ничуть не в меньшей степени – его просвещенность, отличное знание Франции. Императрица,

никогда не любившая читать, не могла нарадоваться, видя, каким нетерпением горит Шувалов, когда должна прийти из Парижа посылка с новыми книгами, как торопится получить последние новинки. Ему было всего двадцать три года, а с ним переписывался сам Вольтер! Вот вам два качества, которые, в глазах Ее Величества, не просто отличали Ивана Ивановича от всех остальных смертных, но делали его поистине несравненным. Рядом с Шуваловым Елизавета чувствовала, что целиком предается *любви и культуре*. И при этом не утомлялись ни ее взгляд, ни ее ум! Отдаваться великолепию искусства, литературы, науки в объятиях энциклопедически образованного мужчины, как казалось императрице, было наилучшим способом учиться играючи. Она выглядела такой довольной этим сладострастно-педагогическим процессом, что Разумовскому и в голову не приходило упрекнуть возлюбленную в измене. Алексей считал даже, что Иван Шувалов достоин самого большого уважения, и одобрял для Ее Величества слияние наслаждений альковных с наслаждениями учеными. Именно Иван Шувалов побудил Елизавету Петровну создать Московский университет и Академию художеств в Санкт-Петербурге. Ощущение при этом императрица испытывала странное, головокружительное – ей мечталось, будто этим она возьмет реванш. Осознавая собственное невежество, она еще больше гордилась тем, что при ней зародилось интеллектуальное движение в России. Ее опьяняла возможность сказать себе: завтрашние ученые, писатели, художники будут всем обязаны именно мне, ничего не знавшей и ничего не умевшей!

В отличие от Разумовского, который мудро и спокойно смирился с тем, что Иван Шувалов, заменив его в алькове, пользуется теперь особыми милостями императрицы, канцлер Бестужев с тоской догадывался: кончается его время, его превосходство надо всеми под угрозой, быстрый взлет молодого фаворита с многочисленной и алчной родней станет причиной его падения. Причем станет скоро. Попытался было оттеснить Шувалова, представив царице очаровательного юношу – Никиту Бекетова.

Однако тот успел лишь ослепить Ее Величество в спектакле, поставленном учениками Кадетской школы, после чего Адониса призвали в армию. И все попытки перевести Бекетова в Санкт-Петербург, поближе к Елизавете Петровне, неизменно проваливались: клан Шуваловых принимал свои меры. Однажды, из чисто дружеских соображений, они порекомендовали юноше смягчающую мазь для лица. Никита доверчиво воспользовался советом, нанес мазь – и физиономия его сразу же покрылась

красными пятнами. А потом началась чудовищная лихорадка. В бреду несчастный проклинал Ее Величество, осыпал ее грубыми и неприличными словами. Изгнанный из дворца, он больше никогда туда не вернулся, оставив «поле боя» Ивану Шувалову и Алексею Разумовскому, которые понимали, принимали и уважали друг друга – так, как свойственно светским, умеющим себя вести и обладающим житейской мудростью мужьям и любовникам.

Наверное, именно под их двойным воздействием царица отдалась своей страсти к зодчеству. Ей захотелось украсить Санкт-Петербург, основанный Петром Великим, – чтобы потомки сочли ее достойной отца. Всякое важное для истории царствование – Елизавета ощущала это каждой клеточкой – должно быть воплощено в камне и камнем вписано в легенду. Она повелела реставрировать Зимний дворец и возвести за три года в Царском селе дворец Летний, который станет потом самой любимой из ее резиденций, – а сколько это будет стоить, Елизавете Петровне было безразлично, она не скупилась, когда речь заходила о ее прихотях. Все эти грандиозные по объему работы были поручены итальянскому архитектору Бартоломео Франческо Растрелли, который к тому же занялся одновременно сооружением храма в Петергофе и разбивкой там парка, равно как и садов в Царском селе. Кроме того, неустанно соперничая с Людовиком XV, который был для нее образцом во всем, что касалось искусства окружать себя роскошью и собственного возвеличивания, императрица решила обратиться к самым известным художникам, поручив им для удовлетворения любопытства будущих поколений запечатлеть на полотне образы Ее Величества и ее приближенных. «Использовав» до предела его возможностей придворного художника Каравака, она пожелала, чтобы из Франции приехал весьма прославленный Жан-Марк Наттье, но того в последнюю минуту отозвали, и царице пришлось довольствоваться его зятем, Луи Токе, которого Иван Шувалов соблазнил гонораром в двадцать шесть тысяч рублей серебром. За два года Токе написал в России десяток портретов, а выполнив всю работу, обозначенную в контракте, передал кисти и краски Луи-Жозефу Ле Лоррену и Луи-Жану-Франсуа Лагрене. Всех этих живописцев выбрал, порекомендовал и оплатил Иван Шувалов: ему никогда не удавалось так успешно послужить во славу своей царственной любовницы, как в то время, когда он привлекал к ее двору известных зарубежных художников и архитекторов.

Если Елизавета Петровна почитала своим долгом украшать столицу прекрасными зданиями, а свои покои – картинами, достойными Версальских галерей, то – при том, как редко она

открывала книгу сама, – привлечь соотечественников к высоким духовным наслаждениям стало для царицы честолюбивой мечтой. Достаточно хорошо говоря по-французски, она пыталась даже писать стихи на этом языке. Правда, несмотря на то, что все европейские дворы были в восторге от поэтических экспериментов русской императрицы, довольно скоро выяснилось, что такое ей не по силам – она быстро потеряла интерес к этому занятию. Зато в Санкт-Петербурге все чаще ставились балеты, и это казалось ей забавным и приятным способом приобщиться к мировой культуре. Большая часть балетных спектаклей была поставлена учителем танцев Елизаветы – французом Ланде. Бесчисленные балы – еще в большей степени, чем спектакли, – давали женщинам возможность предстать во всем блеске, показать всем, насколько элегантны их наряды. Однако во время таких ассамблей дамы не разговаривали ни между собой, ни с гостями мужеского пола. Безмолвные и прямые как жерди, они выстраивались шеренгой с одной стороны зала, не решаясь поднять глаза на кавалеров, выстроившихся с другой. Даже и в танце фигуры проделывались парами с отупляющей медлительностью и немыслимой благопристойностью.

К. Валишевский повествует о том, как злоязычный д'Эон в своих записках изобразил русский двор 1759 года, находя использованные рассказчиком краски далеко не привлекательными: много роскоши, но мало вкуса и еще меньше изящества. Величественные манеры свойственны «семи, десяти лицам». Женщины, в большинстве случаев хорошо одетые и увешанные бриллиантами, имеют в своих костюмах, тем не менее, что-то режущее для французского глаза – любоваться можно лишь нарядами да красотой, если они таковой обладают. В огромной зале, «более короткой, чем Версальская галерея, но гораздо более широкой, обшитой деревом, выкрашенной в зеленый цвет, прекрасно позолоченной, украшенной великолепными зеркалами и ярко освещенной множеством люстр и жирандолей», среди потока золота, серебра и света, они выстраиваются, как в церкви, все с одной стороны, а кавалеры с другой. Они обмениваются глубокими реверансами и не разговаривают даже между собой. Это идолы. Приемы состоят в слушании прекрасной музыки, где артисты, пользующиеся известностью в Париже, – Сакристини, Салетти, Компасси, показывают свои таланты; но частое и всегда однообразное повторение этого удовольствия скоро приедается. Нет уменья разнообразить развлечение и никакого понятия о главной прелести общественных собраний. Вне императорского дворца

мало людей, имеющих дома, куда доступ «был бы свободен и легок и свидетельствовал о близком общении и дружбе. Все почти всегда основано на церемонии». Среди обитательниц Летнего дворца д'Эон обнаружил более привлекательную группу представительниц прекрасного пола: «Среди замужних дам выделяется блестящая группа молодых девушек из самых знатных семей, похожих на нимф и весьма достойных взора и внимания иностранцев». Это были фрейлины. Восхваляя их достоинства, д'Эон отмечает со вздохом, что и с ними «любопытство далеко не может зайти». Довольно близко совпадают с этим описанием и впечатления маркиза Лопиталя, также приведенные Валишевским. Сообщая во Францию, своему министру герцогу де Шуазелю, о всякого рода неприятностях, преследовавших его при дворе Елизаветы Петровны, он пишет: «Не говорю уже о скуке, она невообразима!»[64]

Победить эту скуку Елизавета надеялась с помощью первых на Руси театральных представлений. Она разрешила основать в Санкт-Петербурге компанию французских артистов, в то время как Сенат дал согласие на то, чтобы немец Хильфердинг (Hilferding) пользовался привилегией ставить комедии и оперы в обеих столицах.

Кроме того, в праздничные дни публике предлагались и русские народные спектакли – как в Санкт-Петербурге, так и в Москве. Среди них стоит назвать мистерию «Рождество Христово», в которой, из уважения к догматам православной церкви, Елизавета запретила, чтобы актриса появлялась перед зрителями в облике Богоматери. Всякий раз, как Святая Дева должна была произнести какую-то реплику, на сцену выносили икону. Впрочем, полиция предусмотрительно запретила играть спектакли, даже и религиозного содержания, в частных домах.

В то же самое время молодой писатель Александр Сумароков завоевал большой успех своей написанной по-русски трагедией «Хорев». Поговаривали также как о невероятном новшестве о строительстве в Ярославле театра на тысячу мест, заложенного неким Федором Григорьевичем Волковым, который устраивал там представления собственных пьес в стихах и прозе. Часто он выходил на сцену и сам.

Удивленная внезапным пристрастием российской элиты к сценическому искусству Елизавета Петровна простерла свое благоволение театру настолько далеко, что разрешила актерам носить шпагу – до сих пор эта честь была привилегией только дворянства.

На самом же деле большую часть времени пьесы, представлявшиеся на санкт-петербургских и московских

подмостках, были бледным переложением на русский язык самых знаменитых французских драматических сочинений. «Скупой» чередовался на афише с «Тартюфом», «Полиевкт» с «Андромахой»… И вдруг, движимый поразительной дерзостью, Сумароков пишет русскую историческую драму «Синав и Трувор», вдохновленную прошлым Новгородской республики. Это литературное произведение нашло отклик повсюду, вплоть до Парижа, где «Le Mercure de France» («Французский Меркурий») расценил его как курьез. Мало-помалу русская публика, по примеру Елизаветы и Ивана Шувалова, стала интересоваться рождением нового средства выразительности, которое хотя и было пока всего лишь подражанием великим творениям западной литературы, но – благодаря использованию родного для читателя и зрителя языка – выглядело подобием оригинального произведения.

Не ослабляя усилий, Сумароков сделал еще один рывок – и создал литературное обозрение «Трудолюбивая Пчела», которое год спустя стало еженедельником «Праздное Время», публиковавшимся в Кадетском корпусе. Он приперчивал свои тексты известной долей иронии в вольтерьянском духе, но – без малейшей философской дерзости. Короче, он суетился, он лез из кожи вон в той области, где все было ново, будь то мысль или изложенный на бумаге текст. И, тем не менее, в ряду первопроходцев, где он стоял на одной ступени с Тредиаковским и Кантемиром, уже выдвигался на первое место совсем другой автор.

И снова честь открытия этого автора принадлежит Ивану Шувалову. Тот, в ком Шувалов провидел гения, был странным человеком, в котором было что-то от мечтателя и бродяги, человеком, который брался за все подряд. Звали его Михаил Ломоносов. Сын скромного рыбака из-под Архангельска, Ломоносов провел большую часть своего детства в родительской лодке, бороздившей в холода и бури пространство между Белым морем и Атлантическим океаном. Его обучал грамоте приходский священник, затем, охваченный страстью к учению и путешествиям, он сбежал из отцовского дома и пустился странствовать. Шел голодный, оборванный, спал незнамо где, ел незнамо что, жил милостыней, но никогда не упускал из виду намеченной цели. Цель эта была – Москва. Когда – этап за этапом – был пройден его долгий путь и он оказался в старой столице, ему было семнадцать лет, живот его был пуст, зато голова полна замечательных идей и проектов. Ему дал пристанище один монах, и он, выдав себя за поповича, пришедшего в Москву набираться ума-разума у великих умов, был по протекции принят в Славяно-

Греко-Латинскую академию.

Юношу с острым умом и исключительной памятью скоро заметили, направили сначала в Санкт-Петербург, а оттуда – в Германию. Согласно предписаниям тех, кто его послал за границу, Ломоносову следовало там усовершенствовать свои познания во всех областях. В Марбурге он подружился с философом и математиком Христианом фон Вольфом, и тот стал руководить его чтением, помог ему открыть для себя Декарта, побуждал к участию в научных дискуссиях. Однако для Ломоносова ничуть не менее, чем умственные построения, оказались привлекательны упражнения поэтические, а Германия предоставляла для этого особые условия, ибо под эгидой Фридриха II, который ставил себе в заслугу развитие культуры, стихосложение стало модным занятием. Восхищенный и взволнованный примером вышестоящих, Ломоносов тоже стал писать стихи – причем писать много и быстро. Впрочем, даже и занятия литературой не могли подолгу удерживать его за рабочим столом: внезапно он бросал перо ради игорных домов, притонов и шалостей с девушками. Его беспорядочная жизнь оказалась столь скандальной, что над ним нависла угроза ареста, и ему пришлось бежать, ведь непутевого русского студента могли силой забрать в прусскую армию. В конце концов его все-таки поймали, бросили в тюрьму, но он сбежал и оттуда, чтобы – без сил и без гроша – вернуться в Санкт-Петербург.

Эти непрерывные приключения нисколько не образумили Ломоносова, напротив, они привели его к мысли о необходимости борьбы – и борьбы с приложением всей имевшейся у него энергии – против злой судьбы и неискренних друзей. Тем не менее, на этот раз, если он и хотел где-то отличиться, то – в поэзии, а не в дебошах. Вдохновило его восхищение государыней: в ней Ломоносов видел больше чем наследницу Петра, он видел в ней символ России, движущейся к великому будущему. Охваченный чистосердечным порывом, он посвящал царице стихи, исполненные почти религиозного благоговения. Конечно, ему были известны его предшественники в этом жанре: Василий Тредиаковский и Александр Сумароков, но наличие этих двух собратьев по перу, которые встречали его кислыми физиономиями, стоило появиться в маленьком кружке столичных интеллектуалов, вовсе его не смущало. Он вдруг почувствовал, что превзошел обоих. Впрочем, и они не замедлили догадаться, какую опасность для их славы представляет этот новичок, превосходящий их обоих как полнотой замыслов, так и богатством словаря. Между тем, сфера деятельности у всех троих была одна и та же. Следуя примеру старших, Ломоносов принялся

сочинять панегирики Ее Величеству и гимны, воспевавшие воинскую доблесть России. Но если повод для сочинения у Ломоносова всегда был общепринятым, так сказать, классическим, то стиль и просодия оказались отмеченными невиданной силой и мощью. Язык его предшественников, изысканный и помпезный, был еще полон славянизмов. Его же лексика – впервые в российских печатных изданиях – приближалась (конечно, пока еще робко) к тому языку, на котором говорили люди между собой и который питался из источников иных, чем Священное Писание и Требник. Не спускаясь с Олимпа, он сделал несколько шагов по направлению к словарю улицы. Так кто же из современников мог не быть ему за это признателен? Благодарности дождем сыпались на его голову. Но аппетит Ломоносова по части признания был велик и рос с каждым днем, его не могли удовлетворить только литературные успехи. Расширяя границы благоразумного тщеславия, он вознамерился пройтись по всему кругу человеческой мысли, познать все, сделать для себя запасы всего, испробовать все, преуспеть одновременно во всем.

Ломоносова поддерживал в этом Иван Шувалов, назначивший его – почему бы и нет? – президентом Академии наук. Свою деятельность там Ломоносов начал с курса экспериментальной физики, но любопытство толкало его от одной дисциплины к другой, и так же одно за другим появлялись из печати его исследования: «Введение в истинную физическую химию», «Диссертация об обязанностях журналистов, посвящающих свои сочинения свободе философствования» (на французском языке) и, вероятно, чтобы отмыть себя от подозрений православной церкви в западном атеизме, – «Размышления о полезности церковных книг для русского языка». Эти и другие научные работы, родившиеся под его плодовитым пером, чередовались с одами, эпистолами, трагедиями. В 1748 году Ломоносов пишет трактат о русском красноречии. На следующий год – новая идея: теперь он увлекается промышленной окраской стекла и глубоко постигает эту проблему. Точно такой же энтузиазм охватывает его, когда он составляет первый словарь русского языка. То он поэт, то он химик, то минералог, то лингвист, то грамматик – но кем бы в данный момент он ни был, он целыми неделями не выходит из своего кабинета или из лаборатории, устроенной им в Москве, в Сухаревой башне, построенной когда-то Петром Великим. Отказываясь терять время на еду – ведь множество интересных задач еще нуждается в решении, – порой он довольствуется куском хлеба с маслом и тремя глотками пива, после чего продолжает работу до полного изнеможения, трудится, пока не

рухнет головой на стол. Когда наступал вечер, прохожие с тревогой смотрели на свет в окнах этого рабочего логова, не понимая, в угоду кому все это – Богу или дьяволу. Обладая поистине чудовищной эрудицией и интеллектуальной жадностью, живя в непрерывной борьбе с невежеством и фанатизмом народа, Ломоносов дошел до того, что стал оспаривать в 1753 году приоритет в открытии электрической силы у Бенджамина Франклина. Но так же много он занимался практическим приложением науки. Имея в виду эту перспективу, он и приступил – с помощью Ивана Шувалова – к реорганизации первого университета, руководству императорским фарфоровым заводом, а также производству стекла и мозаики.

Елизавета очень быстро оценила заслуги Ломоносова. Ее восхищение и покровительство стали достойным ответом на многочисленные похвалы Ее Величеству в его стихах. Полуграмотной императрице культуру с успехом заменял здоровый природный инстинкт. Именно инстинкт заставил ее как выбрать в качестве фаворита, а потом и тайного супруга простого крестьянина, бывшего церковного певчего, так и доверить позже просвещение своей империи другому крестьянину – сыну рыбака и гениальному, разностороннему человеку. В обоих случаях она обращалась к детям народа за помощью в деле возвышения этого народа. Как будто знала, что мудрость кроется в самых глубинных пластах людского чернозема. Елизавете Петровне достаточно было познакомиться с первыми работами Ломоносова, чтобы понять, что главным в ее царствовании будут не монументы, не законы, не назначения министров, не военные завоевания, не праздники с фейерверками, но – рождение настоящего русского языка. А ведь никто из ее окружения даже еще и не догадывался, что живущая повседневной жизнью страна на самом деле переживает революцию. Неощутимо менялись не умы и не нравы, нет, менялись способы выбора и выстраивания в определенном порядке слов, способы выражения мысли. Освобожденное от веками сковывавшей его оболочки церковнославянского языка, русское слово будущих столетий выходило на простор. А сын рыбака с Крайнего Севера своими произведениями дал ему путевку в жизнь.

Если Ломоносову повезло в том, что Елизавета помогла ему сделать величайшую карьеру, то Елизавете повезло с тем, что под ее сенью Ломоносов создал русский язык завтрашнего дня.

Летом 1741 года Ломоносов возвратился в Россию, уже известный в Петербурге и своею одою, и отличными отзывами некоторых его наставников в Германии, и очень дурными отзывами других, и собственными признаниями в беспорядочном

поведении. Подобно великому царю, который начал походы русских людей на Запад за наукою, и Ломоносов должен был явиться здесь и очень хорошим, и очень дурным человеком. У Ломоносова была та же богатырская природа, то же обилие сил; но мы знаем, как любили погулять богатыри, как разнуздывались их силы, не сдержанные воспитанием, границами, которые вырабатывает зрелое, цивилизованное общество для проявления этих личных сил, часто стремящихся нарушить его нравственный строй. Отсутствие благовоспитанности в Петре могло резко броситься в глаза людям из высшего западного общества, и особенно женщинам, которые и оставили нам отзывы об этой неблаговоспитанности вместе с отзывами о необыкновенных достоинствах царя. Что же касается Ломоносова, то в тех кругах, в которых он находился за границею, его несдержанность, его богатырские замашки могли поражать далеко не всех. Нам тяжело теперь говорить о пороке, которому был подвержен Ломоносов, о тех поступках, которые были следствием его шумства; но мы знаем, что современники смотрели на это шумство и беспорядки, от него происходившие, гораздо снисходительнее. Французские писатели середины XVII века с радостью констатируют, что пьянство вывелось у них в высших кругах и предоставлено низшим.

X. Ее величество и их высочества

В 1750 году, окончательно запутавшись в событиях как внешнего мира, так и внутрисемейных, Елизавета не могла сообразить, что же теперь делать. Подобно Европе, которая содрогалась от соперничества и бесконечных войн, великокняжеская чета с грехом пополам существовала без какого бы то ни было твердого руководства и, кажется, без каких бы то ни было планов на будущее. Грубость Петра Федоровича проявлялась при каждом удобном и неудобном случае. Он стал старше, но возраст не только не сделал его мудрее, но, похоже, лишь еще более обострил все неприятные черты характера. В двадцать два года он по-прежнему увлекался марионетками, командовал, переодевшись в прусский мундир, парадами маленького голштинского войска в Ораниенбауме, собирал военный совет, чтобы приговорить к смертной казни через повешение крысу. Что же до любовных игр, то они занимали его все меньше и меньше. Хвастаясь перед Екатериной своими воображаемыми победами, к ней самой он и кончиком пальца не прикасался – так, будто она внушала ему страх или отвращение – только потому, что была женщиной, а он полностью игнорировал эту половину рода человеческого. Униженная, не получавшая удовлетворения в своих желаниях и надеждах, Екатерина искала забвения во французских романах, которые с жадностью поглощала. Тут были и произведения мадемуазель де Скюдери, и «Астрея» Оноре д'Юрфе, и «Кловис» Демаре, и «Письма» мадам де Севинье или – вот это было в высшей степени дерзко! – «Жизнь галантных дам» Брантома.

А когда она переставала листать страницы книг, то переодевалась, по примеру императрицы, в мужской наряд и отправлялась охотиться на уток по берегам прудов или седлала лошадь и скакала вполне бесцельно, подставляя лицо ветру, – просто так, чтобы расслабиться. Остатки уважения к благопристойности вынуждали ее притворяться, будто она садится в седло таким образом, как села бы в амазонке, но стоило скрыться от посторонних глаз – и Екатерина тут же садилась по-мужски, верхом. Надлежащим образом об этом проинформированная императрица горько сожалела о таких пристрастиях всадницы, которые, как ей казалось, и были причиной бесплодия невестки. А Екатерина не знала, смеяться ей над такой заботой о ее потомстве или раздражаться ею.

Если великий князь пренебрегал Екатериной, то другие мужчины, напротив того, охотно и довольно открыто за нею

ухаживали. Даже уполномоченный следить за царской невесткой весьма добродетельный Чоглоков, и тот смягчался при виде нее и время от времени отпускал в ее адрес комплименты, в которых ясно читалась неприкрытая похоть. Поддавшаяся когда-то очарованию Чернышевых, теперь она внезапно обнаружила, что ей приятны ухаживания нового члена их семьи по имени Захар: он стоил всех предыдущих. Захар появлялся на каждом балу и пожирал Екатерину глазами в ожидании момента, когда сможет с ней потанцевать. По слухам, они даже обменивались любовными посланиями. Елизавета, увидев это, насторожилась, и – в самый разгар флирта – Захар Чернышев получил императорский указ немедленно отправиться в свой полк, квартировавший далеко от столицы. Но Екатерина не успела даже пожалеть о его отъезде, потому что сразу же Захар был более чем успешно замещен весьма привлекательным графом Сергеем Салтыковым. Потомок одного из древнейших родов империи, входивший в число камергеров маленького великокняжеского двора, он был женат на фрейлине императрицы и имел с нею двух детей. Представитель расы «настоящих самцов», Салтыков сгорал от желания доказать это великой княгине, но осторожность пока еще удерживала его от активных действий. Присоединившаяся к Чоглоковым новая «надзирательница» и камеристка великокняжеской четы мадемуазель Владиславова доносила Бестужеву и Елизавете Петровне о том, как развивается идиллия, способная привести к двойному адюльтеру. Однажды, когда госпожа Чоглокова в десятый раз объясняла Ее Величеству, как ее тревожит пренебрежение великого князя, выказываемое им супруге, на Елизавету снизошло озарение, и она вернулась к мысли, преследовавшей ее со времен помолвки племянника. Как только что сказала ее собеседница, для того чтобы ребенок появился на свет, настоятельно необходимо, чтобы будущий отец «немного потрудился». Следовательно – что? Следовательно, чтобы добиться рождения престолонаследника, нужно воздействовать не на Екатерину, а на Петра Федоровича! Вызвав к себе Алексея Бестужева, императрица подробно обсудила с ним, каков может быть лучший способ решения проблемы. Факты таковы: после пяти лет брака супруг так и не лишил великую княгиню девственности. Однако, судя по последним новостям, у Екатерины завелся любовник, мужчина совершенно нормального сложения – Сергей Салтыков. А это означает следующее: надо обойти Сергея Салтыкова в скорости и подарить Петру Федоровичу возможность обрюхатить жену. Придворный лекарь Бергааве (Boerhaave) утверждает, что избавить Его Высочество от фимоза, делающего его неспособным удовлетворить его

августейшую половину, можно путем маленькой хирургической операции. Естественно, в том случае, если операция не даст нужного результата, Сергей Салтыков окажется тут как тут, чтобы инкогнито исполнить роль *оплодотворителя*. Да и вообще лучше двойная гарантия зачатия, чем никакой. Иными словами, для того чтобы обеспечить Петру Великому потомство, лучше ставить сразу на две карты: позволить Екатерине проводить время со своим любовником, а одновременно подготовить ее мужа к тому, чтобы он мог иметь с ней плодотворные сношения. Династические заботы и дух семьи соединились здесь, чтобы подсказать царице мудрую стратегию, дающую ей в руки одновременно различные средства для достижения цели. Кроме того, сама никогда не имевшая детей, несмотря на многочисленные любовные связи, Елизавета Петровна не могла понять, почему женщина, не обделенная от природы физическими данными, способствующими материнству, не решается на то, чтобы получить из рук другого мужчины счастье, в котором супруг ей отказывает. Мало-помалу в мыслях императрицы измена великой княгини мужу, адюльтер, который вначале представлялся нелепым пустяком, приобрел характер навязчивой идеи, просто-таки священной, просто-таки приравниваемой к патриотическому долгу.

По наущению Елизаветы, госпожа Чоглокова, превратившаяся ради такого случая в самую близкую из подруг, отправилась объяснять Екатерине, что бывают ситуации, когда честь женщины заключается в том, чтобы потерять эту честь ради блага страны. И Мария поклялась великой княгине, что никто на свете, даже и императрица, не посмеет осудить ее за это нарушение супружеской верности. Таким образом, Екатерина могла теперь принимать у себя Сергея Салтыкова с благословения Ее Величества, канцлера Бестужева и семьи Чоглоковых – и отныне делала это не только для собственного удовольствия. А в то же самое время лично доктором Берхааве была произведена и маленькая, совершенно безболезненная операция на половых органах великого князя. Дабы убедиться в том, что один взмах ланцета сделал племянника «годным к употреблению», императрица подослала к нему молодую и красивую вдову художника Грота, о которой говорили, что ее мнению на этот счет можно доверять. Доклад вдовушки гласил: все в порядке! Впрочем, и великая княгиня сумела убедиться в том, что муж наконец стал нормальным мужчиной. Услышав эту новость, Сергей Салтыков вздохнул с облегчением, а Екатерина – тем более: дело в том, что Петру Федоровичу нужно было обязательно проявить себя в постели вовремя хотя бы разок, чтобы она смогла

объявить его отцом ребенка, которого уже несколько недель носила под сердцем.

Увы! В декабре месяце 1750 года во время охоты у Екатерины появились сильные боли. Выкидыш. Несмотря на разочарование, царица и Чоглоковы удвоили внимание к великой княгине, побуждая ее сделать еще одну попытку – тем или иным способом, с Салтыковым или все равно с каким «дублером». Какая разница, кто будет настоящим отцом, важно, что есть фиктивный! В марте 1753 года Екатерина снова почувствовала, что беременна. Но – снова случился выкидыш, на этот раз на обратном пути с бала. К счастью, царица обладала завидным упрямством: вместо того чтобы потерять надежду, она стала подбадривать Салтыкова получше исполнить свою роль жеребца-производителя. И вот, спустя всего семь месяцев после второго выкидыша, подтверждается новая беременность великой княгини. Тут же известили Елизавету Петровну – она ликовала. Теперь все пройдет так, как надо, думала императрица. Беременность вроде бы протекала нормально, и она решила, что правильно будет услать куда-нибудь Салтыкова, ведь его услуги были уже ни к чему, – решила и сразу же передумала: все-таки для того, чтобы у невестки было хорошее настроение, лучше подержать любовника в резерве, по крайней мере до родов.

Конечно, раздумывая о будущем, о малыше, который должен явиться на свет, Елизавета Петровна сожалела, что это будет бастард, и пусть его признают наследником престола, на самом деле в его жилах не окажется ни капли крови Романовых. И решала: все равно этот генеалогический обман, никому, естественно, не известный, лучше, чем воцарение этого несчастного бедняги, двенадцатилетнего теперь уже царевича Ивана, рязанского узника, которого, как предполагалось, впоследствии перевезут в Шлиссельбургскую крепость. Притворяясь, что верит, будто ребенок Екатерины – законный отпрыск Петра Федоровича, императрица окружала вниманием и заботой мать-прелюбодейку, без которой ей уже невозможно было обойтись. Ее раздирали противоречия: с одной стороны, грызла совесть из-за затеянного ею немыслимого мошенничества, а с другой – как было не гордиться собственной предусмотрительностью, обеспечившей непрерывность династии. Ей хотелось бы высказать негодование, возмущение прямо в лицо этой ловкачке, этой закоренелой распутнице, но… но ведь чувственность великой княгини, ее безнравственность, ее дерзость были так схожи с чувственностью, безнравственностью, дерзостью самой царицы! Нет, какое там негодование – надо сдерживаться, ведь завтрашние историки по ее поведению станут

судить о ее царствовании. И пусть уж в их глазах, как и в глазах придворных, Ее Величество выглядит государыней, с благоговейной надеждой ожидающей дня, когда ее обожаемая невестка произведет на свет первенца великого князя Петра, этот ниспосланный провидением плод любви, благословленной Церковью. Потому что это не женщина должна родить – это сама Россия сейчас готовится разрешиться от бремени, подарить жизнь своему будущему императору.

В течение долгих недель Елизавета жила в покоях, соседних с той комнатой, где великая княгиня ждала дня родов. На самом-то деле, если она и хотела держаться поближе к невестке, то вовсе не от любви к ней, а затем, чтобы помешать предприимчивому Салтыкову наносить Екатерине слишком частые визиты: пойдут пересуды, тайна выплывет наружу. Стоило бы вообще отослать этого нежелательного отныне производителя в какой-нибудь гарнизон подальше отсюда… А о том, как сложится потом чувственная жизнь великой княгини, можно будет подумать после… не время пока! Пусть она радуется тому, что станет матерью. И пусть принесет мальчика! Девочка только осложнила бы все… Ладно, еще разберемся… День за днем царица что-то подсчитывала, советовалась с врачами, обращалась к старцам, истово молилась перед иконами.

И вот в ночь с 19 на 20 сентября 1754 года Екатерина – после девяти лет супружества! – ощутила наконец боли, характерные для схваток. Императрица, граф Александр Шувалов, великий князь Петр устремились в покои роженицы, чтобы присутствовать при великом событии. 20 сентября, в полдень, увидев в руках повивальной бабки еще покрытого слизью и кровью ребенка, Елизавета Петровна была вне себя от радости: слава Богу, мальчик! Ею уже было выбрано имя: сын великого князя будет Павлом, Павлом Петровичем. Вымытый, запеленатый, окрещенный малым крещением с помощью духовника императрицы, новорожденный не больше минуты провел на руках матери. Екатерина едва успела поцеловать, потрогать малыша, вдохнуть его теплый запах. Ребенок уже не принадлежал ей – он принадлежал России, или – скорее – императрице! Даже не взглянув на измученную родами, стонущую роженицу, Елизавета унесла младенца, крепко прижав его к груди – как драгоценную добычу. Отныне она станет держать его в особых покоях, станет лично наблюдать за ним. Екатерина больше ей не нужна. Она выполнила свою задачу курицы-несушки и теперь не представляет ни для кого никакого интереса. Может вернуться в свою Германию, никто во дворце не заметит ее отсутствия!

Склонившись над колыбелью, Елизавета Петровна с тревогой

вглядывалась в сморщенное личико новорожденного. Увы, в столь нежном возрасте «семейных черт» не различишь! Ну и хорошо! Так даже лучше: будет он похож на мужа или на любовника, результат один. Начиная с сегодняшнего дня, мне все равно, что будет с этой самодовольной макакой – великим князем Петром Федоровичем! Будет ли он жить дальше или умрет – значения не имеет, наследование престола уже обеспечено!

Пушечные залпы, веселый перезвон колоколов – таким был город в этот день. И только Екатерина – одна в своей спальне, жаркой и душной после суеты, сопровождавшей роды, – безутешно плакала, снова чувствуя себя покинутой и заброшенной. А неподалеку, просто-таки за дверью ее комнаты, великий князь, окруженный офицерами своего голштинского полка, опустошал стакан за стаканом «за здоровье своего сына Павла».

Что до дипломатов, императрица подозревала: проявляя обычную свою язвительность и не скрывая насмешки, каждый из них в отдельности комментировал странности появления на свет наследника российского престола. Тем не менее, она твердо знала и другое: даже поняв суть маневра – не дураки же сидят в министерствах иностранных дел разных стран! – никто не осмелится сказать вслух, что Павел Петрович – дитя незаконной связи и что великий князь Петр на самом деле – самый великий из рогоносцев в России. И это молчаливое признание лжи истиной современниками перерастет у будущих поколений в уверенность, а ей, Елизавете, дороже всего именно суждения потомков.

По случаю крестин императрица решила засвидетельствовать матери новорожденного свое удовлетворение, приказав отнести той на подносе кое-какие драгоценности и приказ выплатить Екатерине сто тысяч рублей – такую цену она положила, покупая наследника престола. Затем, полагая, что проявлено уже достаточно участия, распорядилась из соображений благопристойности отправить Сергея Салтыкова с миссией в Стокгольм. Ему было поручено отвезти королю Швеции официальное уведомление о рождении в Санкт-Петербурге Его Высочества Павла Петровича. При этом царица ни на секунду не задумалась о том, как странно будет выглядеть этот незаконный отец, получая поздравления, предназначенные отцу законному. Сколько времени продлится миссия Салтыкова? Елизавета не уточнила, и Екатерина впала в отчаяние. Пустое кривлянье бабенки, которой не хватает любви, рассудила императрица – и не стала жалеть молодую женщину: слишком много любовных приключений пережила она сама, чтобы вдруг растрогаться

чьими-то чужими…

Пока Екатерина горевала, лежа в постели и дожидаясь времени, когда разрешат подняться, Елизавета устраивала балы, приемы, банкеты – их было чуть ли не вдвое больше, чем обычно: во дворце неустанно праздновали событие, на которое не теряли надежды почти десять лет. Наконец, 1 ноября 1754 года, сорок дней спустя после родов, по протоколу потребовалось, чтобы придворные и представители дипломатического корпуса принесли поздравления великой княгине. Екатерина приняла гостей, полулежа на парадной постели, покрытой розовым бархатом с серебряными кружевами. Комнату по такому случаю роскошно меблировали и устроили в ней настоящую иллюминацию. Царица собственной персоной явилась осмотреть место действия перед церемонией: все ли в порядке, нет ли каких упущений. А сразу же после торжественного приема приказала унести и мебель, и добавленные прежде канделябры. Кроме того, согласно полученному от Елизаветы распоряжению, великокняжеская чета должна была перебраться в свои обычные апартаменты в Зимнем дворце: косвенный способ показать невестке, что свою роль она уже сыграла и отныне мечта должна уступить место действительности.

В то время как не ведающий об этом «скандале в благородном семействе» Петр вернулся к своим ребяческим забавам и к попойкам, великая княгиня должна была встретиться лицом к лицу с новым наставником: Чоглоков успел скончаться, и его место занял граф Александр Шувалов, брат Ивана. Екатерина предчувствовала, что столкнется в его лице с человеком пронырливым, повсюду сующим свой нос и мелочно-дотошным. Оказалось – даже хуже того. Едва приступив к своим обязанностям, граф устремился на завоевание симпатий завсегдатаев великокняжеского кружка и дружбы самого Петра Федоровича, а потому всячески приветствовал его безрассудную страсть к Пруссии, в результате германофилия великого князя и вовсе вышла из берегов. Петр повелел, чтобы ему прислали с родины новых рекрутов, и устроил в дворцовом парке Ораниенбаума укрепленный лагерь, который назвал Петерштадтом. Пока он вот так развлекался, воображая себя немецким офицером, командующим немецкими войсками на земле, которую хотел бы видеть немецкой, Екатерина, еще более одинокая, чем обычно, впала в неврастению. Как она и опасалась сразу после родов, Сергей Салтыков, недолго пробыв с миссией в Швеции, сразу же был послан дипломатическим агентом третьего класса в Гамбург: царица, пусть даже и ненавидевшая своего племянника, поторопилась сжечь мосты между любовниками.

Кроме того, она только в исключительных случаях разрешала Екатерине увидеть ребенка. Приемная мать, в которой преобладали собственнические чувства, она стерегла колыбель и не допускала у великой княгини даже мысли о том, как воспитывать сына. Можно было подумать, что настоящей матерью маленького Павла была отнюдь не Екатерина, а Елизавета, что это она носила его под сердцем девять месяцев, а потом в муках произвела на свет Божий…

Отчаявшаяся, упавшая духом, лишенная того, что ей было дороже всего, Екатерина пыталась забыть о немилости судьбы, с пылом отдавшись серьезному чтению. За «Анналами» Тацита последовал «Дух закона» Монтескье, потом – некоторые исторические эссе Вольтера. Обделенная в этот период любовью молодая женщина старается компенсировать нехватку человеческого тепла интересом к философии и даже к политике.

А когда она снова появляется в столичных гостиных, то с куда большим, чем прежде, вниманием прислушивается к беседам дипломатов – порой они отличались блеском. Живя рядом с мужем, целиком поглощенным военными бреднями, Екатерина, вопреки всему, набирается уверенности, созревает интеллектуально, духовно, и это не ускользает от внимания окружающих. Елизавета, чье здоровье ухудшалось параллельно с тем, как расцветала невестка, тоже замечает происходящие с той изменения, скорость и сила которых постоянно нарастали. Вот только императрица пока не знает, радоваться тут надо или тревожиться. Страдающая астмой и водянкой императрица, старея, все больше привязывается к красавцу Ивану Шувалову – он становится на данном этапе главным смыслом жизни Елизаветы и ее лучшим советчиком. Может быть, потому царица все чаще подумывает, не стоит ли для ее личного спокойствия Екатерине, как ей самой, завести постоянного возлюбленного, который бы удовлетворял ее во всех отношениях и не оставлял ни времени, ни желания вмешиваться в государственные дела.

И вот где-то в середине 1755 года, точнее – на Троицу, в Санкт-Петербург приезжает новый полномочный посол Англии. Его зовут Чарлзом Генбери Уильямсом (Charles Hambury), а среди сопровождающих его лиц сразу становится заметен молодой и резвый польский аристократ Станислав-Август Понятовский.

Двадцатитрехлетний Станислав был помешан на западной культуре, посещал все европейские салоны, был лично знаком в Париже со знаменитой мадам Жоффрен, которую называл «мамой», в Лондоне водил дружбу с министром Горацием Уолполом (Horace Walpole).

Считалось, будто он говорит на всех возможных языках,

отлично чувствует себя в любом климате и нравится каждой женщине. Едва приехав в Россию, Уильямс подумал о том, что надо бы использовать «поляка», чтобы соблазнить великую княгиню и сделать из нее свою союзницу в борьбе, которую он предполагал вести против пруссофилии великого герцога. Канцлер Алексей Бестужев, которого поддерживала в этом вся «русская партия», был, впрочем, готов помочь британскому посланнику в осуществлении его замыслов. Обладая завидным чутьем, он желал видеть Россию откровенно держащей сторону Англии в случае конфликта с Фридрихом II. Если верить слухам, то ведь и сам Людовик XV, опасаясь новой войны, стремился возобновить отношения с Россией! Каждый день беседуя в гостиной со Станиславом Понятовским, Екатерина все больше погружалась в характерный для Европы того времени хаос. Не отдавая себе в этом отчета, она видела за всеми международными проблемами прекрасное лицо поляка. Но Станислав, несмотря на огромный успех в свете, был чудовищно застенчив. Весьма скорый на словах, он столбенел от почтения перед грацией, элегантностью, умением великой княгини метко ответить на любой вопрос. Сгорая от желания, он немел, не решаясь высказать его. Помог влюбленным Лев Нарышкин – веселый спутник Сергея Салтыкова в его забавах. Именно он заставил Станислава Понятовского осмелиться и перепрыгнуть через пропасть. Верная камеристка Екатерины, мадемуазель Владиславова, сделала все, чтобы облегчить им возможность первых свиданий в Ораниенбауме. Всегда падкая на сплетни, касающиеся интриг и интрижек, императрица вскоре узнала, что невестка нашла замену Сергею Салтыкову, что последнего ее любовника зовут Станиславом Понятовским и что голубки неустанно воркуют, а муж, которому в сущности это совершенно безразлично, закрывает глаза и затыкает уши.

Елизавету Петровну не обеспокоила и не рассердила новая выходка невестки, но ей подумалось: а не скрывается ли за этой любовной связью какая-то политическая интрига. Ей вдруг почудилось, будто в России существует два соперничающих двора: «большой» – двор Ее Величества и «малый» – великокняжеский. И еще ей показалось, что интересы этих двух эманаций власти сугубо противоречат друг другу. Чтобы убедиться, каковы истинные симпатии традиционно франкофильского «большого двора», Людовик XV послал высококлассного эмиссара – сэра Маккензи Дугласа (Mackenzie Douglas). Шотландец по происхождению, кавалер Дуглас был приверженцем Стюартов, укрывшимся во Франции, и принадлежал к «параллельному кабинету» Людовика

Возлюбленного, называвшемуся «Тайной короля». Прибыл Дуглас в Россию якобы ради покупки мехов, а на самом деле – чтобы передать царице секретный код, который позволит ей переписываться с Людовиком без посредников. Прежде чем Дуглас пустился в дорогу, его предупредили о том, что его миссии предстоит быть куда сложнее и деликатнее, чем казалось, потому что отныне Лондон платил Бестужеву за то, что он согласился на англичан работать. И даже великая княгиня, при поддержке нынешнего своего любовника Понятовского, как говорили, склонялась на сторону Британии. Прежде отдаленный от польского двора князь сейчас снова был к нему приближен, получив официальное признание: между делом его назначили представителем короля в России. Теперь его присутствие здесь было узаконено, и Екатерина увидела в этом знак того, что ее связь с поляком ожидает мирное будущее. Впрочем, она и без того успокоилась на этот счет, благодаря недавней перемене отношения к себе Алексея Бестужева. Присоединившись к великому канцлеру в клане друзей Англии, Екатерина почувствовала, что никакая опасность и никакие нападки больше ей не грозят: была отменена даже отвратительная слежка, объектом которой, по приказу императрицы, являлась великая княгиня. Теперь Елизавете Петровне шли из Ораниенбаума донесения только по поводу ориентированных на Пруссию выходок ее племянника.

В этой обстановке взаимной слежки, осторожного торга и вежливой лжи в Санкт-Петербурге был состряпан первый договор о том, как следует вести себя разным государствам в случае франко-прусского конфликта. Но, пока велись эти державшиеся в строгой тайне переговоры, 16 января 1756 года в Вестминстере внезапно было подписано новое соглашение, в котором черным по белому оказалось сказано: если война станет всеобщей, Россия присоединится к Франции в ее борьбе с Англией и Пруссией. Столь резкая перемена союзников сильно удивила непосвященных и возмутила Елизавету. Теперь не оставалось сомнений: Бестужеву кто-то заплатил больше, и он решил пожертвовать обязательствами чести, принятыми Россией раньше в отношении Пруссии. Что касается Екатерины, с ее непостоянством и гуляющим в голове ветром, то она только обрадовалась возможности присоединиться к великому канцлеру в такой скандальной истории. Да она и всегда легко подпадала под влияние французского духа! Ярость Елизаветы, вызванная политическими проблемами, еще усилилась из-за оскорбленного самолюбия. Нынче она уже преисполнилась сожалений о том, что именно канцлеру Алексею Бестужеву было доверено вести

международные переговоры, тогда как вице-канцлер Воронцов и братья Шуваловы советовали повременить с ними.

Приключение с Валькруассаном, случившееся уже тогда, когда приезжал в Россию другой французский агент, Дуглас, показывает, что Валькруассан был отправлен совершенно иными лицами, чем Дуглас, и это именно бывало в царствование Людовика XV, который через доверенных лиц вел свои сношения мимо министерства. Дуглас Маккензи, шотландский якобит (приверженец Стюартов), живший во Франции, был отправлен в 1755 году в Россию с инструкциею, написанною принцем Конти, который был тогда доверенным человеком у короля и которому очень хотелось попасть в польские короли или если уже этого нельзя, то хотя в герцоги курляндские; не прочь он был и жениться на императрице Елисавете; во всяком случае, он желал побывать в Петербурге. Дуглас должен был явиться в Россию как дворянин, путешествующий для собственного удовольствия и для поправки здоровья. Он должен был остановиться в Курляндии под предлогом отдыха, а между тем проведать, в каком положении находится это герцогство, что думает курляндское дворянство о ссылке своего герцога Бирона, в каком положении финансы и правосудие в стране, сколько русского войска в Курляндии. В Петербурге Дуглас должен был осведомиться об успехе переговоров Уильямса насчет субсидного трактата о состоянии русского войска, флота, торговли, как расположен народ к настоящему министерству, как велик кредит Бестужева, Воронцова, фаворитов императрицы; о влиянии последних на министров; о судьбе царевича Ивана, бывшего царя, и о судьбе отца его; о расположении народа к великому князю Петру, особенно с тех пор, как у него есть сын; нет ли у царевича Ивана тайных приверженцев и не поддерживает ли их Англия; о видах России на Польшу касательно настоящего и будущего; о видах ее на Швецию; о причинах, заставивших вызвать из Украины гетмана Разумовского, и что думают о верности малороссиян и как с ними обходятся в Петербурге. Свои наблюдения Дуглас должен был доставить во Францию не прежде, как выехав из России, или через шведское посольство в Петербурге; и тут в своем отчете он должен был употреблять иносказательные выражения, например, если Уильямс имеет успех, то писать: «Черная лисица дорожает»; если кредит Бестужева ослабевает, то писать: «Собольи меха упадают в цене» и т. п. О первом пребывании Дугласа в России, в 1755 году, мы не имеем известий; только в депеше Уильямса от 7 октября читаем: «Когда приехал сюда какой-то господин Дуглас из Парижа, то одержимый подозрительностью австрийский посланник спросил его: чего он хочет в России?

Видя, что вследствие неопределенности границ новые переселенцы продвигаются все ближе и ближе к Сечи, запорожцы просили, чтоб у старосамарских жителей отнято было право владеть местами по реке Самаре и чтоб даны были Запорожскому Войску грамоты на все владеемые им с давних времен земли. <… > Запорожцы писали, что, когда гетман Богдан Хмельницкий поддался под русскую державу, в то время Войско Запорожское владело рекою Днепром от Переволочной и всеми впадающими в Днепр реками, особенно же Самарью и по ней лесами и степями. Это, отвечал Сенат, Войско Запорожское представляет весьма напрасно, потому что, когда гетман Хмельницкий пришел в подданство, в то время все города, села и деревни и Войско Запорожское состояли в одной дирекции гетманской и между Малою Россиею и Войском Запорожским границы не было, но, где были пустые земли, там как запорожским, так и малороссийским казакам не запрещалось держать пасеки, рыбу и зверя ловить, а на Сечи Запорожской в то время никаких мест и селений особливых не бывало».

Императрица решила сделать попытку хотя бы ограничить возможность каких-либо неприятностей для России и с этой целью спешно собрала уже в феврале того же года «конференцию» под собственным, обещавшим быть весьма действенным, председательством. В этой «конференции» Елизавета Петровна объединила представителей разных точек зрения: здесь были Бестужев и Воронцов, братья Шуваловы и князь Трубецкой, генерал Александр Бутурлин, генерал Апраксин и адмирал Голицын. Было бы удивительно, считала она, если бы такие умные головы, собравшись вместе, не придумали, как распутать этот клубок. В общем-то, избежать худшего можно было, только разобравшись, сможет ли Россия рассчитывать на субсидии в обмен на свой нейтралитет в случае вооруженного противостояния. Императорская честь заставила ее сказать «нет». Однако известие о том, что Людовик XV намеревается подписать договор о военной взаимопомощи с Марией-Терезией, вынудило ее поколебаться. Обстоятельства диктуют теперь российской императрице необходимость помериться силами с Фридрихом II и с Георгом II. И что же ей в таком случае делать? Страшиться этого или радоваться этому? Придворных, окружающих ее, раздирают противоречия: то ли им следует проявить национальную гордость, то ли устыдиться того, что они предают вчерашних друзей, то ли убояться чересчур высокой цены, которую придется платить за совершенно не обязательную перемену курса. При плотно закрытых дверях шептались, будто великая княгиня Екатерина, Бестужев, а может быть, и сама императрица берут

деньги за то, чтобы втянуть Россию в бессмысленную войну.

Совершенно равнодушная ко всем этим слухам, Елизавета с огромным удивлением вдруг обнаружила себя безупречным другом Франции. Смирившись с неизбежным, она приняла 7 мая вернувшегося в Санкт-Петербург после короткой дипломатической отлучки Маккензи Дугласа необычайно тепло, мало того – уважительно и многообещающе. Через несколько дней в качестве сопровождающего Дугласа лица прибыл в Петербург и странный иноземец, Шарль де Бомон, иначе говоря – шевалье д'Эон де Бомон. Этот подозрительный, но весьма привлекательный персонаж некогда уже побывал в России. Тогда он носил женскую одежду. Элегантность его нарядов и умение вести беседу настолько соблазнили императрицу, что Елизавета попросила «иностранку» читать ей – быть ее личной чтицей. На этот раз шевалье д'Эон предстал перед царицей в мужском костюме, но был ли он в юбке или в шоссах – коротких, по тогдашней моде, штанах, – та находила его равно соблазнительным, одинаково исполненным грации и ума. А какого пола была «чтица» на самом деле? Да не все ли равно! Елизавета Петровна сама столько раз меняла наряды ради придворных маскарадов, что для нее не было разницы, что надето на французском дворянине, главное – что его ум и вкус отвечали французским меркам!

Д'Эон принес Елизавете Петровне личное письмо принца де Конти, и теплые слова этого послания тронули императрицу еще сильнее, чем дружелюбие и любезность посланников. Ни минуты не колеблясь, она ответила таким заявлением: «Я не хочу ни третьих лиц, ни посредников во всем, что касается нашего союза с королем [Людовиком XV]. И не прошу его ни о чем, кроме искренности, прямоты и абсолютной взаимности в том, что происходит между нами». Формулировка не допускает ни малейшей двусмысленности, это не столько свидетельство доверия, сколько объяснение в любви, не знающей границ…

Елизавете так хотелось бы вволю насладиться медовым месяцем с Францией, но… Но терзавшая ее сильнее, чем когда-либо прежде, бессонница и обострение болезней не давали теперь никакой передышки. Несчастная боялась даже потерять рассудок от непрерывно повторявшихся приступов боли, а это было бы ужасно – до того, как настанет время одержать полную и окончательную победу в той войне, в какую императрица помимо собственной воли, только лишь из-за игр вокруг межгосударственных союзов, втянула свой народ. Ведь Фридрих II, желая воспользоваться эффектом неожиданного нападения, уже проявил враждебные намерения: никого не предупредив о

начале военных действий, он ввел в Саксонию свои войска.[65] И действительно, поначалу все складывалось в его пользу: был приступом взят Дрезден, под Прагой потерпели поражение австрийцы, у Пирны (Pirne) – саксонцы. Австрия была союзницей России, и Елизавете пришлось смириться с необходимостью участия в этой войне. По ее распоряжению, генерал Апраксин, назначенный фельдмаршалом, оставил Санкт-Петербург и сосредоточил большие войсковые соединения под Ригой.

И, когда Людовик XV направил к царице своего посланника – маркиза Лопиталя, целью которого было побудить Елизавету к действиям, она поручила Михаилу Бестужеву, который, в отличие от брата Алексея, великого канцлера империи, оставался в душе франкофилом, подписать документ о присоединении России к Версальскому договору… Это произошло 31 декабря 1756 года.

Российская императрица в душе была сильно встревожена необходимостью занять явную, подчеркнуто определенную позицию в международных делах, но она еще надеялась, что нынешний конфликт не охватит всю Европу. И опасалась, что Людовик XV всего лишь пользуется ею, стремясь закрепить уже не временное, но постоянное сближение Франции с Австрией. Словно бы стремясь оправдать эти ее опасения, в мае 1757 года Людовик пожелал подтвердить свои обязательства перед Марией-Терезией новым союзом, цель которого – лишить Пруссию всякой возможности нарушить мир в Европе. Елизавета сразу же догадалась, что для французского короля «мир в Европе» – это всего лишь благовидный предлог и что за открытыми заявлениями прячутся куда более хитрые намерения. Выставляя себя другом и союзником России, на самом деле Людовик XV совершенно не желал ее возвышения за счет двух соседних стран – Польши и Швеции, традиционных союзниц Франции. А значит, ведя такую двойную игру, он не может быть искренним в отношениях с Россией. И тем самым он снова вынуждает ее лавировать при общении с его посланцами. Она задумалась, способен ли еще Алексей Бестужев, отдающий все свои симпатии Англии, защищать интересы страны. Да и имеет ли на это право? В то время как великий канцлер, заверяя всех в своем патриотизме, честности и неподкупности, внутренне одобрял триумф англо-прусской коалиции, подавлявшей коалицию франко-австрийскую, причем исключительно – благодаря невмешательству России, Иван Шувалов нисколько не скрывал, что любит Францию, любит ее литературу, ее моду и – что самое важное: ему нравится ее политика! Никогда еще Елизавете не доводилось становиться объектом столь ожесточенной битвы между ее любовником и ее канцлером за то, чтобы привлечь

императрицу на свою сторону, никогда еще ей не доводилось переживать такую борьбу между велениями сердца, тянувшегося к Версалю, и доводами рассудка, напоминавшего о близости с Берлином.

Ей хотелось бы принимать решения с ясной головой, но повседневные заботы и болезни, становившиеся все тяжелее, каждый день понемножку ослабляли ее физическую выносливость. Порой у императрицы случались галлюцинации – тогда она бежала из комнаты, где чувствовала угрозу от невидимого врага, молилась перед иконами, выпрашивая Божью помощь, падала в обморок и, придя в себя, с трудом соображала, что с нею происходит, едва-едва собиралась с мыслями. Усталость была такова, что ей хотелось бы сложить оружие, и только внешние обстоятельства заставляли ее оставаться в седле. Но Елизавете было известно, что за ее спиной уже обсуждается проблема, кто же займет престол после смерти царицы. А если она умрет завтра, умрет внезапно, кому отойдет корона Российской империи? Согласно традиции, ее наследником может стать только племянник, Петр, однако ее просто корежило при мысли, что Россия окажется в руках этого полусумасшедшего, этого злобного маньяка, с утра до вечера разгуливавшего в голштинском мундире! Ей нужно сейчас же, пока не поздно, объявить нынешнего престолонаследника недееспособным (то есть и не способным занять трон) и назначить вместо него сына – маленького, двухлетнего Павла Петровича – единственным наследником престола! Но это бы значило – тем же указом – предложить Екатерине роль регентши… Между тем императрица теперь яростно ненавидела Екатерину – за красоту, за молодость, за ум и за бесконечные любовные интрижки… Кроме того, великую княгиню окончательно привязал к себе Алексей Бестужев, а этим двоим ничего не стоит смешать карты, которые ею так тщательно разложены. Такая перспектива вначале бесила царицу, но потом, как-то вдруг, стала ей безразлична. В конце концов, какая разница, что будет после ее смерти, если она сама тогда уже перестанет страдать? Будучи не в состоянии немедленно сделать выбор, она предпочла занять выжидательную позицию и отложила на потом донельзя надоевшую необходимость принимать решение, отстранить ли ей от престола племянника, передав законную власть внуку и невестке, или позволить Петру так же законно унаследовать от нее императорское достоинство, рискуя при этом наповал поразить Россию. Сама себе не признаваясь, она надеялась, что события сами подскажут ей, как решить набившую оскомину проблему.

К счастью, как раз в это время фельдмаршал Апраксин,

которого она раз десять тщетно умоляла начать действовать, наконец решился предпринять наступление на пруссаков по всему фронту. В июле 1757 года русские войска взяли Мемель и Тильзит, в августе того же года разгромили врага у Гросс-Эгерсдорфа. Елизавета почувствовала новый прилив жизненных сил и приказала отметить победу благодарственным молебном, Екатерина же, чтобы угодить ей, устроила празднества в честь этой победы в Ораниенбауме. Вся страна ликовала, один великий князь Петр хмурился. Совсем позабыв о том, что он наследник российского престола и что – хотя бы в силу этого – успехи русского войска должны радовать его сердце, Петр тяжело переживал поражение своего идола, Фридриха II. И, видимо, дьявол услышал его мольбы: в те самые дни, когда возбужденная толпа вопила: «На Берлин! На Берлин!» – и требовала, чтобы Апраксин не уставал вести бой до победного конца, полного уничтожения Пруссии, – в это самое время пришла новость, мгновенно преобразившая всеобщий энтузиазм в крайнюю растерянность.

В депешах от командующих войсками сообщалось [или – гонцы сообщали], что после блестящего начала кампании фельдмаршал теперь отступает и его полки покидают завоеванные территории, бросая на месте снаряжение, оружие и боеприпасы. Это поведение казалось столь необъяснимым, что Елизавета заподозрила заговор. Маркиз де Л'Опиталь, который по просьбе Людовика XV в трудную минуту помогал царице советом, недалек был от мысли о том, что Алексей Бестужев и великая княгиня Екатерина, подкупленные Англией и склоняющиеся на сторону Пруссии, имеют некоторое отношение к удивительному бессилию фельдмаршала. Посол не скрывал своих подозрений, и вскоре его слова дошли до царицы. Собравшись с силами, она прежде всего вознамерилась покарать виновных.

Для начала, потребовав к себе Апраксина, отослала фельдмаршала в его поместье и поставила на время во главе армии замещавшего его по должности графа Фермора. Однако наибольшую злобу затаила императрица по отношению к Екатерине. Она мечтала покончить с нею раз и навсегда, покарав эту женщину: с ее супружескими изменами Елизавета готова была мириться, но того, что невестка приняла участие в политических интригах, вытерпеть уже не могла! Надо было понадежнее заткнуть рот и ей самой, и всей этой клике смехотворных пруссаков, которые вьются вокруг великокняжеской четы в Ораниенбауме.

Увы! Момент был выбран неудачно – какие могут быть решительные меры, если Екатерина, оказывается, снова

беременна! И, стало быть, снова, в глазах народа, она – особа «священная», неприкосновенная и заранее оправданная, что ни совершит. Да уж… сколь бы ни была велика ее вина, с наказанием придется подождать до родов. И опять эта неотвязная мысль: кто отец ребенка? Точно не великий князь – с тех пор, как его прооперировали, он с ума сходит по Елизавете Воронцовой, племяннице вице-канцлера, и проводит время только с ней. Бабенка ни лицом не вышла, ни умом не блещет, но что поделаешь: ее простота придает Петру уверенности, и уже это одно способствует тому, что он бежит от законной супруги. И наплевать ему, что у Екатерины есть любовник и что, скорее всего, от Станислава Понятовского она и понесла. Племянничек еще и пошучивает над этим на людях. Екатерина теперь только тяготит его, бесчестит, напоминает о том, как ему навязали в юности эту женитьбу, даже не спросив, хочет он того или нет. Он с трудом переносит общество жены днем, а уж про ночи и говорить нечего. А она – смех и грех! – пуще смерти боится, что драгоценного ее Понятовского, настоящего отца ее ребенка, царица того и гляди отправит на край света. Даже Алексей Бестужев, по ее наущению, подкатывался к Ее Величеству с тем, чтобы задержать новое «назначение» Станислава в Польше, по крайней мере, до появления младенца на свет Божий. Ему удалось уговорить Елизавету, и только тогда Екатерина успокоилась и стала готовиться к грядущему событию.

Схватки начались в ночь с 18 на 19 декабря 1758 года. Поднятый с постели стонами жены, великий князь первым оказался у ее изголовья. Он был одет в прусский мундир, обут в сапоги, ремень затянут, на боку – шпага, на каблуках – шпоры, на груди – перевязь командующего. Пьяный в стельку, он шатался и заплетающимся языком объяснял, что явился вместе со своим полком защищать законную супругу от врагов его родины. Опасаясь того, что императрица увидит племянника в таком состоянии, Екатерина отправила его проспаться. Сразу после того, как ушел Петр, явилась Ее Величество императрица. И как раз вовремя: акушерка только что приняла ребенка. Взяв новорожденного на руки и рассмотрев получше, Елизавета с огорчением убедилась, что невестка разрешилась от бремени девочкой. Что ж, ничего не поделаешь! Пусть этим и ограничатся. Тем более что по мужской линии все в порядке: престол унаследует маленький Павел.

Стараясь завоевать благожелательность свекрови, Екатерина сказала, что хочет назвать девочку в ее честь Елизаветой. Но Ее Величество была не расположена к тому, чтобы дать себя растрогать. Она заявила, что предпочла бы для новорожденной

имя «Анна», поскольку так звали ее покойную старшую сестру, мать великого князя, после чего – как только малышку окрестили малым крещением – жадно подхватила ее на руки и унесла. В точности так же, как поступила четыре года назад с братом этой бесполезной новорожденной девчонки.

Вот так благополучно завершив решение семейной проблемы, Елизавета Петровна смогла сосредоточиться на деле Апраксина. С фельдмаршалом – полностью дискредитированным своим непонятным поведением и низложенным после отступления перед прусской армией после одержанных над нею побед – в результате первого же допроса случился апоплексический удар. Но прежде чем умереть (кстати, не признав ни в чем себя виновным), он успел сказать, что переписывался с великой княгиней Екатериной Алексеевной. А поскольку Елизавета категорически запретила невестке писать кому бы то ни было, не проинформировав об этом персон, коим было поручено наблюдение за ней, ее поступок можно было рассматривать как возмутительное сопротивление власти. Приближенные императрицы, со своей стороны, разжигали в ней подозрительность по отношению не только к невестке, но и к канцлеру Алексею Бестужеву и даже к Станиславу Понятовскому, обвиняя всех троих в сговоре с Пруссией. Вице-канцлер Воронцов, чья племянница была возлюбленной великого князя, а сам он долгие годы мечтал сменить Бестужева на его посту, прямо обвинил Екатерину в том, что именно она несет ответственность за все дипломатические и военные неудачи России. Нападки Воронцова поддержали братья Шуваловы, дядья любовника императрицы Ивана. Даже посол Австрии граф Эстергази и посланник Франции маркиз Лопиталь тоже приняли сторону атакующих в развязанной против Алексея Бестужева кампании. Шельмование, хула – все шло в ход. Ну и, естественно, произвело должное впечатление на Ее Величество. Наслушавшись этого хора, Елизавета приняла решение. Но пока еще – втайне.

Однажды февральским днем 1759 года, когда Алексей Бестужев участвовал в министерском совещании, его вызвали из зала и арестовали без каких-либо объяснений. Во время проводившегося в доме великого канцлера обыска было обнаружено несколько писем от великой княгини и Станислава Понятовского. Нет, конечно же, там не содержалось никаких компрометирующих сведений, но ведь в атмосфере мрачной мстительности, какая царила тогда, малейшего намека было достаточно, чтобы свести счеты с тем, кто тебя стесняет, кто тебе мешает. Разумеется, нет такой страны, где, близко соприкоснувшись с высокой политикой, человек не рискует

быстро слететь с той высоты, на какую успел взобраться. Да хоть с самой вершины. Но среди наций, которые называют цивилизованными, этот риск оборачивается лишь порицанием или выговором, разжалованием или отставкой. Не то в России. Здесь, на родине чрезмерности во всем, виновного могут обречь на полное разорение, изгнание, пытки, если не приговорить к смертной казни. Едва почувствовав кожей ветер надвигающихся репрессий, Екатерина сожгла свои старые письма, черновики, наброски, дневниковые записи, даже – приходорасходные книги. И надеялась, что Алексей Бестужев принял те же меры предосторожности…

На самом-то деле, вынося приговор своему бывшему канцлеру, императрица тоже хотела, чтобы он отделался только большим испугом и потерей некоторых привилегий. Не очень понятно, чем можно было бы объяснить подобный избыток снисходительности – возрастной усталостью или же воспоминаниями о бурной, полной скандалов и битв жизни… Подумав, Елизавета Петровна предпочла для этого человека, так долго работавшего с нею рядом, сильно смягченный вариант наказания, а не вердикт, не подлежащий обжалованию. Ко всему ведь, она снова заслужит восхваления, снова станут ее воспевать как «Милостивую»… И у нее тем больше оснований умерить злобу в адрес Бестужева, что другие участники «англо-прусского заговора», на ее взгляд, никакого снисхождения не заслуживают и прощены быть не могут! Иначе – разве смогла бы она обратиться в мраморную статую, когда великий князь Петр Федорович бросился к ее ногам с клятвами, что он ни при чем в этих политических кознях и что только Бестужев и Екатерина виновны в предательстве и мздоимстве. Низость племянника была ей отвратительна – она отправила Петра назад в его покои, не сказав ни слова прощения, но и ничем не выдав гнева. Для нее он больше ничего не значил. Да, пожалуй, и вообще не существовал.

Совсем по-другому она повела себя с невесткой, отличавшейся таким безобразным, таким неслыханным поведением. Чтобы снять с себя вину, Екатерина послала императрице длинное написанное по-русски письмо, в котором говорила о своем отчаянии, о своей невиновности, умоляла отпустить ее в Германию, чтобы встретиться там с матерью и побывать на могиле умершего уже к тому времени отца. Сама мысль о добровольном изгнании великой княгини показалась Елизавете Петровне столь абсурдной и неуместной при существующих обстоятельствах, что она не стала отвечать на этот крик о помощи. Более того, она решила применить к Екатерине дополнительное наказание, лишив ту лучшей наперстницы –

Владиславовой. Этот новый удар добил молодую женщину. Раздираемая горем и страхом, она улеглась в постель, отказалась от пищи, объявила, что больна душевно и телесно, и – в довершение всего – не допустила к себе врача. Зато попросила услужливого Александра Шувалова пригласить к ней священника для исповеди. Позвали священника Дубянского – духовника царицы. Выслушав признания молодой женщины и сочтя ее раскаяние искренним, он пообещал великой княгине замолвить за нее словечко перед государыней. Во время свидания со своей августейшей «прихожанкой» священник так хорошо обрисовал ей муки невестки, которую, вообще-то, и упрекнуть не в чем, разве только в неловкости при выражении преданности по отношению к монархии, что Елизавета пообещала своему духовнику поразмыслить об этом странном случае. Екатерина боялась и надеяться на возвращение царской милости, однако вмешательство священника Дубянского, видимо, оказалось весьма плодотворным, потому что 13 апреля 1759 года Александр Шувалов вернулся в комнату, где великая княгиня чахла от тоски, и объявил ей, что Ее Величество примет невестку «прямо сегодня в десять часов вечера».

XI. Еще одна Екатерина!

Еще до этой знаменитой встречи 13 апреля обе женщины – и великая княгиня, и императрица – знали, что она навсегда определит их отношения. Каждая со своей стороны заранее подбирала для себя самые убедительные аргументы и возражения на любой случай, думала, как ей, если понадобится, дать отпор или, наоборот, оправдаться. Наделенная неограниченной властью Елизавета, тем не менее, понимала, что невестка – тридцатилетняя, с гладкой кожей, с безупречными зубами – превосходит ее молодостью, красотой и грацией. Царицу бесило, что сейчас, когда ей перевалило за пятьдесят и она стала жирной, как гусыня, единственным соблазном для мужчин и осталась ее власть. Точнее – ее титул. И внезапно соперничество двух политических фигур превратилось в соперничество двух женщин. Возраст давал фору Екатерине, положение в обществе – Елизавете. Для того чтобы доказать просительнице свое превосходство, императрица решила заставить ту ждать в прихожей как можно дольше – пусть потомится, пусть понервничает, пусть потеряет свою привлекательность, такая она уже никого не соблазнит! Аудиенция была назначена на десять часов вечера, но Елизавета распорядилась впустить к себе в гостиную Ее Высочество только в половине второго ночи. А для того, чтобы заполучить свидетелей урока, который она была намерена преподать своей невестке, Елизавета попросила Александра Шувалова, своего любовника Ивана Шувалова и даже великого князя Петра, мужа «обвиняемой», спрятаться за большими ширмами и ни в коем случае не шевелиться. Алексей Разумовский, ее официальный возлюбленный, «память чувств Ее Величества», не был приглашен при организации этой странной семейной засады только потому, что с некоторых пор стало заметно: звезда его на любовном небосклоне императрицы бледнеет, если не угасает, а стало быть, он должен «в главном» уступить площадку более живым и бодрым новичкам. И, значит, «дело Екатерины и Петра» не входит отныне в его компетенцию. Елизавета считала это свидание решающим, она со скрупулезностью опытного антрепренера продумывала мельчайшие детали будущего спектакля. В комнате царил полумрак, горело лишь несколько свечей – таким образом подчеркивался тревожный характер этой встречи двух женщин наедине.

На золотом блюде императрица разложила улики: несколько писем великой княгини, обнаруженных у Апраксина и у

Бестужева. Вещественные доказательства должны были сразу смутить интриганку, заставить ее растеряться.

Но все произошло отнюдь не так, как мнилось императрице. Едва переступив порог, Екатерина бросилась на колени и, заламывая руки, стала излагать Елизавете Петровне свои горести. Между двумя приступами рыданий она сообщила, что никто при дворе ее не любит, никто не понимает, что ее муж всегда готов невесть что придумать, лишь бы унизить ее публично. Молодая женщина заклинала Ее Величество позволить ей уехать на родину. А когда царица напомнила, что долг матери – оставаться со своими детьми, все еще плача и вздыхая, ответила: «Мои дети на ваших руках, и ничего не может быть лучше!» Этот ответ попал в самую чувствительную точку: таким образом невестка признала за Елизаветой талант воспитательницы и защитницы, и царица, растрогавшись, помогла невестке подняться, нежно упрекая в том, что та позабыла обо всех знаках внимания и даже любви, которые «тетушка» ей когда-то расточала. «Господь свидетель, как я плакала, когда вы были больны, – сказала она. – Если бы я не любила вас, то не оставила бы здесь […]! Но вы слишком горды! Вы думаете, будто умнее всех!» Услышав эти слова и пренебрегши всеми полученными им наставлениями, Петр выскочил из своего убежища и закричал:

– Она чудовищно зла и упряма!

– Вы сейчас говорите о себе! – отпарировала Екатерина. – Мне весьма приятно сказать вам при Ее Величестве, что действительно я злюсь на вас, когда вы советуете мне творить несправедливость, и стала упрямой с тех пор, как убедилась: моя любезность не даст мне ничего, кроме вашей неприязни!

Спор грозил превратиться в обычную семейную сцену, и Елизавета остановила его. Внезапно, пусть и ненадолго, императрица забыла, что женщина, считающая себя жертвой общественного мнения, на самом деле неверная жена и интриганка. Попытавшись успокоиться и не потерять величия, она перешла в атаку и произнесла, указав на письма, разложенные по золотому подносу:

– Как вы решились отдавать приказы фельдмаршалу Апраксину?

– Я же просто молила его исполнять ваши собственные приказы! – прошептала Екатерина.

– Бестужев говорит, что есть много других писем!

– Если Бестужев так говорит, значит, он лжет!

– Отлично, раз он лжет, я прикажу подвергнуть его пыткам! – воскликнула Елизавета, бросив на невестку убийственный взгляд.

Но Екатерина и бровью не повела – так, словно в первом

поединке с царицей обрела всю свою уверенность. Зато Елизавета вдруг почувствовала, что проиграла этот допрос. Чтобы расшатавшиеся нервы больше не донимали ее, она принялась шагать взад-вперед по комнате. Петр воспользовался передышкой в разговоре, чтобы огласить список злодеяний супруги. Возмущенная обвинениями этого ублюдка, ее племянника, императрица стала внутренне оправдывать невестку, которую сама же и приговорила несколько минут назад. Ревность к чересчур, по сравнению с ней самой, юному и чересчур соблазнительному созданию уступила место чему-то вроде женской солидарности, несмотря на разницу поколений. Улучив подходящий момент, Елизавета коротко и сухо приказала великому князю замолчать. Потом приблизилась к Екатерине и шепнула ей прямо в ухо:

– Мне еще многое нужно сказать вам, но я не хочу еще больше поссорить вас [с вашим мужем]!

– Я тоже – отвечала Екатерина, – не могу говорить, как бы ни было сильно желание открыть вам мою душу и мое сердце![66]

На этот раз от волнения слезы выступили на глаза у императрицы, а не у ее гостьи. Отпустив Екатерину и великого князя и оставшись наедине с Александром Шуваловым, который, в свою очередь, вышел из-за ширмы, Елизавета долго молчала. Шувалов вглядывался в лицо императрицы, пытаясь понять, о чем она думает. Спустя некоторое время царица отправила Александра к великой княгине со сверхсекретной миссией: ему следовало просить Екатерину больше не печалиться без всякой причины, ибо государыня намерена ее вскоре пригласить на «настоящее свидание наедине».

Такое свидание действительно имело место, оно проходило в глубокой тайне от всех, и оно позволило обеим женщинам наконец объясниться начистоту. Возможно, императрица потребовала, чтобы невестка посвятила ее в подробности своей связи с Сергеем Салтыковым и Станиславом Понятовским, чтобы убедиться наверняка, кому обязаны своим появлением на свет Павел и Анна; возможно, Елизавете хотелось узнать детали сожительства Петра с этой ужасной Воронцовой; возможно, ей хотелось иметь новые доказательства некомпетентности Апраксина или предательства Бестужева, как знать… В любом случае, полученные ею ответы, видимо, свели ее гнев на нет окончательно, потому что на следующий день она позволила невестке приходить в императорское крыло дворца, чтобы видеться там с детьми. Во время этих встреч Екатерина смогла убедиться, насколько хорошо содержат и воспитывают ее ангелочков вдали от родителей.

Добившись этого перемирия, великая княгиня отказалась от своего отчаянного проекта оставить Санкт-Петербург и вернуться в Цербст, к родным. Процесс Бестужева кончился ничем – не хватило доказательств, к тому же умер главный свидетель – фельдмаршал Апраксин. Как и положено, несмотря ни на что, в наказание за множество гнусных преступлений Алексея Бестужева сослали, но не в Сибирь, а на его собственные земли, где он жил в полном достатке. В результате всей этой юридической перебранки победителем стал один лишь Михаил Воронцов, которому преподнесли как дар пост канцлера, на котором он заменил потерявшего государеву милость Алексея Бестужева. За спиной нового высокого сановника Шуазель, высокий сановник Франции по иностранным делам, праздновал и свой личный успех. Он знал, что франкофильские предпочтения Воронцова помогут ему, причем совершенно естественным образом, завоевать Екатерину, а может быть, даже и Елизавету, обратив их деятельность на пользу Людовику XV. Что касается Екатерины, он не промахнулся: все, что не отвечало вкусам ее мужа, представлялось ей привлекательным; что касается Елизаветы, такой уверенности в победе у француза не было. Уж слишком российская императрица хотела сохранить свободу суждений, слишком хотела повиноваться только собственному инстинкту. Впрочем, и успехи русской армии стали теперь соответствовать ее чаяниям.

Более решительный, чем Апраксин, генерал Фермор захватил Кенигсберг. Впрочем, так как прусский король не будет спокойно дожидаться соединения русских войск с австрийскими и первые, как бы ни спешили, не придут в назначенное место до начала кампании, то не лучше ли назначить такое место, где русский корпус сделал бы диверсию прусскому королю чувствительнее, следовательно, для императрицы-королевы полезнее. Это именно может быть сделано в Силезии или ниже, у Франкфурта-на-Одере; тогда, во-первых, поход сильно бы сократился; во-вторых, прусский король до последней минуты не знал бы, куда идет вспомогательный корпус; в-третьих, генерал Фермор, занявши Пруссию, будет распространять свои операции до Померании, чтоб подкрепить операцию шведской армии; генерал Броун, имея уже теперь указ подвинуться до Вислы, может еще прежде проникнуть в самую Бранденбургию, а если бы и третий корпус Салтыкова, устремляясь на Бреславль или Глогау, был с ними в равной линии, то прусский король непременно был бы приведен в смущение. <…> Между тем от 3 января получено известие о занятии Фермором города Тильзита и Кукернезена. Русское войско вступило в Пруссию пятью колоннами под начальством

генералов Салтыкова 2-го, Рязанова, графа Румянцева, принца Любомирского, Панина и Леонтьева. 10 числа, когда Фермор был в городе Лабио, приехали к нему депутаты от главного города Пруссии – Кенигсберга с просьбою принять их в покровительство императрицы с сохранением привилегий, и на другой день русское войско вступило в Кенигсберг и встречено было колокольным звоном по всему городу, по башням играли в трубы и литавры, мещане стояли впереди и отдавали честь ружьем. Фермор был назначен генерал-губернатором королевства Прусского. В Вене очень радовались занятию прусских земель русскими войсками, но сейчас же и высказали беспокойство. <… > Наступил май, время приступать к решительным действиям, и венский двор забил тревогу. «Общие неприятели, – писала Мария-Терезия Эстергази, – продолжают обнадеживать, что русская армия и в нынешнюю кампанию ничего существенного не предпримет, потому что она малолюдна и претерпевает такой недостаток в деньгах, что нечего и думать об учреждении магазинов, покупке фуража и доставлении прочих военных потребностей. Таким образом, лучшее время для военных операций минет бесплодно». На сообщение этих опасений Эстергази отвечал: «Если обстоятельства не позволяли нам до сих пор столько в пользу союзников наших сделать, сколько бы мы желали, то можно, однако, сказать правду, что мы сделали все то, что сделать могли».

Осадил Кюстрин (Kustrin), вошел в Померанию.

Но все-таки остановился под Цорндорфом, где состоялась битва с таким неясным финалом, что обе стороны говорили о своей победе. Однако поражение французов во главе с графом де Клермоном на Рейне, у Крефельда (Crefeld) несколько умерило оптимизм императрицы. Правда, опыт подсказывал ей, что без непредвиденных случаев такого рода не бывает никакой войны и что для России последствия могут быть куда более тяжелыми, если она станет опускать руки при малейшей неудаче на фронте. Подозревая, что ее союзники куда менее тверды в своих боевых намерениях, Елизавета заявила даже послу Австрии графу Эстергази: «Я не скоро решаюсь на что-нибудь, но если я уже раз решилась, то не изменю моего решения. Я буду вместе с союзниками продолжать войну, если бы даже я принуждена была продать половину моих платьев и бриллиантов».

Если верить донесениям, которые императрица получала с театра военных действий, такой патриотический дух был свойствен там всем – от простого солдата до фельдмаршала. Зато во дворце мнения были обозначены не так четко. В некоторых кругах, особенно близких к посольствам, считалось хорошим

тоном высказывать в этом отношении определенную независимость, квалифицируя ее в качестве «сориентированной на Европу». Доносившееся из европейских столиц эхо, неутихавшее стремление породнить знатные дома, элегантность и лишенный привычной жесткости способ существования на стыке многих границ вынуждали иных придворных высмеивать тех, кто выносил приговор любому решению любой проблемы, если оно не было чисто русским. Великий князь Петр Федорович по-прежнему оставался в первых рядах приверженцев Фридриха II, впрочем, он этого и не скрывал. Поговаривали, будто Петр при посредничестве нового, сменившего Уильямса, посла Англии в Санкт-Петербурге Джорджа Кейта тайно доносит прусскому королю обо всем, что говорилось на военном совете, собираемом царицей, но Елизавете не верилось, что племянник берет деньги за предательство. Зато ей потихоньку сообщили, что Кейт получил от своего министра Питта, также буквально молившегося на прусского короля, указание побудить великого князя к тому, чтобы он использовал все свое влияние на императрицу, имея целью спасти Фридриха II от полного поражения. Кроме того, в свое время германофилы могли рассчитывать и на поддержку Екатерины, и на помощь Понятовского. И только после откровенного разговора с невесткой Елизавета Петровна смогла поверить, что совершенно подчинила ее своей воле. Замкнувшись в себе, зациклившись на своих любовных переживаниях, молодая женщина отныне не была способна уже ни к чему – только плакать да мечтать. С тех пор как Екатерина добровольно отошла в сторонку, она перестала представлять собой какой-либо интерес в международном плане. Чтобы сделать ее совсем уж неопасной и безобидной, императрица поручила Станиславу Понятовскому миссию за границей с целью окончательно и навсегда разлучить его с любовницей. Приказывая ему начать оформление бумаг, Ее Величество ясно дала понять, что новое появление поляка в Санкт-Петербурге крайне нежелательно.

Полностью обезоружив невестку, императрица подумала, что осталось сделать еще кое-что: победить теперь и противника куда более ненавистного – Фридриха II. Прусский король раздражал ее не только тем, что противился ее собственной политике, но еще и потому, что ему удалось завоевать сердца слишком уж большого числа русских, ослепленных его дерзостью и его мишурной выспренностью. К счастью, Мария-Терезия проявляла вроде бы готовность поступать столь же решительно, как она сама, в деле разрушения германской гегемонии, а Людовик XV, которым, по слухам, управляла маркиза де Помпадур, уже сейчас укреплял свои вооруженные силы, чтобы бросить войска в бой с армией

Фридриха II.

Заключенный 30 декабря 1759 года третий Версальский договор стал не простым обновлением второго, но и гарантировал Австрии реституцию всех территорий, занятых во время предыдущих кампаний. Здесь, думала Елизавета Петровна, есть все для того, чтобы оживить угасающую энергию в рядах союзников. Параллельно с тем, как развивалась эта официальная международная программа, русская императрица – почти с юношеским пылом, а ведь ей уже было за пятьдесят! – поддерживала дружескую переписку с французским королем. Конечно, тексты писем обоих монархов были нанесены на бумагу их секретарями, но царице было приятно думать, что послания к ней Людовика были продиктованы им лично и что выраженная там забота – хороший знак: он, как прежде, как когда-то, столь же изысканно за нею ухаживает… Вот же доказательство: Елизавета страдает от открытых ран на ногах – и его сочувствие простирается до того, что он отправляет к ней своего личного хирурга, доктора Пуассонье!

Однако столь почетной командировкой Пуассонье был обязан вовсе не своему искусству владеть скальпелем или прописывать королю хорошие лекарства, нет, – уважения короля доктор добился способностью улавливать нужную информацию и плести интриги! Взявшись за выполнение этой секретной миссии, лекарь сразу же поступил в распоряжение маркиза де Лопиталя как тайный агент. Посол рассчитывал на то, что, облегчив страдания царицы лечением язв, доктор одновременно и избавит ее от всякого рода сомнений. Чем один врач хуже другого? Почему бы Пуассонье не стать при Елизавете вторым Лестоком?

Но, как бы Елизавета Петровна ни доверяла Пуассонье как лекарю, она сильно колебалась, стоит ли вот так же доверять ему руководство ее политическими решениями. Узнав о новом французском проекте, в соответствии с которым русский экспедиционный корпус должен был высадиться в Шотландии и атаковать англичан на родной их земле, в то время как французскому флоту назначено было свести счеты с противником в морском бою, Елизавета Петровна сочла этот план чересчур дерзким и предпочла ограничиться сражениями с прусской армией на суше. К несчастью, генерал Фермор оказался еще менее «мобилен», чем покойный фельдмаршал Апраксин. Вместо того чтобы стремительно нападать, он буксовал на границе Богемии в ожидании прихода гипотетического подкрепления с австрийской стороны. Выведенная из себя этим топтанием на месте, Елизавета отправила Фермора в отставку и заменила его Петром Салтыковым, старым генералом, сделавшим карьеру и

прослужившим всю жизнь в малороссийской ландмилиции. Известный своей застенчивостью и скромностью, хилый с виду и всегда одетый в белый ландмилицейский мундир, которым чрезвычайно гордился, Петр Салтыков был только что не встречен войсками в штыки. Над ним смеялись, стоило ему отвернуться, его называли «курочкой». Однако «курочка» почти сразу же по приезде доказала, что она отличается воинственностью большей, чем иной боевой петух. Воспользовавшись тактической ошибкой Фридриха II, Петр Салтыков смело направился к Франкфурту, где встретился на Одере с австрийским полком генерала Гедеона де Лаудона. Едва они образуют единое соединение, дорога на Берлин будет открыта.

Предупрежденный о нависшей над его столицей угрозе, Фридрих II поспешно вернулся из Саксонии и, уже в Берлине узнав от своих шпионов о разразившейся в стане противника ссоре между русским Салтыковым и австрийцем Лаудоном, решил использовать ее, чтобы начать неожиданную и стремительную атаку на врага. Прусский король полагал, что эта атака окончательно решит исход кампании. Ночью 10 августа его войска форсировали Одер и внезапно напали на русских, окопавшихся в Кунерсдорфе. Однако медлительность пруссаков позволила войскам Лаудона и Салтыкова реорганизоваться, сведя тем самым неожиданность к нулю. Однако битва оказалась столь жестокой и хаотичной, что Салтыков – в истинно театральном порыве – бросился прямо перед солдатами на колени и стал молить «воинского Бога» послать им победу. На самом деле все решила русская артиллерия, оставшаяся неприкосновенной при повторяющихся атаках врага. 13 августа сначала прусскую пехоту, а за ней и кавалерию разбили выстрелами из пушек. Выживших пруссаков охватила паника. Вскоре из сорока восьми тысяч человек, находившихся под началом Фридриха II, осталось всего три тысячи. К тому же и эта истощенная, деморализованная орда была пригодна только для того, чтобы отступать, прикрывая арьергард. Совершенно подавленный исходом боя Фридрих II написал своему брату: «Я не переживу этого; последствия этого дела ужаснее, чем оно само. У меня нет средств к спасению… Мне кажется, все погибло… Я не переживу потери моей родины. Прощай навсегда». А Петр Салтыков, посылая царице отчет об этой победе, показал себя куда как более сдержанным. «Вашему Императорскому Величеству не следует удивляться нашим потерям, ибо Вы знаете, что король Пруссии заставляет дорого платить за свои поражения, – писал он. – Еще одна победа, подобная этой, Ваше Величество, и я принужден буду, за отсутствием гонцов, с посохом в руке сам отправиться в Санкт-

Петербург». По повелению абсолютно убежденной в исходе войны Елизаветы на этот раз состоялся «настоящий благодарственный молебен», а маркизу де Лопиталю она заявила: «Каждый хороший русский должен быть хорошим французом, а каждый хороший француз должен быть хорошим русским». Императрица отблагодарила «курочку», старика Салтыкова, за высокие воинские достижения, одарив его чином фельдмаршала. И что же? Он внезапно впал в спячку от царской милости? Вместо того чтобы преследовать отступающего врага, Салтыков почил на лаврах! Да и вся Россия, казалось, оцепенела в счастливом восторге от одной мысли о том, что ей удалось обратить в бегство такого грозного военачальника, как Фридрих II.

А в Петербурге тем временем, оправившись от короткого приступа отчаяния, великий князь Петр Федорович снова поверил в германское чудо. Что же до Елизаветы, она, оглушенная церковным пением, артиллерийскими залпами, перезвоном колоколов и поздравлениями дипломатов, наслаждалась возможностью хотя бы некоторое время поразмышлять. После припадка боевого настроя к ней постепенно возвращалась способность мыслить разумно. И первым же доводом рассудка стал такой: ну, и что случится, если, получив хорошую взбучку, Фридрих посидит еще немного на своем троне? Разве самое главное не в том состоит, чтобы заключить приемлемое для всех сторон соглашение? Увы! Похоже, Франция, совсем недавно весьма расположенная слушать сетования русской царицы, сейчас вернулась к своей протекционистской политике и теперь уже не хочет позволить этой царице делать все, что ей угодно, в Восточной Пруссии и Польше. Можно подумать, Людовик XV со своими советниками, так долго требовавшие ее поддержки в борьбе с Пруссией и Англией, нынче стали бояться: а вдруг после такой победы она займет чересчур важное место в европейских играх? Назначенный на смену болезненному, одряхлевшему, да и вообще отслужившему свое маркизу Лопиталю молодой барон де Бретейль, весь такой вдохновенный, резвый и элегантный, прибыл на берега Невы. Герцог де Шуазель поручил ему убедить императрицу, что ей следует помедлить с военными операциями, чтобы «не увеличивать затруднений» короля Пруссии. И тогда, мол, можно будет спокойно заключить мир. По крайней мере, именно так воспринимали намерения французского посланника в окружении Елизаветы. А она удивлялась призывам к умеренности в то время, когда следовало, по ее мнению, делить добычу. Когда австрийский посол Эстергази, говоря, что действует во имя австро-российского союза, принялся обвинять генерала Петра Семеновича Салтыкова в том, что тот тянет время и тем самым

играет на руку Англии, которая, вполне возможно, оплачивает его медлительность, императрица, покраснев от возмущения, выкрикнула ему в лицо: «Мы никогда не даем слова, которого не смогли бы сдержать! […] И я никогда не позволю, чтобы слава, купленная ценою крови наших подданных, была замарана каким бы то ни было подозрением в злонамеренности или непорядочности!» И действительно, к концу третьего года этой бестолковой войны она имела право думать, что Россия во всей коалиции – единственная из держав, которая готова принести любые жертвы, лишь бы добиться капитуляции Пруссии. Алексей Разумовский поддерживал ее в непреклонности. И он тоже никогда не терял веры в военное и моральное превосходство своей родины. Однако в момент, когда нужно было принять решение, стоит или нет посылать русские войска в жерло кровавой битвы, Елизавета обращалась за советом не к старому своему любовнику Алексею Разумовскому, не к сегодняшнему фавориту Ивану Шувалову, такому мудрому и образованному, не к чересчур осторожному и чересчур изворотливому канцлеру Михаилу Воронцову – она мысленно советовалась со своим отцом, с Петром Великим, непосильное бремя памяти о котором она несла в течение всей жизни. Именно о нем она думала, когда на устроенных 1 января 1760 года новогодних торжествах публично пожелала, чтобы ее армия показала себя «более удалой и отважной», ибо это заставит Фридриха II встать на колени. А в вознаграждение за это неимоверное усилие просила у тех, с кем вела мирные переговоры, только передачу России во владение завоеванной ею к тому времени, при условии ведения совместных военных действий с Австрией, Восточной Пруссии с правом обменять ее у Польши, сохраняющей по необходимости подобие автономии, на другую область.[67] Это последнее обстоятельство, по мнению Елизаветы, должно было избавить Людовика XV от всяких сомнений.

Король Франции надеялся на то, что барон Бретейль поможет стареющему маркизу Лопиталю в подготовке столь непростых переговоров. И надеялся при этом отнюдь не на дипломатический опыт барона, которому было доверено убедить царицу, а на мужскую привлекательность этого двадцатисемилетнего красавца – ведь до сих пор перед ним не могла устоять ни одна женщина. Но Елизавета и сама была не промах: она очень быстро разгадала игру, навязываемую ей лжепоклонником ее славы. Впрочем, наблюдая за маневрами Бретейля, поняла она и другое: на самом деле молодой человек обольщал вовсе не ее и вовсе не ее хотел использовать в интересах Франции – вся его энергия была направлена на великую княгиню. Стремясь завоевать доверие

Екатерины и добиться от нее милостей, Бретейль предложил выбор: либо она дозволит барону самому любить ее так, как умеет любить только француз; либо – пусть только слово скажет! – он добьется, чтобы императрица вернула Станислава Понятовского, сосланного в эту его скучную Польшу. А рассуждал он при этом так: стоит ему выполнить хоть одно из этих пожеланий, а лучше – оба, что принесло бы вдвое больше удовольствия, – признательность Екатерины Алексеевны к Франции будет настолько велика, что она уже не сможет ни в чем ему отказать. Момент для атаки обаянием на великую княгиню был выбран более чем удачно: молодая женщина только что перенесла, один за другим, два тяжелых удара – смерть дочери, маленькой Анны,[68] и недавнюю кончину в Париже матери, принцессы Цербстской. Однако, несмотря на этот двойной траур, было похоже, что Екатерина преодолела наконец депрессию, терзавшую ее долгие годы. Более того – она уже не испытывала потребности ни в том, чтобы возобновить связь с кем-то из прежних любовников, ни в том, чтобы завести нового, пусть даже и француза.

В самом деле, великая княгиня не стала дожидаться барона для того, чтобы найти преемника тем мужчинам, которые некогда удовлетворяли ее. Новый избранник Екатерины отличался тем, что был русским до мозга костей, а кроме того – высоким, атлетически сложенным, красивым парнем. Живой, развязный, по уши в долгах, известный своими дерзкими выходками, готовый на любые безумства ради того, чтобы защитить свою подругу, Григорий Орлов (а его звали именно так) вместе со своими четырьмя братьями служил в императорской гвардии. Преданность традициям полка усиливала в нем отвращение к великому князю Петру Федоровичу, который славился презрением к русской армии и ее военачальникам. Одна мысль о том, что этот фигляр, нацепивший голштинский мундир и объявляющий себя соперником Фридриха II, является наследником российского престола, пробуждала у Орлова осознание своего морального долга: защитить великую княгиню от безумных поползновений ее супруга. А Елизавета, хотя и была измучена болезнями, излишествами в еде и алкоголе, политическими проблемами, хотя возраст давал о себе знать, тем не менее, со смешанным чувством неодобрения и зависти следила за новыми авантюрами невестки. Впрочем, неодобрения было куда меньше, потому что, по мнению Елизаветы, великий князь Петр, изменявший России с Пруссией, тысячу раз заслужил измену жены. Вот только императрица опасалась, что, ускоряя ход событий, Екатерина помешает осуществлению самого

дорогого ее сердцу плана: мирной передачи власти через голову Петра его сыну, маленькому Павлу и совету регентов при нем. Конечно, Елизавета могла бы и сразу, прямо сейчас объявить об этих переменах в династическом порядке, но ведь это немедленно привело бы к сведению счетов между соперничающими группировками, к внутрисемейным мятежам, а может, и хуже – вылилось бы на улицы… Не лучше ли оставить все как есть и позволить событиям развиваться своим чередом? Торопиться некуда, с головой у Ее Величества все в порядке, несколько лет жизни впереди у нее наверняка еще есть, страна в ней нуждается, и подданные не поймут, с чего бы она вдруг бросила все текущие дела и занялась улаживанием дел с наследованием престола.

Словно бы в поддержку желания Елизаветы Петровны сохранить status quo,[69] «конференция», этот высший политический совет, созданный по ее инициативе, приняла решение о том, чтобы союзнические армии двинулись на Берлин. Между тем фельдмаршал Салтыков был болен, а генерал Фермор без него не решался начать операцию подобного масштаба. И тогда, оставив Фермора с его колебаниями в стороне, русский генерал Тотлебен бросил экспедиционный корпус в направлении прусской столицы, захватив неприятеля врасплох, ворвался в город и добился капитуляции. Хотя этот «наскок» и был слишком скорым и чересчур плохо выполненным для того, чтобы получить полную, касающуюся всей территории Германии, капитуляцию Фридриха II, король находился теперь в достаточном смятении для того, чтобы можно было начинать с ним плодотворные переговоры. Как полагала Елизавета, при подобном стечении обстоятельств Франции следовало бы подать пример твердости. Иван Шувалов был настолько уверен, что так и будет, что его любовница, смеясь, сказала о нем, будто он француз почище любого француза по происхождению. С другой стороны, императрица верила сведениям о том, что Екатерина любезничает с бароном де Бретейлем исключительно до тех пор, пока политика его страны не слишком вступает в противоречие с интересами России. Ведь этот самый Бретейль, повинуясь указаниям своего начальника, графа Шуазеля, предупредил царицу, что Людовик XV будет весьма признателен, если Ее Величество согласится пожертвовать «своими личными интересами во имя общего дела». Короче, от нее требовалось подчиниться необходимости компромисса. Но, несмотря на болезнь, вынуждавшую ее проводить время в четырех стенах, Елизавета отказывалась выпустить из рук добычу, не добившись гарантий того, что получит причитающееся.

По ее мнению, продление перемирия будет на руку Фридриху

II. Такой, каким она его знает, он не упустит возможности, воспользовавшись временным прекращением военных действий, восстановить свою армию, сделав ее способной побеждать в новых боях. Иными словами, из-за внезапно оживших подозрительности и мстительности императрица закусила удила. На краю могилы она все еще желала, чтобы Россия жила после нее и благодаря ей. И в то время, когда за ее спиной снова начали потихоньку перешептываться о будущем монархии, она вместе с советниками из «конференции» готовила план нападения на Силезию и Саксонию. Последней ее причудой стало назначение на пост главнокомандующего Александра Бутурлина, единственное достоинство которого заключалось в том, что некогда он был ее возлюбленным.

Действительно, если верховный главнокомандующий и был исполнен благих намерений, ни авторитета, ни каких-либо познаний в военной науке у него не было. Тем не менее, никто из ближайшего окружения Елизаветы даже не предостерег о рискованности подобного выбора. На одного Ивана Шувалова, постоянно проповедовавшего войну до победного конца, сколько было у императрицы достойных советников, деятельность которых сводилась у кого к странным колебаниям, у кого к необъяснимым уловкам! Мало-помалу Елизавета Петровна пришла к выводу, что даже в самом дворце проводятся две несогласованные между собою политики и имеются две группы приверженцев каждой со своими аргументами, хитростями и секретами. Одни подталкивали императрицу к завоеваниям из любви к родине, другие, уставшие от долгой борьбы, на алтарь которой принесено слишком много жизней и средств, наоборот, из того же патриотизма побуждали Елизавету к миру, пусть даже и с некоторыми уступками. Не зная, к которому лагерю примкнуть, царица была уже готова отказаться от своих посягательств на Восточную Пруссию при условии, что Франция поддержит ее притязания на польскую часть Украины. В Санкт-Петербурге, Лондоне, Вене, Версале шел ожесточенный торг. Что ж, такой торг – и удовольствие для дипломатов, и составляющая их профессии. Но Елизавета Петровна опасалась их словесных хитросплетений. Пусть там сколько хотят, столько и злословят о состоянии ее здоровья, она намерена устраивать судьбу своей империи до тех пор, пока может вести переписку и читать молитвы! Порой императрица сожалела, что уже стара и потому не способна сама встать во главе своих полков.

На самом деле, несмотря на военные и политические передряги, все в России шло не так уж плохо. Колебалась лишь поверхность воды, в глубине струился могучий поток,

питавшийся ежедневно подготовляемыми чиновничеством бумагами, урожаями на полях, работой фабрик, ремесленных мастерских, строительством, а главное – прибытием и отбытием нагруженных экзотическими товарами кораблей в портах и караванов в степях… Эту тихую муравьиную возню, не прекращавшуюся наперекор внешнему беспорядку, Елизавета рассматривала как признак жизнеспособности и великой жизненной силы ее народа. Как бы там ни было, думала она, Россия так обширна, так богата и так плодородна, что она не погибнет. А если удастся излечить родину от приверженности к прусскому образцу, дело будет наполовину выиграно. Со своей стороны, она может похвалиться тем, что за несколько лет освободилась в органах управления страной от большей части немцев, стоявших во главе администрации. Всякий раз, как ее советники предлагали назначить на важный пост иностранца, она неизменно отвечала: «А что, из русских уже совсем больше некого назначить?!» Систематическое предпочтение императрицей соотечественников, о котором довольно скоро стало известно ее подданным, способствовало приходу во власть – как гражданскую, так и военную – новых людей, желавших посвятить себя делу служения империи. Обновив и освежив таким образом состав чиновничества, императрица переключилась на подъем экономики страны, упраздняя внутренние пошлины, создавая, по примеру других европейских стран, кредитные банки, поощряя освоение целинных земель на юго-западе страны, организуя там и сям средние школы, основывая Московский университет, наследовавший Славяно-Греко-Латинской академии того же города, и Академию наук в Санкт-Петербурге. Кроме того, она поддерживала, наперекор стихиям, открытость России западной культуре, как того хотел Петр Великий, но не слишком при этом жертвуя проникнутыми местным колоритом традициями, дорогими сердцу старого дворянства. Пусть она даже признавала пороки рабства, ей и в голову не приходило избавиться от этого многовекового уклада. Сколько бы неисправимые утописты ни мечтали о рае, где бедные и богатые, мужики и землевладельцы, безграмотные и ученые, слепые и зрячие, молодые и старые, фигляры и разини – словом, все имели бы одинаковые в жизни шансы, Елизавета слишком многое знала о тяжелой российской действительности, чтобы утешаться подобными миражами. Зато, как только она открыла, насколько реальна возможность расширить границы империи, ею овладел такой охотничий азарт и такая жажда собственности, какие знакомы разве что игроку в преддверии большого куша.

К концу 1761 года, когда Елизавета начала уже сомневаться в

способностях своих военачальников, была взята крепость Кольберг в Померании. Осадой руководил Румянцев, имевший в качестве помощника нового многообещающего генерала – некоего Александра Суворова. Эта неожиданная победа показала, что права императрица, а не скептики и пораженцы. Однако у нее едва хватило сил порадоваться успеху. Несколько недель отдыха в Петергофе не принесли Елизавете никакого облегчения. По возвращении в столицу чувство удовлетворения, ставшее результатом победного рывка, совершенного Россией, уступило место навязчивой идее о смерти, мыслям об интригах вокруг престолонаследия, о скандалах, вызванных любовными похождениями великой княгини и тупым упрямством великого князя, державшего пари на триумф Пруссии. Прикованная к постели, она страдала от боли в ногах, раны на которых гноились несмотря ни на какое лечение.

К тому же ее мучили кровотечения и истерические припадки, при которых она оставалась словно бы оглушенной в течение нескольких часов. Теперь она и министров принимала в кружевном чепчике, сидя на постели. Иногда, надеясь отвлечься и развлечься, она звала к себе мимов из итальянской труппы, приглашенной ею в Санкт-Петербург, и смотрела на то, как они гримасничают, с ностальгией по тем временам, когда шуты еще смешили ее. А когда чувствовала себя чуть-чуть бодрее, чем обычно, просила принести самые красивые из ее платьев, выбирала после долгих размышлений одно из них, надевала, рискуя, что оно расползется по швам, подставляла голову куаферу, чтобы тот завил и уложил ей волосы по последней парижской моде, и объявляла, что намерена появиться на ближайшем же балу во дворце, затем, усевшись перед зеркалом и погрустив при виде набежавших морщинок, увядших век, тройного подбородка и покрытых красной сеточкой щек, приказывала служанкам себя раздеть, возвращалась в постель и покорялась необходимости дожидаться конца своих дней усталой, одинокой, не имея ничего, кроме воспоминаний. Когда придворные изредка приходили навестить Елизавету, она читала в глазах гостей подозрительное любопытство и холодное нетерпение охотника, подстерегающего зверя в засаде. Как ни притворялись они нежными и любящими, но приходили на самом деле только для того, чтобы посмотреть, долго ли царица еще продержится. Только Алексей Разумовский, как ей казалось, искренне за нее переживал. Но о ком он думал, глядя на ставшую немощной любовницу? О той влюбленной и требовательной женщине, которую столько раз сжимал в объятиях, или о той, кому завтра положит на гроб цветы?…

К навязчивой мысли о смерти вскоре добавилась еще одна, такая же неотступная: страх пожара. Старый Зимний дворец, в котором императрица со дня восшествия на престол всегда останавливалась, приезжая в Санкт-Петербург, – громадное деревянное строение, и от малейшей искры, нет никаких сомнений, оно вспыхнет, как факел. А если огонь займется в каком-либо уголке ее покоев, то безвозвратно пропадут вся ее мебель, все ее иконы, все платья… Скорее всего, и у нее самой не достанет времени спастись, и она погибнет в пламени… И ведь подобные несчастья нередко случаются в столице… Нет, надо собраться с силами и переехать! Вот только – куда? Строительство нового дворца, порученное Елизаветой Петровной итальянцу Растрелли, идет так медленно, что вряд ли можно надеяться увидеть здание во всей красе раньше, чем года через два или даже три. Зодчий потребовал триста восемьдесят тысяч рублей только на то, чтобы закончить личные апартаменты императрицы. А таких денег у нее нет, и она не знает, откуда их взять. Содержание армии в период военных действий – дороже не придумаешь. Ко всему еще в июне нынешнего, 61-го года пожаром уничтожены склады пеньки и льна, а эти товары – просто драгоценные, они так помогают пополнить государственную казну…

Желая утешиться после потерь и не думать о типично русском беспорядке, царица снова стала неумеренно употреблять спиртное. Заглотав, один за другим, множество стаканов крепкой наливки, она свертывалась калачиком на кровати и засыпала мертвым сном. Служанки бдительно следили, чтобы никто не нарушал в это время покой императрицы. Кроме них, был еще и отдельный ночной охранник, называвшийся *спальником*, ему вменялось в обязанность следить за дыханием государыни, выслушивать ее стоны и жалобы, умерять тревожность, когда она – между двумя провалами в небытие – приходила в себя. Этому некультурному, простодушному и смиренному, как домашнее животное, человеку она, вероятно, и пересказывала содержание ночных кошмаров, которые наваливались на нее, стоило сомкнуть веки. Смешиваясь в ее несчастной голове, истории из жизни семьи и эпизоды политических интриг образовывали неудобоваримую окрошку. Постоянно пережевывая былые страсти, былую злобу и испарившиеся иллюзии, императрица вынашивала в себе надежду, что смерть повременит с приходом к ней хотя бы до тех пор, пока она не достигнет окончательного согласия с Людовиком XV. В крайнем случае, еще можно как-то понять, почему Людовик не захотел ее в невесты, когда ей было всего четырнадцать лет, а ему едва исполнилось пятнадцать. Но

то, что теперь он колеблется и никак не решится признать Елизавету своим единственным и верным союзником, теперь, когда они оба на вершине славы, – нет, думала она, нет, это просто уму непостижимо! И уж не такому прохвосту, как этот Фридрих II, отказываться от подобной удачи! Правда, прусский король делает ставку на великого князя Петра, чтобы заставить Россию раскаяться. Ох, уж лучше бы ее, Елизавету, Церковь предала анафеме, чем принять такое унижение!

Намереваясь показать, что она все еще в состоянии заниматься государственными делами, 17 ноября Елизавета Петровна приняла меры, чтобы снизить чрезвычайно непопулярную среди населения пошлину на соль и – в приступе запоздалой снисходительности – обнародовала список приговоренных к пожизненному заключению, которых не мешало бы освободить. Но чуть позже более обильное, чем обычно, кровотечение заставило ее прекратить всякую деятельность. Закашлявшись, она всякий раз истекала кровью, и врачи, уже не отходившие от ее постели, вынуждены были признаться, что, по их мнению, никакой надежды нет.

24 декабря 1761 года Елизавету соборовали, и она нашла в себе силы повторить за священником слова отходной молитвы… В этом мире, который мало-помалу от нее отдалялся, словно погружаясь в небытие, она угадывала жалкую возню тех, кто завтра засыплет ее землей. Нет, это не она умирает, умирает мир других. Так и не приняв никакого решения о престолонаследовании, она доверила Господу решить судьбу России, когда она испустит свой последний вздох. Разве там, наверху, не лучше, чем здесь, внизу, знают, как лучше для русского народа? До понедельника, 25 декабря, дня Рождества Христова, царица боролась с тьмой, заливавшей ее сознание. В три часа пополудни дыхание Елизаветы остановилось, лицо ее, на котором сохранились еще следы румян и белил, стало спокойным. А ведь ей шел всего только пятьдесят третий год…

Когда обе створки двери, ведущей из комнаты, где покоилось тело усопшей императрицы, распахнулись, придворные, толпившиеся в соседнем зале, бросились на колени, стали креститься и склонили головы, чтобы выслушать положенные по обычаю слова, произнесенные старым князем Никитой Трубецким, генеральным прокурором Сената: «Ее императорское величество Елизавета Петровна почила в Бозе». Затем князь громко уточнил, чтобы избежать всякой двусмысленности: «Храни Господь нашего всемилостивейшего государя-императора Петра III».

После похорон Елизаветы «Милостивой» ее близкие

составили тщательную опись имущества, хранившегося в ее шкафах и сундуках. Там было обнаружено пятнадцать тысяч платьев, многие из которых так ни разу и не были надеты Ее Величеством, разве что примерены во время иных одиноких вечеров, когда она созерцала свое отражение в зеркале.

Первыми, кто пришел поклониться накрашенному и наряженному телу покойной, были, как и положено, ее племянник Петр III, плохо скрывавший свою радость, и ее невестка Екатерина Алексеевна, уже обдумывавшая способ, каким бы ей использовать этот новый расклад. Набальзамированный, надушенный труп в короне на голове и со скрещенными на груди руками в течение шести недель был выставлен в одном из залов Зимнего дворца. Многие из толпы, протекавшей перед открытым гробом, оплакивали Ее Величество, которая так любила простой народ и, не колеблясь, наказывала за преступления знатных людей. Но взгляды всех посетителей неизбежно перемещались с неподвижной маски царицы на бледное, серьезное лицо великой княгини, преклонившей колени у катафалка Екатерины. Она, казалось, глубоко погрузилась в бесконечную молитву. Но на самом деле, если она и шептала про себя одну молитву за другой, то в уме держала, главным образом, манеру своего поведения в будущем: ведь именно этим определится возможность помешать осуществлению злокозненных намерений мужа.

После прощания народа с покойной императрицей во дворце останки Елизаветы поместили в Казанском соборе. Здесь опять – в течение десяти дней панихид, отпеваний, словом, подобающих траурных церемоний – Екатерина удивляла присутствующих своим горем и своей набожностью. Может быть, таким образом она хотела показать, что она русская, в отличие от великого князя Петра Федоровича, всегда доказывавшего на свой счет обратное? Когда люди шли за гробом, который торжественно перевозили из Казанского собора в Петропавловский, чтобы захоронить останки императрицы в склепе, предназначенном для упокоения российских государей, новый царь вел себя так, что даже самые смелые были поражены: он посмеивался и кривлялся у катафалка. Может быть, Петр мстил усопшей за прошлые унижения? Как бы там ни было, никого не веселило его шутовство в день всеобщего траура. Исподтишка наблюдая за мужем, Екатерина думала, что он бессознательно настраивает всех против себя. А свои намерения новоявленный государь раскрыл очень быстро. Прямо в ночь своего прихода к власти он отдал русским войскам приказ немедленно оставить занятые ими территории Пруссии и Померании. И тут же предложил Фридриху II, вчера еще считавшемуся проигравшим войну, заключить с ним «договор о

мире и вечной дружбе». Ослепленный восхищением, которое он испытывал к такому замечательному врагу, Петр Федорович грозил одеть императорскую гвардию в голштинские мундиры, одним росчерком пера распустить несколько полков, которые, как он считал, проявляли излишнюю преданность покойной царице, подчинить себе православную церковь и заставить священников сбрить бороды и носить сюртуки по примеру протестантских пасторов.

Германофилия Петра разрослась до таких невероятных и пугающих размеров, что Екатерина стала опасаться, не свергнут ли ее с престола и не заточат ли в монастырь. Но ее приверженцы неустанно повторяли молодой женщине, что вся Россия за нее и что гвардейские соединения не потерпят, чтобы и волос упал с ее головы. Пятеро братьев Орловых, во главе с ее любовником Григорием, убеждали, что не отчаиваться она должна, а радоваться тому, как развиваются события. Час настал, говорили они, ставки сделаны. Разве не путем дерзкого, небывалого государственного переворота взошли на престол Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета I? Три первые императрицы России проложили ей дорогу. И Екатерине всего лишь надо взять их за образец.

28 июня 1762 года, в тот самый день, когда барон де Бретейль написал своему правительству, что в стране поднимается волна общественного недовольства, Алексей Орлов повез Екатерину к гвардейцам. Одна казарма за другой, один полк за другим – везде ее приветствуют. Священнослужители Казанского собора, знающие, насколько набожна Екатерина, дают ей благословение. И назавтра, надев офицерский мундир, она – во главе нескольких преданных ей полков – верхом отправляется в Ораниенбаум, где ни о чем не подозревающий Петр наслаждается любовью в объятиях своей подруги, Елизаветы Воронцовой. Надо было видеть, каким изумлением он встретил посланцев жены, как растерялся, услышав от них, что военным переворотом низвержен с трона! Его голштинские части не смогли оказать никакого сопротивления мятежникам, и, рыдая, дрожа от страха, он подписал предложенный ему акт об отречении от престола. Затем сторонники Екатерины усадили его в карету и отвезли в замок Ропша, в тридцати верстах от Санкт-Петербурга, где ему предстояло находиться под строгим наблюдением.

В воскресенье 30 июня 1762 года Екатерина вернулась в столицу. В Санкт-Петербурге звонили во все колокола, стреляли из пушек, толпа громкими радостными криками приветствовала ее. Можно было подумать, что Россия ликует, снова став, благодаря Екатерине, русской. А может быть, народ успокаивала

мысль о том, что страной снова будет управлять женщина? Она станет по порядку пятой женщиной, которая взойдет на престол – после Екатерины I, Анны Иоанновны, Анны Леопольдовны и Елизаветы I (Петровны). Ну, и кто говорил, что юбка – это помеха для естественного движения наверх? Никогда еще Екатерина не чувствовала себя ни такой свободной, ни такой уверенной в себе. Предшественницы, сумевшие справиться с этой нелегкой задачей, придавали ей мужества, а ее положению – законности. Никакой не пол, а разум отныне решал все в борьбе за власть.

Но всего шесть дней спустя после триумфального въезда в Санкт-Петербург Екатерина узнала из взволнованного письма Алексея Орлова, что Петр III смертельно ранен во время стычки с охраной в Ропше, и мигом рухнула с облаков на землю. Господи, а не обвинят ли ее в этой внезапной и подозрительной кончине? Этот народ, эти толпы, еще вчера бурно приветствовавшие ее на улицах, – не станут ли они теперь ее ненавидеть за преступление, которого она не совершала, но которое оказалось так уместно? Не прошло и суток, как Екатерина совершенно успокоилась. Никто и не думал приписывать ей смерть Петра III, никто и не думал горевать о его кончине. Более того, ей казалось, что эта кончина отвечает тайным пожеланиям нации.

Кое-кто из окружения Екатерины присутствовал при восшествии на престол в 1725 году другой Екатерины, первой по счету. И как тут не думать о том, что прошло тридцать семь лет и что за это время четыре женщины поочередно занимали российский трон: императрицы Екатерина I, Анна Иоанновна и Елизавета I, недолго пробывшая регентшей Анна Леопольдовна… Как избежать сравнений с другими правительницами, которые за этот короткий срок успели каждая по-своему стать воплощением верховной власти? Люди постарше, вспоминая пережитое, находили странное сходство между этими самодержицами в юбке. Екатерине I, Анне Иоанновне и Анне Леопольдовне, как им казалось, были свойственны одинаковая похотливость, одинаковые излишества в наслаждениях и в жестокости, одинаковое пристрастие к шутам и уродцам в сочетании с одинаковой погоней за роскошью и желанием пустить пыль в глаза. Такие же, как у них, приступы буйства и такой же всепоглощающий эгоизм сдерживались у Елизаветы I стремлением казаться «милостивой» – соответствовать прозвищу, данному народом. Разумеется, те, кто был наиболее приближен ко двору, отмечали сотни особенностей у каждой из этих склонных к крайностям особ. Но кто-то, кто не жил в их тени, наверное, мог и спутать одну с другой… Кому – Екатерине I, Анне Леопольдовне или Анне Иоанновне – пришла в голову безумная

затея устроить свадьбу шутов в ледяном дворце? Которая из них, из этих всемогущих ненасытных женщин, взяла себе в любовники простого казака, царского певчего из домовой церкви? Которой было все равно, чем развлекаться: гримасами своих карликов или стонами мучеников на дыбе? Для которой плотские радости были неотделимы от политических деяний? Которая была добрейшей душой, удовлетворяя при этом самые низменные свои инстинкты, и выставляла себя набожнее некуда, на каждом шагу оскорбляя Создателя? Которая, едва умея читать и писать, открыла в Москве университет и дала возможность Ломоносову заложить основы нового русского языка? Для ошеломленных современников на этом коротком отрезке времени не было трех цариц и одной регентши – для них существовала единственная женщина с тираническим темпераментом и алчностью к наслаждениям, и это она – под разными именами и разными масками – положила начало эре матриархата в России.

Может быть, именно потому, что Елизавета так любила мужчин, ей так нравилось и властвовать над ними. А они, эти бахвалы и хвастуны, так и норовили стать ее подкаблучниками, сами так и просили попирать их ногами! Размышляя о судьбах своих знаменитых предшественниц, Екатерина пришла к выводу, что способность быть одновременно и по-мужски уверенной при решении политических задач, и по-женски податливой в постели, непременно должна отличать всех ей подобных, если они хотят настоять на своем мнении по поводу государственных дел. Самодержавная власть отнюдь не ослабляет чувственности, не притупляет ее – наоборот, возбуждает. И чем большую ответственность за управление народом она несет, тем большую испытывает необходимость в удовлетворении врожденного инстинкта, заглушаемого на время скучными официальными разговорами. Разве это не доказательство природной двойственности женщины, которая призвана не только дарить и получать удовольствие и производить на свет себе подобных, но может не хуже вершить судьбы целых народов?

Внезапно Екатерину поразила исторически подтвержденная очевидность: Россия в большей степени, чем любая другая земля, является империей женщин. И она принялась мечтать о том, как станет формировать страну в соответствии со своими представлениями, просвещая, но не лишая присущих ей извечно свойств. Эпоха от Первой Екатерины до Второй была ознаменована постоянным развитием нравов. Примитивное восточное варварство уже приукрашивает себя веяниями западной культуры. Новая царица решила продолжить и поддержать это превращение. Но самым большим ее желанием

было сделать так, чтобы все позабыли о ее германских корнях, о ее немецком акценте, о прежнем ее имени – София-Августа-Фредерика д'Ангальт-Цербстская, чтобы она стала для всего русского народа самой русской из всех властителей страны, императрицей Всея Великия, Белыя и Малыя Руси Екатериной II. Ей было всего тридцать три года, и целая жизнь, позволяющая доказать свое превосходство, открывалась впереди. Времени для той, кто, как она, верит в свою звезду и в свою страну, хватит. Неважно, что Екатерина не родилась в этой стране, важно, что она выбрала ее! Нет ничего благороднее, думала новая русская царица, чем строить свое будущее независимо от национальности и генеалогии. И разве не за это в один прекрасный день Екатерину II назовут Екатериной Великой?

Фото

Петр Великий. Портрет работы Дж. Кнеллера (G. Kneller). Лондон, Кенсингтонский дворец. Фото Ф. Купера.

Санкт-Петербург во времена Петра Великого. Берега Невы, Адмиралтейство и Академия наук. Национальная библиотека, эстампы, фото Б.Н.

Вид на Санкт-Петербург с Исаакиевского моста, от Зимнего дворца, Эрмитажа и так далее. Фото Жиродона.

Зимний дворец в Санкт-Петербурге в 1843 году. Русская школа, Содовников (? – НВ). Хранится в библиотеке Петергофа. Фото Жоссе.

Большой дворец и парк в Царском Селе. Гравюра Дамана-Дематре.

Екатерина I (1682–1727), супруга Петра I Великого. Российская императрица (1725–1727).

Императрица Анна Иоанновна в день коронации (1730). По гравюре, отпечатанной в Москве.

Елизавета Петровна, императрица России (1741–1762). Это дочь Петра I Великого. «Портрет». Гравюра на меди, 1761 года, Георга-Фридриха Шмидта (1696–1772), выполненная по живописному портрету работы Луи Токе (1696–1772), написанному в 1758 году.

Елизавета I (1709–1762) в день своего рождения и коронации. Солдаты присягают в верности императрице. Русская школа (1883). Санкт-Петербург, Эрмитаж. Фото Жоссе.

Елизавета Петровна, русская императрица (1741–1761). «Портрет цесаревны Елизаветы Петровны на лошади и с мавром». Картина, написанная в 1743 году Георгом Кристофом Гротом (Georg Christoph Grooth, 1716–1749). Деталь. Живопись на холсте, 85 × 68,3 см. Москва, Третьяковская галерея.

Екатерина II Великая (1729–1796) в платье для коронации. Портрет работы Стефано Торелли (1712–1784), итальянской школы. Санкт-Петербург, Эрмитаж. Фото Жоссе.

Внизу: Екатерина II Великая, императрица России (1729–1796). «Коронация Екатерины II». Живопись Стефано Торелли, выполненная в 1777 году. Масло на холсте. Москва. AKG-Фото.

notes

Примечания

1

Ягужинский Павел Иванович, граф, первоначально денщик, затем сотрудник Петра Великого. С 1722 года генерал-прокурор Сената, далее – на дипломатических должностях. Зять канцлера Головкина. Как пишет С.М. Соловьев, Ягужинский был обязан своим высоким местом Петру и не любим «родовитою знатью, как выскочка, человек честолюбивый, стремившийся играть самостоятельную, первостепенную роль». *(Примеч. пер.)*

2

Цит. по: *Ключевский В.О.* Сочинения в восьми томах, том IV, стр. 225. *(Примеч. пер.)*

3

Так называли византийского императора Константина IX, а потом это прозвище перешло к великому князю Московии Владимиру II. *(Примеч. авт.)*

4

На самом деле Меншиков был удостоен чина полного адмирала и звания генералиссимуса только со вступлением на престол Петра II. *(Примеч. пер.)*

5

Вильбуа. Тайные мемуары, способные послужить источником сведений для истории Российского двора. *(Примеч. авт.)*

Цит. по: *Ключевский*. Указ. соч., стр. 261. *(Примеч. пер.)*

7

Соловьев, т. 18, глава 4, «Царствование императрицы Екатерины I Алексеевны». *(Примеч. пер.)*

8

Согласно Исторической энциклопедии, Феофан (Элеазар) Прокопович (1681–1736), автор многих политико-философских трактатов и исторических трудов, один из ближайших помощников Петра Великого в проведении реформ, был епископом Псковским с 1718 года, а с 1724-го стал архиепископом Новгородским, с 1721-го одновременно возглавлял Священный Синод. *(Примеч. пер.)*

9

Цит. по: *Соловьев С.М.* Чтения и рассказы по истории России. Москва, издательство «Правда», 1989, стр. 582–583. *(Примеч. пер.)*

10

Карл-Густав Лёвенвольде, представитель старинного немецкого дворянского рода (умер в 1735 году), – известный дипломат. Именно он позже, после смерти Петра II, уведомил через своего брата Рейнгольда, будущую императрицу Анну Иоанновну о решении верховного совета, передававшем российский трон в ее руки. *(Примеч. пер.)*

11

Девиер Антон Мануилович (Антон-Эммануэль Де Виейра) (1673–1745). Сын переселившегося из Португалии в Голландию торговца-еврея. В 1697 году по личному приглашению Петра I поступил на российскую службу. В 1718 году генерал-полицмейстер Петербурга. В 1726 году возведен с нисходящим потомством в графское Российской империи достоинство. В 1727 году обвинен в заговоре, лишен дворянства и графского титула, бит кнутом и сослан под караул в Мангазею. В 1739-м – начальник Охотского порта. В 1743 году ему возвращены графское достоинство, чины, орден, имения, и он вновь назначен генерал-полицмейстером Петербурга. Похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской Лавры. Был женат на Анне Даниловне Меншиковой, их сын Петр (1710–1773) – генерал-аншеф, кавалер ордена Святого Апостола Андрея Первозванного. Сведения взяты из Всероссийского генеалогического древа, опубликованного в Интернете. *(Примеч. пер.)*

12

Петр Сапега (1701–1771), представитель древнего литовского княжеского рода, сын гетмана великого литовского Яна-Казимира Сапеги, перешедшего после Полтавской битвы на сторону Петра Великого. В 1720 году Сапега-старший вступил в переговоры с Меншиковым о женитьбе Петра на дочери Александра Даниловича, причем обещал тому поддерживать его кандидатуру в курляндские герцоги. Прибыв в 1726 году в Санкт-Петербург, Сапега-старший получил от Екатерины I чин генерал-фельдмаршала и богатые поместья, причем некоторые исследователи полагают, что благосклонность к нему императрицы была вызвана тем, что он помог ей найти ее родственников Скавронских. После падения Меншикова примкнул к Долгоруким. Петр, в свою очередь, был стольником великого князя литовского, в 1726 году был обручен с дочерью Меншикова, но затем Екатерина выбрала его в фавориты, наградила званием камергера и назначила в женихи своей племяннице Софье Скавронской, на которой тот женился в ноябре 1727 года, уже после смерти царицы, и вернулся в Литву. *(Примеч. пер.)*

13

Слово «простая» написано Труайя в скобках по-русски латиницей. *(Примеч. пер.)*

14

Цит. по изданию: *Валишевский К.* Наследство Петра Великого. Париж, «Плон», 1900, на французском языке. *(Примеч. авт.)*

15

Остерман Генрих-Иоганн (Андрей Иванович) – знаменитый русский дипломат (1686–1747). Родился в Вестфалии, в семье пастора, учился в Йенском университете, в 1704 году приехал в Россию, быстро выучился языку и приобрел доверие Петра, став сначала переводчиком, затем секретарем посольского приказа, а затем и вице-президентом коллегии иностранных дел. Добившись заключения Ништадтского мира, был произведен в баронское достоинство. Постоянный советник Петра во внешней и внутренней политике (по его указаниям составлена «табель о рангах»), при Екатерине I – вице-канцлер, главный начальник над почтами, президент коммерц-коллегии, член Верховного тайного совета. Он был в почете при Анне Иоанновне, но как противник воцарения Елизаветы, едва оно произошло, был арестован, предан суду, приговорен к колесованию за множество вмененных ему преступлений, но императрица заменила казнь вечной ссылкой в Березов. *(Примеч. пер.)*

16

Hermann: Geschichte des Russichen Staats, повторено также в книге Валишевского, процитированной выше. *(Примеч. авт.)*

17

Герцог Бурбонский пришел в качестве регента на смену герцогу Филиппу Орлеанскому, скончавшемуся в 1723 году. *(Примеч. авт.)*

18

Цитируется по изданию *Hermann*: Geschichte des Russichen Staats, повторено также в книге Валишевского, процитированной выше. *(Примеч. авт.)*

19

Цитируется по работе Дарии Оливер «Елизавета I, императрица Российская». Paris, Perrin, 1962. *(Примеч. авт.)* У Соловьева версия такая: 10 апреля у императрицы открылась горячка. Герцог Голштинский прислал сказать Толстому, чтоб приехал для совещания в дом к Андрею Ушакову; Толстой отправился к Ушакову, но не застал его дома и пошел во дворец. На дороге нагоняет его герцог Голштинский в коляске, сажает его с собою и везет к себе; приехавши домой, рассказывает ему, что императрица очень больна, мало надежды на выздоровление; тут приходит Андрей Ушаков, и герцог говорит: «Если императрица скончается, не распорядившись насчет престолонаследия, то мы все пропадем; нельзя ли теперь ее величеству говорить, чтоб объявила наследницею дочь свою?» «Если прежде этого не сделано, то теперь уже поздно, когда императрица при смерти», – отвечал Толстой, и Ушаков согласился с этим. Указ. соч., т. 19, глава 1. *(Примеч. пер.)*

20

У. Ключевского: «Перед самой смертью спешно составлено было завещание, подписанное Елизаветой вместо больной матери. Этот „тестамент“ должен был примирить враждебные стороны, приверженцев обоих семейств Петра I. К престолонаследию призывались поочередно четыре лица: великий князь-внук, цесаревны Анна и Елизавета и великая княжна Наталья (сестра Петра II), каждое лицо со своим потомством, со своими „десцендентами“; каждое следующее лицо наследует предшественнику в случае его беспотомственной смерти. <…> Для истории русской законодательной мысли не будет лишним заметить, что тестамент Екатерины I был составлен находившимся тогда в Петербурге министром герцога Голштинского Бассевичем». *Ключевский*, т. 4, стр. 263. *(Примеч. пер.)*

Оба курсива – авторские. *(Примеч. авт.)*

22

См. книгу: Brian-Chaninov, Nicolas, Histoire de Russie («История России»). Paris, Fayard, 1929. *(Примеч. авт.)*

23

См. указ. соч. Daria Olivier (Дарии Ольвье). *(Примеч. авт.)*

См. *Валишевский*. Указ. соч. *(Примеч. авт.)*

25

Биография Евдокии Федоровны Лопухиной, первой жены Петра Великого, имела продолжение. Сосланную в Суздальский Покровский монастырь архимандрит этого монастыря постричь не соглашался, за что был арестован, и пострижена под именем Елены она была лишь спустя два года, в 1698 г. Но не прошло и шести месяцев, как непокорная инокиня сняла с себя монашеское платье, стала жить в миру и, по собственному признанию, вступила в связь со Степаном Глебовым, прибывшим в Суздаль для рекрутского набора. Вместе с царевичем Алексеем она стала центром партии, враждебной Петру, потом, когда заговор был раскрыт, повинилась в письме к бывшему супругу и слезно просила только о том, чтобы «безгодною смертью не помереть». Петр Великий, казнивший всех замешанных в деле, по отношению к Лопухиной ограничился тем, что поместил ее в Ладожско-Успенский монастырь, и только оттуда она была переведена в Шлиссельбургскую крепость, где при Екатерине I содержалась в тайном и строгом заключении. В 1727 году Евдокия Федоровна поселилась в Москве – в Новодевичьем монастыре, затем в Воскресенском, ей было назначено большое содержание и дан особый двор. *(Примеч. пер.)*

Тысячу сто двадцать килограммов. *(Примеч. авт.)*

27

На этом настаивала сама Евдокия Лопухина. Вот что мы находим у Соловьева (там же): «Бабушка рвалась к нему: писала к великой княжне Наталье: „Пожалуй, свет мой, проси у братца своего, чтоб мне вас видеть и порадоваться вами: как вы и родились, не дали мне про вас слышать, не токмо что видеть“. Писала к Остерману: „За верную вашу службу ко внуку моему и к нам я попремногу благодарствую, а у меня истинно на вас надеяние крепкое. Только о том вас прошу, чтоб мне внучат своих видеть и вместе с ними быть; а я истинно с печали чуть жива, что их не вижу. А я истинно надеюсь, что и вы мне будете ради, как я при них буду: и мне истинно уже печали наскучили, и признаваю, что мне в таких несносных печалях и умереть: и ежели б я с ними вместе была, и я б такие свои несносные печали все позабыла. И так меня светлейший князь 30 лет крушил, а ныне опять сокрушают, а я не знаю, сие чинится от ково“. К самому Петру писала: „Долго ли, мой батюшка, мне вас не видать? Или вас и вовсе мне не видать? А я с печали истинно умираю, что вас не вижу: дайте, мой батюшка, мне вас видеть! Хотя бы я к вам приехала“. Писала опять к Остерману: „Долго ли вам меня мучить, что по сю пору в семи верстах внучат моих не дадите мне их видеть? А я с печали истинно сокрушаюсь. Прошу вас, дайте, хотя б я на них поглядела да умерла“.

4 февраля был торжественный въезд в Москву. Когда было первое свидание с бабушкою, неизвестно: известно только, что оно было холодно со стороны внука, который потом явно избегал свиданий с старою царицею: и брат и сестра при свидании с бабушкою имели при себе цесаревну Елисавету, чтоб старушка не увлекалась разговорами о некоторых деликатных делах; но уверяли, что царица успела поговорить внуку о его поведении, советовала ему лучше жениться, хотя даже на иностранке, чем вести такую жизнь, какую он вел до сих пор. Внешние приличия были соблюдены: 9 февраля Петр явился в Верховный тайный совет и, не садясь на свое место, стоя, объявил, что он из любви и почтения к государыне бабушке своей желает, чтоб ее величество по своему высокому достоинству была содержана во всяком довольстве: так пусть члены Совета учинят определение и ему донесут». *(Примеч. пер.)*

См. *Валишевский*. Указ. соч.

29

Еще двое детей Меншикова, сын Александр и дочь Александра, вернулись из изгнания только при следующем царствовании. *(Примеч. авт.)*

30

Будущего Петра III, который в свое время женится на Екатерине Великой. *(Примеч. авт.)*

31

Главой семьи *(лат.)*

32

Цит. по: *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен, том 19, глава 2, «Царствование императора Петра II Алексеевича». *(Примеч. авт. и пер.)*

33

Эта подробность почерпнута в архивном деле Долгоруких, хранящемся в Государственных архивах Москвы, и процитирована Костомаровым в его «Монографии» и Валишевским в «Наследии Петра Великого». *(Примеч. авт.)*

34

Верховный тайный совет как высшее совещательное государственное учреждение России был создан Екатериной I в 1726 году. В него входили семь-восемь человек (А.Д. Меншиков, Ф.М. Апраксин, П.А. Толстой и другие), явной целью его было решение самых важных государственных проблем, тайной – ограничение самодержавия в свою пользу. *(Примеч. пер.)*

35

Предка «железного канцлера», князя Отто фон Шёнхаузена Бисмарка (1815–1898), первого рейхсканцлера Германской империи в 1871–1890 гг., отличившегося, среди прочего, тем, что объединил при Вильгельме I Германию и ввел Исключительный закон против социалистов, провозгласив вместе с тем некоторые социальные реформы. *(Примеч. авт.)*

36

Маньян был секретарем французского посольства в Москве. *(Примеч. пер.)*

37

См. Nicolas Brian-Chaninov. Histoire de Rissie («История России»). Paris, Fayard, 1929. *(Примеч. авт.)*

38

Оба прозвища – русские слова во французской транскрипции. *(Примеч. пер.)*

Уже в 1741 году. *(Примеч. пер.)*

Арпан– старая французская земельная мера, 20–50 аров. *(Примеч. пер.)*

См. Daria Olivier. Указ. соч. *(Примеч. авт.)*

42

Письмо от 10 декабря 1741 г., хранившееся в Тайном берлинском архиве. Цит. по: *Валишевский К.* Указ. соч., стр. 376–377. Маркиз Ботта был в то время австрийским посланником. *(Примеч. авт. и пер.)*

43

Вот как рассказывает об этом Н.И.Костомаров в своем труде «Российская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей (отдел 2, глава 22): „…государыня не терпела Елисаветы; Елисавета это знала и первые годы царствования Анны Ивановны продолжала удаляться от двора и проживала в своей подмосковной. Только по воле императрицы она должна была переселиться в Петербург, где у нее было два дворца – один летний загородный, близ Смольного, другой зимний, в средине города. Она должна была являться на балы и куртаги императрицы, и там блистала она, как необыкновенная красавица. Когда китайскому послу, первый раз прибывшему во дворец, сделали вопрос – кого он находит прелестнее всех женщин, он прямо указал на Елисавету. По описанию видевшей ее часто жены английского посланника, леди Рондо, у нее были превосходные каштановые волосы, выразительные голубые глаза, здоровые зубы, очаровательные уста. Говорили, правда, что ее воспитание отзывалось небрежением, но, тем не менее, она обладала наружными признаками хорошего воспитания: она превосходно говорила по-французски, знала также итальянский язык и немного по-немецки, изящно танцевала, всегда была весела, жива и занимательна в разговорах. Как в своем отрочестве, так и в зрелом возрасте она, при первом своем появлении, поражала всех красотою, особенно когда одета была в цветной „робе“ с накрахмаленным газовым чехлом, усеянным вышитыми серебром цветами. Ее роскошные волосы не обезображивались пудрою по тогдашней моде, а распускались по плечам локонами, перевитыми цветами. Когда императрица угощала у себя пленных французов, которые были привезены из Гданьска, Елисавета Петровна очаровала их всех своею любезностью, непринужденною веселостью и знанием французского языка. Решительно неподражаема была цесаревна в русской пляске, когда, в веселые часы, забавлялась императрица со своими шутами и шутихами в отечественном пошибе. Императрица всегда обращалась с цесаревною вежливо и любезно, но от Елисаветы не укрывалось, что Анна Ивановна не терпит ее, как своего тайного врага“». *(Прим. пер.)*

44

Цит. по: *Валишевский К.* Царство женщин, стр. 355. На следующей странице есть интересное продолжение, развивающее эту мысль, в письме от 19 ноября 1740 года: «Принимая во внимание, что он оскорбил императорскую фамилию и принца Брауншвейгского в частности, позволив ему повидаться с ее императорским величеством во время ее болезни всего один раз; что нация его ненавидит; что те, кто, по-видимому, держит его сторону и способствовал его повышению, делали это только в личном интересе и намереваясь восстановить республиканский образ правления, свергнув своего благодетеля, к чему Швеция доставила возможность… можно предположить, что Бирон только потому вознесен фортуной так высоко, чтобы потом очнуться тем ниже… Все умы восстановлены против узурпатора, и гвардейские солдаты открыто заявляют, что будут сносить регентство только до похорон их „матушки“, а многие говорят, что лучше передать власть в руки оставшихся потомков Петра I. Все простые солдаты стоят за Елизавету». *(Примеч. пер.)*

45

Цит. по: *Валишевский.* Указ. соч., стр. 357. *(Примеч. пер.)*

46

Замечательно сказал об этом А.И. Герцен: «Миних и Бирон вырывали друг у друга русское государство, как кружку пива». Цит. по: *Валишевский*. Указ. соч., стр. 370. *(Примеч. пер.)*

47

Очень забавно описывает Линара в своих «Записках» Екатерина II, видевшая его еще девять лет спустя: «Это был человек, соединявший в себе, как говорят, большие знания с такими же способностями. По внешности это был в полном смысле фат. Он был большого роста, хорошо сложен, рыжевато-белокурый, с цветом лица нежным, как у женщины. Говорят, что он так ухаживал за своей кожей, что каждый день покрывал лицо и руки помадой и спал в перчатках и маске. Он хвастался, что имел восемнадцать детей и что все их кормилицы могли заниматься этим делом по его милости. Этот, такой белый, граф Линар имел белый дамский орден и носил платья самых светлых цветов, как, например, небесно-голубого, абрикосового, лилового, телесного». Цит. по: *Валишевский К.* Указ. соч., стр. 377–378. *(Примеч. пер.)*

Цит. по: *Дариа Оливье*. Указ. соч. *(Примеч. авт.)*

49

См. Milioukov, Seignobos et Eisemann: Histoire de Russie, 3 vol. Paris, Leroux, 1932–1933. *(Примеч. авт.)*

Французскими буквами русские слова. *(Примеч. пер.)*

51

Письмо от 27 февраля 1742 г., цит. по: *Бриан-Шанинов* (Brian-Chaninov). Указ. соч. *(Примеч. авт.)*

52

Персонаж трагедии Жана Расина «Атали», мальчик царского происхождения, чудом спасшийся от страшной смерти и тайно воспитанный в храме. Этим именем часто обозначают ребенка знатного происхождения, которого, после многих опасностей, ожидает блестящая участь. *(Примеч. пер.)*

53

Из письма от 16 декабря 1741 г. См.: *Дариа Оливье*. Указ. соч. *(Примеч. авт.)*

54

Продолжалась, кстати, с десяти утра до четырех часов пополудни, а вообще празднества в честь бракосочетания наследника престола – балы, маскарады, обеды, ужины, итальянская опера, французская комедия, иллюминация, фейерверки – происходили в течение десяти дней. *(Примеч. пер.)*

55

Там же: «Когда великая княгиня была готова, ея императорское величество прошла к великому князю, которого одевали обер-егермейстер граф Разумовский и мой брат. Императрица привела его к нам. Его одеяние было схоже с одеянием его супруги, но менее красиво. Ея императорское величество преподала им свое благословение; они приняли его, стоя на коленях. Она их нежно поцеловала и оставила принцессу Гессенскую, графиню Румянцову и меня, чтобы мы уложили их в кровать. Я попыталась было выразить ей свою благодарность, но она меня осмеяла». *(Примеч. пер.)*

Валишевский К. Роман императрицы. *(Примеч. пер.)*

57

Там же. А вот дополнительное описание подлежащих «отмене» в результате воспитания привычек супруга, взятое из «Записок» Екатерины II и приведенное на следующей странице: «Великий князь занимался непостижимыми в его возрасте ребячествами… Он велел сделать театр марионеток в своей комнате; ничего глупее этого нельзя было придумать… Он проводил свое время буквально в обществе лакеев… Великий князь составил полк из всей своей свиты: придворные лакеи, егеря, садовники – все получили мушкеты; коридор служил им кордегардией… Великий князь бранил меня за чрезвычайную, по его мнению, набожность, в которую я вдавалась; но так как во время обедни ему не с кем было разговаривать, кроме меня, он перестал на меня дуться. Узнав, что я продолжаю постничать, он меня сильно выбранил…» *(Примеч. пер.)*

58

Снова из Валишевского (там же, стр. 52): «Канцлер формулировал против нее три главных обвинения: отсутствие усердия в православной вере; запрещенное ей вмешательство в государственные дела империи или герцогства Голштинского; чрезмерная фамильярность с молодыми вельможами, посещающими двор, с камер-юнкерами и даже с пажами и лакеями». *(Примеч. пер.)*

59

См. *Анри Труайя* «Екатерина Великая» и *Бильбасов* «Екатерина II». *(Примеч. авт.)*

60

Урожденная Гендрикова, она была двоюродной племянницей императрицы и, когда вышла замуж за Чоглокова, сильно подняла, как пишет Н.И. Костомаров, «фамилию мужа в обществе». *(Примеч. пер.)*

61

Имеется в виду Аахенский договор (предварительно он был подписан 30 апреля, окончательно – 18 октября 1748 года), по которому Силезия закреплялась за Пруссией, Мария-Терезия была признана императрицей Австрии, к Испании отходили некоторые итальянские владения Австрии (Пьяченца и Парма); Франции же пришлось отказаться от поддержки претендента, признать права Ганноверского дома на английский престол, срыть укрепления Дюнкерка и очистить провинции Голландии, занятые ее войсками. Экс-ла-Шапель – французское название Аахена. *(Примеч. пер.)*

62

К Шувалову придан был граф Апраксин, большой приятель Бестужева. Лесток с необычайным терпением несколько дней отказывался от пищи, позволяя себе глотать только немного минеральной воды; на делаемые ему вопросы – не отвечал ничего. Но Шапюзо, ввиду пыток, которыми его стали пугать, объявил, что Лесток получал от прусского короля пенсион и вел ночные беседы с посланниками прусским и шведским; назвал, кроме того, приятелями Лестока вице-канцлера графа Воронцова, генерал-прокурора князя Трубецкого и генерала Румянцева, но о смысле бесед их между собою отозвался незнанием, говоря, что Лесток давно уже не показывает к нему откровенности. Елизавета, не допросившись ничего от Лестока и Шапюзо, приказала прибегнуть к пыткам, как к неизбежному в те времена средству доискаться правды, в случае запирательства обвиняемого. Лестока вздернули на дыбу. Этот человек, уже одиннадцать дней не принимавший никакой пищи, с равным присутствием духа вынес мучение на дыбе и показал столько духовной крепости, что, снятый с дыбы, сам пошел в свой каземат. Он отрицал все, в чем думали обличить его, и клялся, что ни в чем не погрешил против государыни. «Все мое несчастье, – говорил он, – сталось по злобе великого канцлера. Но придет время – правда всплывет наверх, и государыня начнет сожалеть, что оказывала доверенность этому человеку». К нему подослали жену его, научивши ее убеждать мужа сознаться, и обещали пощаду и возвращение милости государыни. «Кто раз побывал в катовских (палача) руках, тот уже не может желать никакой к себе милости», – отвечал Лесток. Лестоку не трудно было запираться. После того, как арестовали Шапюзо, у Лестока оставалось еще четыре свободных дня; в это время он успел передать все компрометировавшие его бумаги шведскому послу Волькенстиерну, а тот с ними уехал тотчас в Стокгольм, и во время процесса, производившегося над Лестоком, невозможно было отыскать никаких письменных доказательств к его обвинению. Тем не менее, процесс над ним затянулся более чем на год и окончился уже в 1750 году. Все имущество его было конфисковано; из него взято на судебные издержки так много, что на одни письменные материалы выставлена была неимоверная сумма – 800 рублей. Его дом в Петербурге подарен был графу Апраксину, производившему над ним следствие вместе с Шуваловым. Лестока сослали в Углич и там содержали очень строго и скудно, а в 1753 году, в виде облегчения, перевели в

Устюг-Великий и дозволили жить с ним его жене. Там пробыл он до кончины Елизаветы. *(Примеч. пер.)*

63

Чтобы понять, откуда взялся Шувалов, сразу обратимся к Костомарову (там же): «Но вот государыня приблизила к себе новое лицо – то был молодой и лучше воспитанный, чем Разумовский, Иван Иванович Шувалов. Вся семья Шуваловых принадлежала к родовому русскому дворянству и возвысилась только при вступлении на престол Елисаветы Петровны. Один из Шуваловых, Петр Иванович, женился на Мавре Егоровне Шепелевой, большой любимице Елисаветы Петровны – и это был первый шаг к подъему фамилии Шуваловых. Брат Петра, Александр, сделан был начальником тайной канцелярии по кончине генерала Ушакова. Рекомендация и ходатайство той же Мавры Егоровны возвысили родственника Петра и Александра Шуваловых, Ивана Ивановича: он получил при дворе сначала звание камер-пажа, потом камер-юнкера, наконец, камергера. Разумовский не утратил милости государыни и не только не показывал огорчения, но относился дружелюбно к Шувалову. Возвышение, или, как тогда говорилось, „случай“ Шувалова возымел то важное последствие, что с этих пор он сам, а с ним и прочие Шуваловы, составили при дворе партию с большим влиянием на дела империи, тогда как прежде скромный, мало развитой Алексей Григорьевич и вся его родня, на которой слишком резко выказывались признаки простонародного происхождения, почти никаких дел не касались, исключая брата Алексеева, Кирилла, получившего образование за границей». *(Примеч. пер.)*

Цит. по кн.: *Валишевский К.* Дочь Петра Великого. *(Примеч. пер.)*

Это послужило началом войны, которая называется в истории Семилетней. *(Примеч. авт.)*

Там же. *(Примеч. авт.)*

67

Условие из проекта мирного договора, представленного Эстергази Михаилом Воронцовым. Никуда дальше он не пошел. *(Примеч. пер.)*

68

Анна скончалась в возрасте трех месяцев 19 марта 1759 года. *(Примеч. авт.)*

Status quo *(лат.)* – существующее положение дел. *(Примеч. пер.)*